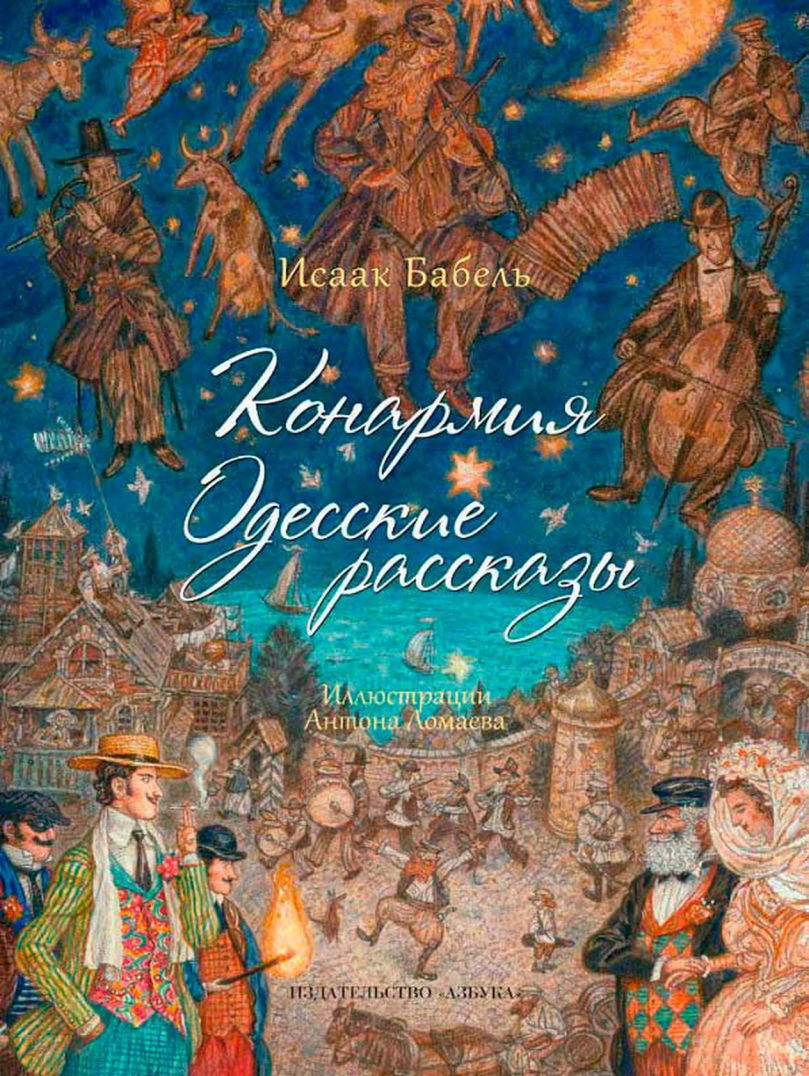

Исаак Бабель
Конармия
Одесские рассказы
Иллюстрации
Антона Ломаева
ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЗБУКА»

Конармия. Одесские рассказы.
Исаак Эммануилович Бабель

Аннотация
Исаак Бабель. Конармия. Одесские рассказы. ___ ___. компиляция
Автобиография
Начало
Конармия
  Дорога
  «Иван-да-Марья»
  Переход через Збруч
  Костел в Новограде
  Письмо
  Начальник конзапаса
  Пан Аполек
  Солнце Италии
  Гедали
  Мой первый гусь
  Рабби
  Путь в Броды
  Учение о тачанке
  Смерть Долгушова
  Комбриг два
  Сашка Христос

Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча
Кладбище в Козине
Прищепа
История одной лошади
Конкин
Берестечко
Соль
Вечер
Афонька Бида
У святого Валента
Эскадронный Трунов
Иваны
Продолжение истории одной лошади
Вдова
Замостье
Измена
Чесники
После боя
Песня
Сын рабби
Аргамак
Поцелуй
Грищук
Их было девять
Одесские рассказы

Король
Как это делалось в Одессе
Отец
Любка казак
Справедливость в скобках
Ты проморгал, капитан!
История моей голубятни
Первая любовь
Детство. У бабушки
Карл Янкель
В подвале
Пробуждение
Конец богадельни
Ди Грассо
Фроим Грач
Закат
Мой первый гонорар
Гюи де Мопассан

Аннотация

Исаак Бабель — замечательный русский писатель первой половины XX века, проникновенный, тонкий и ироничный рассказчик, автор бессмертной «Конармии» и литературный отец знаменитого Бени Крика из цикла «Одесские рассказы». Гражданскую войну Бабель прошел с Первой Конной армией Буденного. Мастер короткой новеллы, проникновенный, ироничный и внешне бесстрастный рассказчик, Бабель сумел создал собственный художественный мир — страшный и привлекательный одновременно, в котором есть место любви и смерти, горю и радости, презрению к опасности и умению наслаждаться жизнью, в которой тесно переплетены высокое и низкое.

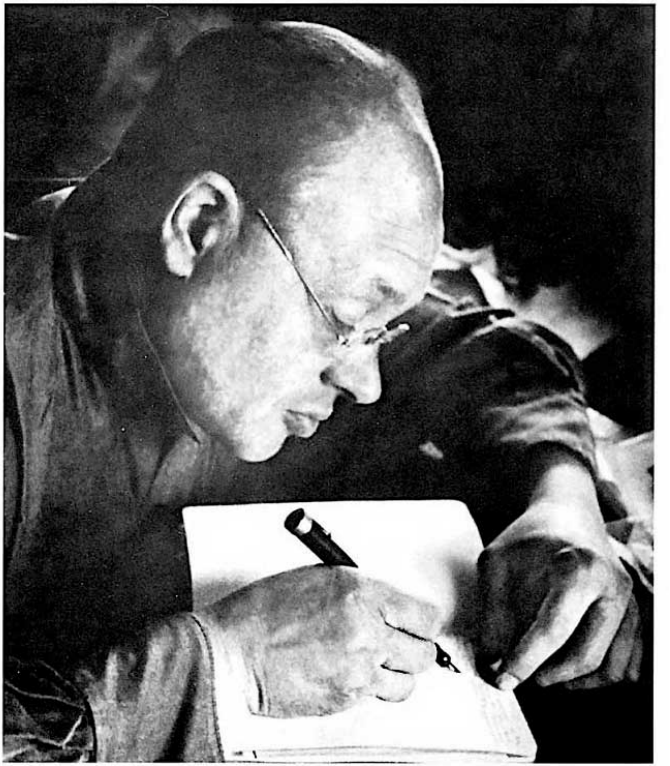
Иллюстрации для этой книги специально подготовлены известным петербургским художником Антоном Ломаевым.



Fb2•

Исаак Бабель
Конармия. Одесские рассказы

компиляция



Исаак Эммануилович Бабель
Начало 1930-х годов

Автобиография*

Родился в 1894 году в Одессе, на Молдаванке, сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на бильярде, или на Молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино. Школа эта незабываема для меня еще и потому, что учителем французского языка был там m-r Вадон. Он был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Он обучил меня своему

*** comments: ***

Автобиография

Впервые: Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков / Под ред. Вл. Лидина. М., 1926.

И. Э. Бабель. Статьи и материалы. Л., 1928.

Авторская датировка: Сергиев Посад. Ноябрь, 1924.

языку, я затвердил с ним французских классиков, сошелся близко с французской колонией в Одессе и с пятнадцати лет начал писать рассказы на французском языке. Я писал их два года, но потом бросил: пейзане и всякие авторские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне.

И. Э. Бабель с отцом Э. И. Бабелем. Николаев, 1904 г.



Потом, после окончания училища, я очутился в Киеве и в 1915 году в Петербурге. В Петербурге мне пришлось ужасно худо, у меня не было правожительства, я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у одного растерзанного, пьяного официанта. Тогда в 1915 году я начал разносить мои сочинения по редакциям, но меня отовсюду гнали, все редакторы (покойный Измайлов[1], Поссе[2] и др.) убеждали меня поступить куда-нибудь в лавку, но я не послушался их и в конце 1916 года попал к Горькому. И вот — я всем обязан этой встрече и до сих пор произношу имя Алексея Максимовича с любовью и благоговением. Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке «Летописи» за 1916 год[3] (я был привлечен за эти рассказы к уголовной ответственности по 1001 ст.), он научил меня

---

[1] notes: 1.245

Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921) — прозаик, литературный критик, пародист, с 1916 года редактировал газету «Петербургский ЛИСТОК».

[2] notes: 1.246

Поссе Владимир Алексеевич (1864–1940) — журналист, с 1898 года редактировал петербургский журнал «Жизнь».

[3] notes: 1.247

Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке «Летописи» за 1916 год. — В редактируемом Горьким журнале «Летопись» (1916, № 11) были опубликованы рассказы «Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» и «Мама, Римма и Алла».

необыкновенно важным вещам, и потом, когда выяснилось, что два-три сносных моих юношеских опыта были всего только случайной удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит, и что я пишу удивительно плохо, — Алексей Максимович отправил меня в люди.



Одесса. 1914–1915 гг.

И я на семь лет — с 1917 по 1924 — ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека[4], в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч. И только в 1923 году я научился выражать мои мысли ясно и не очень длинно. Тогда я вновь принялся сочинять.

---

[4] notes: 1.248

…потом служил в Чека. — Этот этап биографии Бабеля (о нем упоминается и в финале рассказа «Дорога») датируют январем — маем 1918 г. (см.: Спектор У. Краткая летопись жизни и творчества Исаака Эммануиловича Бабеля // Бабель И. Пробуждение. Тбилиси, 1989. С. 422). Существуют и обоснованные сомнения на этот счет (см.: Ковский В. Судьба текстов в контексте судьбы // Вопросы литературы. 1995. Вып. 1. С. 53–57).



И. Э Бабель в начале 20-х годов

Начало литературной моей работы я отношу поэтому к началу 1924 года, когда в 4-й книге журнала «Леф» появились мои рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Король» и др.

[1926]

Начало*

Лет двадцать тому назад, находясь в весьма нежном возрасте, расхаживал я по городу Санкт-Петербургу с липовым документом в кармане и — в лютую зиму — без пальто. Пальто, надо признаться, у меня было, но я не надевал его по принципиальным соображениям. Собственность мою в ту пору составляли несколько рассказов — столь же коротких, сколь и рискованных. Рассказы эти я разносил по редакциям, никому не приходило в голову читать их, а если они кому-нибудь попадались на глаза, то производили обратное действие. Редактор одного из журналов выслал мне через швейцара рубль, другой редактор сказал о рукописи, что это сущая чепуха, но что у тестя его есть мучной лабаз и в лабаз этот можно поступить приказчиком. Я отказался и

*** comments: ***

Начало

Впервые: Литературная газета, 1937, № 33, 18 июня.

Одновременно: Правда, 1937, № 166, 18 июня, заглавие: Из воспоминаний.

Мемуарный очерк опирается на интервью, данное С. Трегубу в июле 1936 года, вскоре после смерти Горького: Учитель. Беседа с тов. И. Бабелем // Комсомольская правда, 1936, № 172, 27 июля.

Год XXI. Альманах. Кн. 13. М., 1938.

понял, что мне не остается ничего другого, как пойти к Горькому.

В Петрограде издавался тогда интернационалистский журнал «Летопись», сумевший за несколько месяцев существования сделаться лучшим нашим ежемесячником. Редактором его был Горький. Я отправился к нему на Большую Монетную улицу. Сердце мое колотилось и останавливалось. В приемной редакции собралось самое необыкновенное общество из всех, какое только можно себе представить: великосветские дамы и так называемые «босяки», арзамасские телеграфисты, духоборы и державшиеся особняком рабочие, подпольщики-большевики.

Прием должен был начаться в шесть часов. Ровно в шесть дверь открылась, и вошел Горький, поразив меня своим ростом, худобой, силой и размером громадного костяка, синевой маленьких и твердых глаз, заграничным костюмом, сидевшим на нем мешковато, но изысканно. Я сказал: дверь открылась ровно в шесть. Всю жизнь он оставался верен этой точности, добродетели королей и старых, умелых, уверенных в себе рабочих.

Посетители в приемной разделялись — на принесших рукописи и на тех, кто ждал решения участи.

Горький подошел ко второй группе. Походка его была легка, бесшумна, я бы сказал — изящна, в руках он держал тетради; на некоторых из них его рукой было написано больше, чем рукой автора. С каждым он говорил сосредоточенно и долго, слушал собеседника с всепоглощающим жадным вниманием. Мнение свое он высказывал прямо и сурово, выбирая слова, силу которых мы узнали много позже, через годы и десятилетия, когда слова эти, прошедшие в душе нашей длинный, неотвратимый путь, сделались правилом и направлением жизни.

Покончив с авторами, уже знакомыми ему, Горький подошел к нам и стал собирать рукописи. Мельком он взглянул на меня. Я представлял тогда собой румяную, пухлую и неперебродившую смесь толстовца и социал-демократа, не носил пальто, но был вооружен очками, замотанными вощеной ниткой.

Дело происходило во вторник. Горький взял тетрадку и сказал:

— За ответом — в пятницу.

Неправдоподобно звучали тогда эти слова… Обычно рукописи истлевали в редакциях по нескольку месяцев, а чаще всего — вечность.

Я вернулся в пятницу и застал новых людей:

как и в первый раз, среди них были княгини и духоборы, рабочие и монахи, морские офицеры и гимназисты. Войдя в комнату, Горький снова взглянул на меня беглым своим, мгновенным взглядом, но оставил меня напоследок. Все ушли. Мы остались одни — Максим Горький и я, свалившийся с другой планеты, из собственного нашего Марселя (не знаю, нужно ли пояснять, что я говорю об Одессе). Горький позвал меня в кабинет. Слова, сказанные им там, решили мою судьбу.

— Гвозди бывают маленькие, — сказал он, — бывают и большие — с мой палец. — И он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец. — Писательский путь, уважаемый пистолет (с ударением на о), усеян гвоздями, преимущественно крупного формата. Ходить по ним придется босыми ногами, крови сойдет довольно, и с каждым годом она будет течь все обильнее… Слабый вы человек — вас купят и продадут, вас затормошат, усыпят, и вы увянете, притворившись деревом в цвету… Честному же человеку, честному литератору и революционеру пройти по этой дороге — великая честь, на каковые нелегкие действия я вас, сударь, и благословляю…

Надо думать, в моей жизни не было часов важнее тех, которые я провел в редакции «Летописи».

Выйдя оттуда, я полностью потерял физическое ощущение моего существа. В тридцатиградусный, синий, обжигающий мороз я бежал в бреду по громадным пышным коридорам столицы, открытым далекому темному небу, и опомнился, когда оставил за собой Черную Речку и Новую Деревню…

Прошла половина ночи, и тогда только я вернулся на Петербургскую сторону, в комнату, снятую накануне у жены инженера, молодой, неопытной женщины. Когда со службы пришел ее муж и осмотрел мою загадочную и юную персону, он распорядился убрать из передней все пальто и галоши и закрыть на ключ дверь из моей комнаты в столовую.

Итак, я вернулся в свою новую квартиру. За стеной была передняя, лишенная причитавшихся ей галош и накидок, в душе кипела и заливала меня жаром радость, тиранически требовавшая выхода. Выбирать было не из чего. Я стоял в передней, чему-то улыбался и неожиданно для себя открыл дверь в столовую. Инженер с женой пили чай. Увидев меня в этот поздний час, они побледнели, особенно у них побелели лбы.

«Началось», — подумал инженер и приготовился дорого продать свою жизнь.

Я ступил два шага по направлению к нему и сознался в том, что Максим Горький обещал напечатать мои рассказы.

Инженер понял, что он ошибся, приняв сумасшедшего за вора, и побледнел еще смертельнее.

— Я прочту вам мои рассказы, — сказал я, усаживаясь и придвигая к себе чужой стакан чая, — те рассказы, которые он обещал напечатать…

Краткость содержания соперничала в моих творениях с решительным забвением приличий. Часть из них, к счастью благонамеренных людей, не явилась на свет. Вырезанные из журналов, они послужили поводом для привлечения меня к суду по двум статьям сразу — за попытку ниспровергнуть существующий строй и за порнографию. Суд надо мной должен был состояться в марте 1917 года, но вступившийся за меня народ в конце февраля восстал, сжег обвинительное заключение, а вместе с ним и самое здание Окружного суда.

Алексей Максимович жил тогда на Кронверкском проспекте. Я приносил ему все, что писал, а писал я по одному рассказу в день (от этой системы мне пришлось впоследствии отказаться, с тем чтобы впасть в противоположную крайность). Горький все читал, все отвергал и требовал продолжения. Наконец мы оба устали, и он сказал

мне глуховатым своим басом:

— С очевидностью выяснено, что ничего вы, сударь, толком не знаете, но догадываетесь о многом… Ступайте посему в люди…

И я проснулся на следующий день корреспондентом одной неродившейся газеты, с двумястами рублей подъемных в кармане. Газета так и не родилась, но подъемные мне пригодились. Командировка моя длилась семь лет, много дорог было мною исхожено и многих боев я был свидетель. Через семь лет, демобилизовавшись, я сделал вторую попытку печататься и получил от него записку: «Пожалуй, можно начинать…»

И снова, страстно и непрерывно, стала подталкивать меня его рука. Это требование — увеличивать непрестанно и во что бы то ни стало число нужных и прекрасных вещей на земле — он предъявлял тысячам людей, им отысканных и взращенных, а через них и человечеству. Им владела не ослабевавшая ни на мгновенье, невиданная, безграничная страсть к человеческому творчеству. Он страдал, когда человек, от которого он ждал много, оказывался бесплоден. И счастливый, он потирал руки и подмигивал миру, небу, земле, когда из искры возгоралось

пламя…[1]

[1] notes: 1.249

…из искры возгоралось пламя. — Цитата из стихотворения поэта-декабриста А. И. Одоевского (1822–1839) «Струн вещих пламенные звуки”.», представляющего ответ на пушкинское «Во глубине сибирских руд»: «Наш скорбный труд не пропадет, Из искры возгорится пламя”.». Афоризм стал эпиграфом социал-демократической газеты «Искра» (1900–1903). Вторая реминисценция в данном случае важнее первой.



М. Горький, А. Мальро, И. Э. Бабель, М.Е. Кольцов. Тессели, Крым. 1936 г.

[1937]

Конармия*

*** comments: ***

В оформлении первого раздела fb2-файла — «Конармия» использованы комментарии к текстам из книги «Конармия», изданной в 2018 году издательством «Наука» в серии «Литературные памятники».

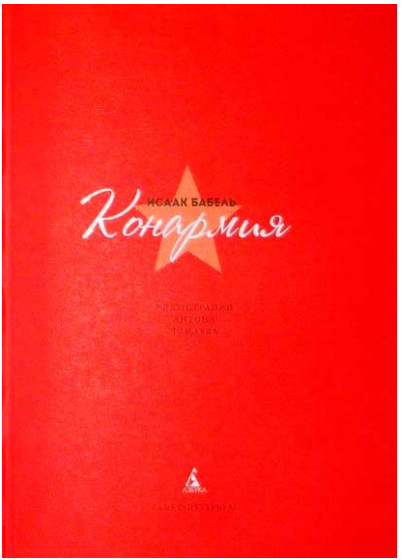
В раздел «Конармия» также включены несколько рассказов из цикла «История моей голубятни», как укладывающиеся в общую для обоих циклов тему Гражданской войны. Вообще, цикл рассказов «История моей голубятни», по сути своей, переходной. От «Одесских рассказов» — к «Конармия». И тематически, и хронологически. В данной компиляции цикл не выделен в отдельный раздел и не представлен всеми рассказами, поскольку не вписывается в общий строй данного fb2-файла, основой которого служит книга «Конармия. Одесские рассказы» издательства Азбука 2018 года издания. Однако, лучшие из них безусловно включены в этот сборник, призванный собрать под одной "обложкой" самые замечательные рассказы И. Э. Бабеля.

Суперобложка издания 2018 г.



Для комментирования исторических событий советско-польской войны 1920 г., отображенных в рассказах и особенно в походном дневнике писателя, использованы мемуары командарма С. М. Буденного «Пройденный путь» (главным образом вторая книга), исторический очерк начальника штаба Первой конной Л. Л. Клюева «Первая Конная красная армия на польском фронте в 1920 году», дневник секретаря Реввоенсовета С. Н. Орловского «Великий год», документы Конармии, хранящиеся в РГВА. В то же время эти источники расширяют представления о событиях, кратко отмеченных в дневнике Бабеля.

Если в книге приведено подлинное имя исторического лица — участника Первой конной армии (например, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, В. И. Книга, И. А. Колесников, Н. А. Конкин), то сведения о нем даются в примечаниях к соответствующим рассказам. Если же тот или иной герой назван вымышленной фамилией (например, Савицкий — С. К. Тимошенко, Павличенко — И. Р. Апанасенко), то справка о реальном человеке перенесена в примечания к дневнику.


ИСААК БАБЕЛЬ
Конармия

Дорога*

Я ушел с развалившегося фронта в ноябре семнадцатого года. Дома мать собрала мне белья и сухарей. В Киев я угодил накануне того дня, когда Муравьев начал бомбардировку города. Мой путь лежал на Петербург. Двенадцать суток отсидели мы в подвале гостиницы Хаима Цирюльника на Бессарабке. Пропуск на выезд я получил от коменданта советского Киева.

В мире нет зрелища унылее, чем Киевский вокзал. Временные деревянные бараки уже много лет оскверняют подступ к городу. На мокрых досках трещали вши. Дезертиры, мешочники, цыгане валялись вперемешку. Старухи галичанки мочились на перрон стоя. Низкое небо было изборождено тучами, налито мраком и дождем.

Трое суток прошло, прежде чем ушел первый

*** comments: ***

Дорога

Впервые: 30 дней, 1932, № 3. С. 41–43.

Печатается по первой публикации с восстановлением важного фрагмента, отсутствующего во всех предыдущих переизданиях: «За спиной телеграфиста… кушай кошерное».

Авторская датировка: 1920–1930.

Первоначальным наброском центрального эпизода рассказа можно считать очерк «Вечер у императрицы» (см. далее).

поезд. Вначале он останавливался через каждую версту, потом разошелся, колеса застучали горячей, запели сильную песню.

В нашей теплушке это сделало всех счастливыми. Быстрая езда делала людей счастливыми в восемнадцатом году. Ночью поезд вздрогнул и остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист в дохе, стянутой ремешком, и мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони.

— Документы об это место…

Первой у двери лежала на тюках неслышная, свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну-железнодорожнику. Рядом со мной дремали, сидя, учитель Иегуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней тому назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания, потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую.

Телеграфист прочитал их мандат, подписан-

ный Луначарским[1], вытащил из-под дохи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо. За спиной телеграфиста топтался сутулый большой мужик в развязавшемся треухе. Начальник мигнул мужику, тот поставил на пол фонарь, расстегнул убитого, отрезал ему ножиком половые части и стал совать в рот его жене.

— Брезговала трефовым, — сказал телеграфист, — кушай кошерное.

У женщины вздулась мягкая шея. Она молчала. Поезд стоял в степи. Волнистые снега роились полярным блеском. Из вагонов на полотно выбрасывали евреев. Выстрелы звучали неровно, как возгласы. Мужик с развязавшимся треухом отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас, затмеваясь, светила луна. Лиловая стена леса курилась. Чурбаки негнувшихся мороженых пальцев ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона:

— Жид или русский?

— Русский, — роясь во мне, пробормотал мужик, — хучь в раббины отдавай…

Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо,

---

[1] notes: 1.234

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — литературный критик, советский государственный деятель, с 1917 года — народный комиссар просвещения.

отодрал от кальсон четыре золотых десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски:

— Анклойф[2], Хаим…

Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине, точка мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил. В колоннах сосен, в накрытом подземелье леса качался огонек в венце багрового дыма. Я добежал до сторожки. Она курилась в кизяковом дыму. Лесник застонал, когда я ворвался в будку. Обмотанный полосами, нарезанными из шуб и шинелей, он сидел в бамбуковом бархатном креслице и крошил табак у себя на коленях. Растягиваемый дымом, лесник стонал, потом, поднявшись, он поклонился мне в пояс:

— Уходи, отец родной… Уходи, родной гражданин…

Он вывел меня на тропинку и дал тряпку, чтобы обмотать ноги. Я добрел до местечка поздним утром. В больнице не оказалось доктора, чтобы отрезать отмороженные мои ноги; палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подле-

---

[2] notes: 1.235
Беги *(евр.)*.

тал к больнице на вороном коротком жеребце, привязывал его к коновязи и входил к нам воспламененный, с ярким блеском в глазах.

— Фридрих Энгельс, — светясь углями зрачков, фельдшер склонялся к моему изголовью, — учит вашего брата, что нации не должны существовать, а мы обратно говорим, — нация обязана существовать…

Срывал повязки с моих ног, он выпрямлялся и, скрипя зубами, спрашивал негромко:

— Куда? Куда вас носит… Зачем она едет, ваша нация?.. Зачем мутит, турбуется…

Совет вывез нас ночью на телеге — больных, не поладивших с фельдшером, и старых евреек в париках, матерей местечковых комиссаров.

Ноги мои зудели. Я двинулся дальше по нищему пути на Жлобин, Оршу, Витебск.

Дуло гаубичного орудия служило мне прикрытием на перегоне Ново-Сокольники — Локня. Мы ехали на открытой площадке. Федюха, случайный спутник, проделывавший великий путь дезертиров, был сказочник, острослов, балагур. Мы спали под могучим, коротким, задранным вверх дулом и согревались друг от друга в холстинной яме, устланной сеном, как логово зверя. За Локней Федюха украл мой сундучок и исчез.

Сундучок выдан был местечковым Советом и заключал в себе две пары солдатского белья, сухари и несколько денег. Двое суток — мы приближались к Петербургу — прошли без пищи. На Царскосельском вокзале я отбыл последнюю стрельбу. Заградительный отряд палил в воздух, встречая подходивший поезд. Мешочников вывели на перрон, с них стали срывать одежду. На асфальт, рядом с настоящими людьми, валились резиновые, налитые спиртом. В девятом часу вечера вокзал вышвырнул меня на Загородный проспект из воющего своего острога. На стене, через улицу, у заколоченной аптеки, термометр показывал 24 градуса мороза. В туннеле Гороховой гремел ветер; над каналом закатывался газовый рожок. Базальтовая, остывшая Венеция стояла недвижимо. Я вошел в Гороховую, как в обледенелое поле, заставленное скалами.

В доме номер два, в бывшем здании градоначальства, помещалась Чека. Два пулемета, две железные собаки, подняв морду, стояли в вестибюле. Я показал коменданту письма Вани Калугина, моего унтер-офицера в Шуйском полку. Калугин стал следователем в Чека; он звал меня в письмах.

— Ступай в Аничков, — сказал комендант, — он

там теперь…

— Не дойти мне, — и я улыбнулся в ответ.

Невский Млечным путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поддетыми ногами лошади поддерживали небо, упавшее низко. Раскрытые животы их были чисты и блестели. Старик, похожий на гвардейца, провез мимо меня игрушечные резные сани. Напрягаясь, он вбивал в лед кожаные ноги, на макушке у него сидела тирольская шапочка, бечевка связывала бороду, сунутую в шаль.

— Не дойти мне, — сказал я старику.

Он остановился. Львиное, изрытое лицо его было полно спокойствия. Он подумал о себе и повлек сани дальше.

«Так отпадает необходимость завоевать Петербург», — подумал я и попытался вспомнить имя человека, раздавленного копытами арабских скакунов в самом конце пути. Это был Иегуда Галеви[3].

Два китайца в котелках, с буханками хлеба под мышками стояли на углу Садовой. Зябким ногтем они отмечали дольки на хлебе и показывали их подходившим проституткам. Женщины безмолв-

---

[3] notes: 1.236
Галеви Иегуда (1080–1142) — средневековый еврейский поэт.

ным парадом проходили мимо них.

У Аничкова моста, у Клодтовых коней, я присел на выступ статуи.

Локоть мой подвернулся под голову, я растянулся на полированной плите, но гранит опалил меня, выстрелил мною, ударил и бросил вперед, ко дворцу.

В боковом, брусничного цвета, флигеле дверь была раскрыта. Голубой рожок блестел над заснувшим в креслах лакеем. В морщинистом чернильно-мертвенном лице спадала губа, облитая светом гимнастерка без пояса накрывала придворные штаны, шитый золотом позумент. Мохнатая, чернильная стрелка указывала путь к коменданту. Я поднялся по лестнице и прошел пустые низкие комнаты. Женщины, написанные черно и сумрачно, водили хороводы на потолках и стенах. Металлические сетки затягивали окна, на рамах висели отбитые шпингалеты. В конце анфилады, освещенный точно на сцене, сидел за столом в кружке соломенных мужицких волос Калугин. Перед ним на столе горою лежали детские игрушки, разноцветные тряпицы, изорванные книги с картинками.

— Вот и ты, — сказал Калугин, поднимал голову, — здорово… Тебя здесь надо…

Я отодвинул рукой игрушки, разбросанные по столу, лег на блистающую его доску и… проснулся — прошли мгновения или часы — на низком диване. Лучи люстры играли надо мной в стеклянном водопаде. Срезанные с меня лохмотья валялись на полу в натекшей луже.

— Купаться, — сказал стоявший над диваном Калугин, поднял меня и понес в ванну. Ванна была старинная, с низкими бортами. Вода не текла из кранов. Калугин поливал меня из ведра. На палевых, атласных пуфах, на плетеных стульях без спинок разложена была одежда — халат с застежками, рубаха и носки из витого, двойного шелка. В кальсоны я ушел с головой, халат был скроен на гиганта, ногами я отдавливал себе рукава.

— Да ты шутишь с ним, что ли, с Александром Александровичем, — сказал Калугин, закатывая на мне рукава, — мальчик был пудов на девять…

Кое-как мы подвязали халат императора Александра Третьего и вернулись в комнату, из которой вышли. Это была библиотека Марии Федоровны[4], надушенная коробка с прижатыми к стенам золочеными, в малиновых полосах

---

[4] notes: 1.237

Мария Федоровна (1847–1928) — жена императора Александра III, до принятия православия — датская принцесса Дагмара, иной вариант посещения ее библиотеки излагается в очерке «Вечер у императрицы».

шкафами.

Я рассказал Калугину — кто убит у нас в Шуйском полку, кто выбран в комиссары, кто ушел на Кубань. Мы пили чай, в хрустальных стенах стаканов расплывались звезды. Мы заедали их колбасой из конины, черной и сыроватой. От мира отделял нас густой и легкий шелк гардин; солнце, вделанное в потолок, дробилось и сияло, душный жар налетал от труб парового отопления.

— Была не была, — сказал Калугин, когда мы разделались с кониной. Он вышел куда-то и вернулся с двумя ящиками — подарком султана Абдул-Гамида[5] русскому государю. Один был цинковый, другой сигарный ящик, заклеенный лентами и бумажными орденами. «A sa majeste, l'Empereur de toutes les Russies[6], — было выгравировано на цинковой крышке, — от доброжелательного кузена...»

Библиотеку Марии Федоровны наполнил аромат, который был ей привычен четверть столетия назад. Папиросы двадцать сантиметров в длину и толщиной в палец были обернуты в розовую

---

[5] notes: 1.238
Абдул-Гамид II (1842–1918) — турецкий султан в 1876–1909 годах.

[6] notes: 1.239
Его величеству императору всероссийскому *(фр.)*.

бумагу; не знаю, курил ли что в свете, кроме всероссийского самодержца, такие папиросы, но я выбрал сигару. Калугин улыбался, глядя на меня.

— Была не была, — сказал он, — авось не считаны… Мне лакеи рассказывали — Александр Третий был завзятый курильщик: табак любил, квас да шампанское… А на столе у него, погляди, пятачковые глинянные пепельницы да на штанах — латки…

И вправду, халат, в который меня облачили, был засален, лоснился и много раз чинен.

Остаток ночи мы провели, разбирал игреки Николая Второго, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребячьей мазней. Снимки великих князей, умерших в младенчестве, пряди их волос, дневники датской принцессы Дагмары, письма сестры ее, английской королевы, дыша духами и тленом, рассыпались под нашими пальцами. На титулах Евангелий и Ламартина[7] подруги и фрейлины — дочери бургомистров и государственных советников — в косых старательных строчках прощались с принцессой, уезжавшей в Россию. Мелкопоместная королева Луиза, мать ее, позабо-

---

[7] notes: 1.240

Ламартин Альфонс (1790–1869) — французский поэт-романтик, политический деятель.

тилась об устройстве детей; она выдала одну дочь за Эдуарда VII[8], императора Индии и английского короля, другую за Романова, сына Георга[9] сделали королем греческим. Принцесса Дагмара стала Марией в России. Далеко ушли каналы Копенгагена, шоколадные баки короля Христиана. Рожая последних государей, маленькая женщина с лисьей злобой металась в частоколе преображенских гренадеров, но родильная ее кровь пролилась в неумолимую мстительную гранитную землю…

До рассвета не могли мы оторваться от глухой, гибельной этой летописи. Сигара Абдул-Гамида была докурена. Наутро Калугин повел меня в Чека, на Гороховую, 2. Он поговорил с Урицким[10]. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов.

— Парень свой, — говорил Калугин, — отец лавочник, торгует, да он отбился от них… Языки

---

[8] notes: 1.241

Эдуард VII (1841–1910) — английский король с 1901 года.

[9] notes: 1.242

Георг 1 (1845–1913) — король Греции с 1863 года, из датской династии Глюксбургов.

[10] notes: 1.243

Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) — активный участник Октябрьской революции, председатель Петроградской ЧК, убит Л. Каннегиссером.

знает..

Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета раскачивающейся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обоженные бессонницей, разрыхленные, запухшие веки.

Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе.[11] Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего Петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами.

Не прошло и дня, как все у меня было, — одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране.

Так началась тринадцать лет назад превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья.

1920–1930 г.

---

[11] notes: 1.244

Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе. — См. прим. к «Автобиографии».

«Иван-да-Марья»*

Сергей Васильевич Малышев[1], ставший потом председателем Нижегородского ярмарочного комитета, образовал летом восемнадцатого года первую в нашей стране продовольственную экспедицию. С одобрения Ленина он нагрузил несколько поездов товарами крестьянского обихода и повез их в Поволжье, для того, чтобы там обменять на хлеб.

В эту экспедицию я попал конторщиком. Местом действия мы выбрали Ново-Николаевский уезд Самарской губернии. По вычислениям ученых, этот уезд при правильном на нем хозяйствовании может прокормить всю Московскую область.

Неподалеку от Саратова, на прибрежной станции Увек, товары были перегружены на баржу.

*** comments: ***

«Иван-да-Марья»

Впервые: 30 дней, 1932, № 4.
Авторская датировка: 1920–1925.

[1] notes: 1.250

Малышев Сергей Владимирович (1877–1938) — советский хозяйственник; Бабель участвовал вместе с ним в продовольственных экспедициях в июле — августе 1918 года (см. также далее очерк «Концерт в Катериненштадте»).

Трюм этой баржи превратился в самодельный универсальный магазин. Между выгнутыми ребрами плавучего склада мы прибили портреты Ленина и Маркса, окружили их колосьями, на полках расположили ситцы, косы, гвозди, кожу; не обошлось без гармоник и балалаек.

Там же, на Увеке, нам придали буксир — «Иван Тупицын», названный по имени волжского купца, прежнего хозяина. На пароходе разместился «штаб» — Малышев с помощниками и кассирами. Охрана и приказчики устроились в барже, под стойками.

Перегрузка заняла неделю. В июльское утро «Тупицын», вываливая жирные клубы дыма, потащил нас вверх по Волге, к Баронску. Немцы называли его Катариненштадт. Это теперь столица области немцев Поволжья, прекрасного края, населенного мужественными немногословными людьми.

Степь, прилегающая к Баронску, покрыта таким тяжелым золотом пшеницы, какое есть только в Канаде. Она завалена коронами подсолнухов и масляными глыбами чернозема. Из Петербурга, вылизанного гранитным огнем, мы перенеслись в русскую, и этим еще более необыкновенную Калифорнию. Фунт хлеба стоил в нашей Калифор-

нии шестьдесят копеек, а не десять рублей, как на севере. Мы накинулись на булку с ожесточением, которого теперь нельзя передать; в паутинную мякоть вонзались собачьи отточившиеся зубы. Недели две после приезда нас томил хмель блаженного несварения желудка. Кровь, потекшая по жилам, имела — так мне казалось — вкус и цвет малинового варенья…

Малышев рассчитал верно: торговля пошла ходко. Со всех краев степи к берегу тянулись медленные потоки телег. По спинам сытых лошадей двигалось солнце. Солнце сияло на вершинах пшеничных холмов. Телеги тысячами точек спускались к Волге. Рядом с лошадьми шагали гиганты в шерстяных фуфайках, потомки годландских фермеров, переселенных при Екатерине в Приволжские урочища. Лица их остались такими же, как в Саардаме и Гаарлеме. Под патриархальным мхом бровей, в сети кожаных морщин, блестели капли поблекшей бирюзы. Дым трубок таял в голубых молниях, протянувшихся над степью. Колонисты медленно всходили на баржу по трапу; деревянные их башмаки стучали, как колокола твердости и покоя. Товар выбирали старухи в накрахмаленных чепцах и коричневых тальмах. Покупки выносились

к бричкам. Доморощенные живописцы рассыпали вдоль этих возков охапки полевых цветов и розовые бычьи морды. Наружная сторона бричек была закрашена обыкновенно синим глубоким тоном. В нем горели восковые яблоки и сливы, тронутые солнечным лучом.

Из дальних мест приезжали на верблюдах. Животные ложились на берегу, расчерчивая горизонт сваливающимися горбами. Торговля наша кончалась к вечеру. Лавка запиралась; охрана, состоявшая из инвалидов, и приказчики разоблачались и прыгали с бортов в Волгу, подожженную закатом. В далекой степи красными валами ходили хлеба, в небе обрушивались стены заката. Купанье сотрудников продовольственной в Самарскую губернию экспедиции (так назывались мы в официальных бумагах) представляло собой необыкновенное зрелище. Калеки поднимали в воде илистые розовые фонтаны. Охранники были об одной ноге, другие недосчитывали руки или глаза. Они спрягались по двое, чтобы плавать. На двух человек приходилось две ноги, они колотили обрубками по воде, илистые струи втягивались водоворотом между их тел. Рыча и фыркая, калеки вываливались на берег; разыгравшись, они потрясали культяпками навстречу

несущимся небесам, закидывали себя песком и боролись, уминая друг дружке обрубленные конечности. После купанья мы отправлялись ужинать в трактир Карла Бидермаера. Этот ужин увенчивал наши дни. Две девки с кроваво-кирпичными руками — Августа и Анна — подавали нам котлеты, рыжие булыжники, шевелившиеся в струях кипящего масла и заваленные скирдами жареного картофеля. Для вкуса в деревенскую гороподобную эту еду подбавляли лук и чеснок. Перед нами ставили банки с кислыми огурцами. Из круглых окошечек, вырезанных высоко, у потолка, шел с базарной площади дым заката. Огурцы курились в багровом дыму и пахли, как морской берег. Мы запивали мясо сидром. Обитатели Песков и Охты, обыватели пригородов, обледеневших в желтой моче, мы каждый вечер наново чувствовали себя завоевателями. Окошечки, высеченные в столетних черных стенах, походили на иллюминаторы. Сквозь них просвечивал дворик божественной чистоты, немецкий дворик с кустами роз и глициний, с фиолетовой пропастью раскрытой конюшни. Старухи в тальмах вязали у порогов чулки Гулливера. С пастбищ возвращались стада. Августа и Анна присаживались на скамеечки к коровам. В сумер-

ках мерцали радужные коровьи глаза. Войны, казалось, не было и нет на свете. И все-таки фронт уральских казаков проходил в двадцати верстах от Баронска. Карл Бедермаер не догадывался о том, что гражданская война катится к его дому.

Ночью я возвращался в наш трюм с Селецким, таким же конторщиком, как и я. Он запевал по дороге. Из стрельчатых окон высовывались головы в колпаках. Лунный свет стекал по красным каналам черепицы. Глухой лай собак поднимался над русским Саардамом. Августы и Авны, окаменев, слушали пение Селецкого. Бас его доносил нас до степи, к готической изгороди хлебных амбаров. Лунные перекладины дрожали на реке, тьма была легка; она отступала к прибрежному песку; в порванном неводе загибались светящиеся черви.

Голос Селецкого был неестественной силы. Саженный детина, он принадлежал к тому разряду провинциальных Шаляпиных, которых, на счастье наше, рассеяно множество на Руси. У него было такое же лицо, как у Шаляпина, — не то шотландского кучера, не то екатерининского вельможи. Он был простоват, не в пример божественному своему прототипу, но голос его, безгранично, смертельно раздвигался, наполнял душу сладостью самоуничтожения и цыганского

забытья. Кандальные песни он предпочитал итальянским ариям. От Селецкого первый раз услышал я гречаниновскую «Смерть»[2]. Грозно, неумолимо, страстно шло по ночам над темной водой:

…Она не забудет, придет, приголубит,
Обнимет, навеки полюбит, —
И брачный свой, тяжкий, наденет венец!.

В мгновенной оболочке, называемой человеком, песня течет, как вода вечности. Она все смывает и все родит.

Фронт проходил в двадцати верстах. Уральские казаки, соединившись с чешским батальоном майора Воженилика, пытались выбить из Николаевска разрозненные отряды красных. Севернее — из Самары — наступали войска Комуча — Комитета членов Учредительного собрания. Распыленные и необученные, наши части перегруппировались на левом берегу. Только что

[2] notes: 1.251

«Смерть» — романс русского композитора Александра Тихоновича Гречанинова (1864–1956).

изменил Муравьев[3]. Советским главнокомандующим был назначен Вацетис[4].

Оружие фронта привозили из Саратова. Раз, а то и два раза в неделю к баронской пристани пришвартовывался бело-розовый самолетский пароход «Иван-да-Марья». Он привозил винтовки и снаряды. Палуба парохода бывала уставлена ящиками с набитыми по трафарету черепами, с надписью под черепами: «Смертельно».

Командовал пароходом Коростелев, испитой человек с льняным висячим волосом. Коростелев был бегун, неустроенная душа, бродяга. Он на парусниках ездил по Белому морю, пешком обошел Россию, побывал в тюрьме и в монастыре на послушании.

Возвращаясь от Бидермаера, мы всегда заходили к нему, если находили у пристани огни «Иван-да-Марьи». Однажды ночью, поравнявшись с хлебными амбарами, с волшебной этой линией синих и коричневых замков, мы увидели

---

[3] notes: 1.252

Муравьев Михаил Артемович (1880–1918) — командующий Восточным фронтом, в июле 1918 года поднял антибольшевистский мятеж в Симбирске, убит при аресте.

[4] notes: 1.253

Вацетис Иоаким Иоакимович (1873–1938) — советский военачальник, командующий Восточным фронтом, в 1918–1919 годах — главком вооруженных сил Советской республики.

факел, пылавший высоко в небе. Мы возвращались с Селецким домой в том размягченном и страстном состоянии, какое может произвести необыкновенная эта сторона, молодость, ночь, тающие огненные кольца на реке.

Волга катилась неслышно. Огней не было на «Иван-да-Марье», корпус парохода темнел мертво, только факел рвался высоко над ним. Пламя металось над мачтой и чадило. Селецкий пел, побледнев и закинув голову. Он подошел к воде и оборвал. Мы взошли на мостки, никем не охраняемые. На палубе валялись ящики и орудийные колеса. Я толкнул дверь капитанской каюты, она открылась. На залитом столе горела без стекла жестяная лампа. Железка, окружавшая фитиль, плавилась. Окна были забиты горбатыми досками. От бидонов, вившихся под столом, шел серный дух самогона. Коростелев в холщовой рубахе сидел на полу в зеленых струях блевотины. Монашеский волос, склеившись, стоял вокруг его лица. Коростелев не отрываясь смотрел с полу на своего комиссара, латыша Ларсона. Тот, поставив перед собой желтый картон «Правды», читал его в свете плавящегося керосинового костра.

— Вот ты какой, — сказал с полу Коростелев, — продолжай то, что ты говорил… Мучай нас, если

хочешь…

— Зачем я буду говорить, — отозвался Ларсон, повернулся спиной и отгородился своим картоном, — лучше я тебя послушаю…

На бархатном диване, свесив ноги, сидел рыжий мужик.

— Лисей, — сказал ему Коростелев, — водки.

— Вся, — ответил Лисей, — и достать негде…

Ларсон отставил картон и захохотал вдруг, точно дробь стал выбивать.

— Российскому человеку выпить требуется, — латыш говорил с акцентом, — у российского человека душа мало-мало разошлась, а тут достать негде… Зачем тогда Волга называется?..

Худая детская шея Коростелева вытянулась, ноги его в холщовых штанах разбросались по полу. Жалобное недоумение отразилось в его глазах, потом они засияли.

— Мучай нас, — сказал он чуть слышно и вытянул шею, — мучай нас, Карл…

Лисей сложил пухлые руки и посмотрел на латыша сбоку:

— Ишь, Волгу ремизит… Нет, товарищ, ты нашу Волгу не ремизь, не порочь… Знаешь, как у нас песня играется: «Волга-матушка, река-царица…»

Мы с Селецким все стояли у двери. Я подумывал

об отступлении.

— Вот никоим образом не пойму, — обратился к нам Ларсон, он, видимо, продолжал давнишний спор, — может, товарищи разъяснят мне, как это так выходит, что железобетон оказывается хуже березок да осинок, а дирижабли хуже калуцкого дерьма?..

Лисей повертел головой в ваточном воротнике. Ноги его не доставали до полу, пухлыми пальцами, прижатыми к животу, он плел невидимую сеть.

— Что ты, друг, об Калуге знаешь, — успокоительно сказал Лисей, — в Калуге, я тебе скажу, знаменитый народ живет: великолепный, если желаешь знать, народ…

— Водки, — произнес с полу Коростелев.

Ларсон снова запрокинул поросячью свою голову и резко захохотал.

— Мы-ста да вы-ста, — пробормотал латыш, придвигая к себе картон, — авось да небось…

Бурный пот бил на его лбу, в колтуне бесцветных волос плавали манные струи огня.

— Авось да небось, — он снова фыркнул, — мы-ста да вы-ста…

Коростелев потрогал пальцами вокруг себя. Он двинулся и пополз, забирая вперед руками, таща

за собой скелет в холщовой рубахе.

— Ты не смеешь мучить Россию, Карл, — прошептал он, подползши к латышу, ударил его сведенной ручкой по лицу и с визгом стал об него стучаться.

Тот надулся и поверх сползших очков осмотрел всех нас. Потом он обмотал вокруг пальцев шелковую реку волос Коростелева и вдавил его лицом в пол. Он поднял его и снова опустил.

— Получил, — отрывисто сказал Ларсон и отшвырнул костлявое тело, — и еще получишь…

Коростелев, упершись в ладони, приподнялся над полом по-собачьи. Кровь текла у него из ноздрей, глаза косили. Он поводил ими, потом вскинулся и с воем забрался под стол.

— Россия, — проговорил он под столом и забился, — Россия…

Лопаты босых его ступней выскочили и втянулись. Одно только слово — со свистом и стоном — можно было расслышать в его визге.

— Россия, — выл он, протягивая руки, и колотился головой.

Рыжий Лисей сидел на бархатном диване.

— С полдня завелись, — обернулсл он ко мне и Селецкому, — все об Рассее бьются, все Рассею жалеют…

— Водки, — твердо сказал из-под стола Коростелев. Он вылез и стал на ноги. Волосы его, замокшие в кровавой луже, падали на щеку.

— Где водка, Лисей?

— Водка, друг, в Вознесенском, сорок верст, хошь по воде сорок верст, хошь по земле сорок верст… Там ноне храм, самогон обязан быть… Немцы, что хошь делай, не держат..

Коростелев повернулся и вышел на прямых журавлиных ногах.

— Мы калуцкие, — неожиданно закричал Ларсон.

— Не уважает Калугу, — вздохнул Лисей, — хоть ты што… А я в ей был в Калуге… В ей стройный народ живет, знаменитый..

За стеной прокричали команду, послышался звук якоря, якорь пошел вверх. Брови Лисея поднялись.

— Никак в Вознесенское едем?.

Ларсон захохотал, откинув голову. Я выбежал из каюты. Босой Коростелев стоял на капитанском мостике. Медный отблеск луны лежал на раскроенном его лице. Сходни упали на берег. Матросы, кружась, наматывали канаты.

— Дмитрий Алексеевич, — крикнул вверх Селецкий, — нас-то отпусти, мы-то при чем?..

Машины, взорвавшись, перешли на беспорядочный стук. Колесо рыло воду. У пристани мягко разодралась сгнившая доска. «Иван-да-Марья» ворочал носом.

— Поехали, — сказал Лисей, вышедший на палубу, — поехали в Вознесенское за самогоном…

Раскручивал колесо, «Иван-да-Марья» набирал быстроту. В машине нарастала масляная толкотня, шелест, свист, ветер. Мы летели во мраке, не сворачивая по сторонам, сбивая бакены, сигнальные вешки и красные огни. Вода, пенясь под колесами, летела назад, как позлащенное крыло птицы. Луна врылась в черные водовороты. «Фарватер Волги извилист, — вспомнил я фразу из учебника, — он изобилует мелями…» Коростелев переминался на капитанском мостике. Голубая светящаяся кожа обтягивала его скулы.

— Полный, — сказал он в рупор.

— Есть полный, — ответил глухой неводимый голос.

— Еще дай…

Внизу молчали.

— Сорву машину, — ответил голос после молчания. Факел сорвался с мачты и проволочился по крутящейся волне. Пароход качнулся; взрыв, продрожав, прошел по корпусу. Мы летели во мраке,

никуда не сворачивал. На берегу взвилась ракета, по нас ударили трехдюймовкой. Снаряд просвистал в мачтах. Поваренок, тащивший по палубе самовар, поднял голову. Самовар выскользнул из его рук, покатился по лестнице, треснул, и блещущая струя понеслась по грязным ступеням. Поваренок оскалился, привалился к лестнице и заснул. Изо рта его забил смертный запах самогона. Внизу, среди замаслившихся цилиндров, кочегары, голые до пояса, ревели, размахивали руками, валились на пол. В жемчужном свечении валов отражались искаженные их лица. Команда парохода «Иван-да-Марья» была пьяна. Один рулевой твердо двигал свой круг. Он обернулся, увидев меня.

— Жид, — сказал мне рулевой, — что с детями будет?..

— С какими детями?

— Дети не учатся, — сказал рулевой, ворочал кругом, — дети воры будут…

Он приблизил ко мне свинцовые синие скулы и заскрипел зубами. Челюсти его скрежетали, как жернова. Зубы, казалось, размалываются в песок.

— Загрызу…

Я попятился от него. По палубе проходил Ли-

сей.

— Что будет, Лисей?

— Должен довезти, — сказал рыжий мужик и сел на лавочку отдохнуть.

Мы спустили его в Вознесенском. «Храма» там не оказалось, ни огней, ни карусели. Пологий берег был темен, прикрыт низким небом. Лисей потонул в темноте. Его не было больше часу, он вынырнул у самой воды, нагруженный бидонами. Его сопровождала рябая баба, статная как лошадь. Детская кофта, не по ней, обтягивала грудь бабы. Какой-то карлик в остроконечной ватной шапке и маленьких сапожках, разинув рот, стоял тут же и смотрел, как мы грузились.

— Сливочный, — сказал Лисей, ставя бидоны на стол, — самый сливочный самогон…

И гонка призрачного нашего корабля возобновилась. Мы приехали в Баронск к рассвету. Река расстилалась необозримо. Вода стекала с берега, оставляя атласную синюю тень. Розовый луч ударил в туман, повисший на клочьях кустов. Глухие крашеные стены амбаров, тонкие их шпили медленно повернулись и стали подплывать к нам. Мы подходили к Баронску под раскаты песни. Селецкий прочистил горло бутылкой самого сливочного и распелсл. Тут все было —

«Блоха»[5] Мусоргского, хохот Мефистофеля[6] и ария помешавшегося мельника[7] «Не мельник я — я ворон...».

Босой Коростелев, перегнувшись, лежал на перильцах капитанского мостика. Голова его с прикрытыми веками поматывалась, рассеченное лицо было закинуто к небу, по нем блуждала неясная детская улыбка. Коростелев очнулся, когда мы замедлили ход.

— Алеша, — сказал он в рупор, — самый полный.

И мы врезались в пристань с полного хода. Доска, помятая нами в прошлый раз, разлетелась. Машину застопорили вовремя.

— Вот и довез, — сказал Лисей, оказавшийся рядом со мной, — а ты, друг, опасывался...

На берегу выстроились уже чапаевские тачанки. Радужные полосы темнели и остывали на берегу, только что оставленном водой. У самой

---

[5] notes: 1.254

«Блоха» — романс Модеста Петровича Мусоргского (1839–1881).

[6] notes: 1.255

Мефистофель — герой оперы Шарля Гуно (1818–1893) «Фауст» (1859) на сюжет трагедии И. В. Гете.

[7] notes: 1.256

Помешавшийся мельник — персонаж оперы Александра Сергеевича Даргомыжского (1813–1869) «Русалка» (1855) на сюжет неоконченной драмы Пушкина. Все три упомянутые музыкальные произведения были в репертуаре Ф. И. Шаляпина.

пристани врылись зарядные ящики, брошенные в прежние приезды. На одном из ящиков в папахе и неподпоясанной рубахе сидел Макеев, командир сотни у Чапаева. Коростелев пошел к нему, расставив руки.

— Опять я, Костя, начудил, — сказал он с детской своей улыбкой, — все горючее извел…

Макеев боком сидел на ящике, клочья папахи свисали над безбровыми желтыми дугами глаз. Маузер с некрашеной ручкой лежал у него на коленях. Он выстрелил, не оборачиваясь, и промахнулся.

— Фу-ты ну-ты, — пролепетал Коростелев, весь светясь, — вот ты и рассердился… — Он шире расставил худые руки. — Фу-ты ну-ты…

Макеев вскочил, завертелся и выпустил из маузера все патроны. Выстрелы прозвучали торопливо. Коростелев еще что-то хотел сказать, но не успел, вздохнул и упал на колени. Он опустился к ободьям, к колесам тачанки, лицо его разлетелось, молочные пластинки черепа прилипли к ободьям. Макеев, пригнувшись, выдергивал из обоймы последний застрявший патрон.

— Отшутились, — сказал он, обводя взглядом красноармейцев и всех нас, скопившихся у сходен.

Лисей, приседая, протрусил с попоной в руках и накрыл ею Коростелева, длинного, как дерево. На пароходе шла одиночная стрельба. Чапаевцы, бегал по палубе, арестовывали команду. Баба, приставив ладонь к рябому лицу, смотрела с борта на берег сощуренными, незрячими глазами.

— Я те погляжу, — сказал ей Макеев, — я научу горючее жечь..

Матросов выводили по одному. За амбарами их встречали немцы, высыпавшие из своих домов. Карл Бидермаер стоял среди своих земляков. Война пришла к его порогу.

В этот день нам выпало много работы. Большое село Фриденталь приехало за товаром. Цепь верблюдов легла у воды. Вдали, в бесцветной жести горизонта, завертелись ветряки.

До обеда мы ссыпали в баржу фриденталь-ское зерно, к вечеру меня вызвал Малышев. Он умывался на палубе «Тупицына». Инвалид с зашпиленным рукавом сливал ему из кувшина. Малышев фыркал, кряхтел, подставляя щеки. Обтираясь полотенцем, он сказал своему помощнику, продолжая, видимо, ранее затеянный разговор:

— И правильно... Будь ты трижды хороший человек, — и в скитах ты был, и по Белому морю

ходил, и человек ты отчаянный, — а вот горючее, сделай милость, не жги…

Мы пошли с Малышевым в каюту. Я обложился там ведомостями и стал писать под диктовку телеграмму Ильичу.

— Москва. Кремль. Ленину.

В телеграмме мы сообщали об отправке пролетариям Петербурга и Москвы первых маршрутов с пшеницей, двух поездов по двадцать тысяч пудов зерна в кладом.

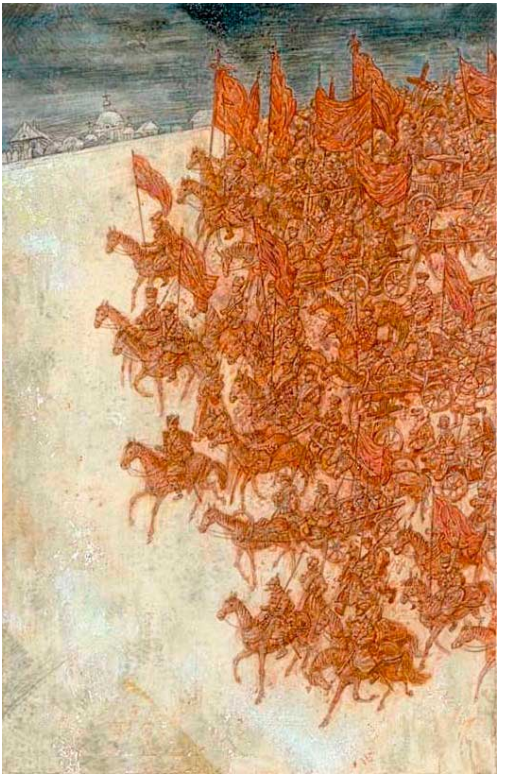
1920–1928

Переход через Збруч*

*** comments: ***

Переход через Збруч

Впервые: Правда. 1924. 3 авг. С. 4, под рубрикой «Из дневника»; авторская датировка: «Новоград-Волынск, 1.7.20». Повторно: Кр. Н. 1925. № 3. С. 128–130, под рубрикой «Из дневника»; авторская датировка: «Новоград-Волынск, июль 1920 г.».



Начдив шесть донес о том, что Новоград-Во-

лынск взят сегодня на рассвете.[1] Штаб выступил из Крапивно[2], и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы[3] и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.[4]

Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей

---

[1] notes: 1.1

...Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. — Части Первой конной армии вошли в Новоград-Волынский 27 июня 1920 г. Орловский записал в дневнике: «26 июня с рассветом 6-я дивизия форсировала реку в районе Гильска и далее реку Смолку, сбила противника с занимаемых окопов и с рассветом 27-го заняла г. Новоград-Волынск. Преследуемый противник потерял большое количество орудий и пулеметов» (Орловский. С. 68). В оперативной сводке полевого штаба Реввоенсовета Республики по Юго-Западному фронту от 28 июня сообщалось: «В Ровненском направлении наша конница, сломав упорное сопротивление противника, 27 июня овладела городом Новоград-Волынском и ведет бой в 10 верстах к западу от него. Южнее наши войска форсируют реку Случ(ь)» (Известия. 1920. 29 июня. С. 1).

[2] notes: 1.2

Штаб выступил из Крапивно... — На Украине существует несколько

сел с таким названием; в рассказе речь идет о селе Крапивна, или Крапивня (укр. Кропивна, или Кропивня) в Новоград-Волынском районе Житомирской обл.; оно упоминается в девятой главе мемуаров Буденного «Даешь Новоград-Волынский!» (см.: Буденный 2. С. 140–167) и в ряде документов Первой конной. Например, в донесении К. К. Жолнеркевича, начальника штаба 6-й кавалерийской дивизии, отправленном начдиву шесть Тимошенко в 22 часа 23 июня 1920 г., за несколько дней до овладения Новоградом, сообщается, что полевой штаб «переходит (в) Крапивна» (РГВА. Ф. 7675. Оп. 1. Д. 14. Л. 362).

[3] notes: 1.3

…и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе (…) идущему от Бреста до Варшавы… — Шоссе «от Бреста до Варшавы» находится далеко на западе от Но-вограда. На самом деле путь штаба дивизии (и обоза) пролегал по освобожденной шоссейной дороге, соединяющей Житомир с Новоградом-Волынским; Орловский 27 июня отметил в дневнике, что «РВС Конармии выехал в тыловой штаб в Бердичев для разрешения целого ряда вопросов снабжения и политработы. Необходимо наладить снабжение армии по открывшейся шоссейной магистрали Житомир-Новоград-Волынск и далее для подвоза огнеприпасов и фуража» (Орловский. С. 68).

[4] notes: 1.4

…построенному на мужичьих костях Николаем Первым. — Участок Варшавского шоссе (от Варшавы до Бреста) был пущен в 1823 г., т. е. еще до вступления на престол Николая I, в конце правления Александра I. При Николае I, в 1849 г., был пущен встречный участок, от Москвы до Бреста.

каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч[5] шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд.[6] Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.

Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене.[7] Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки жен-

---

[5] notes: 1.5

Почерневший Збруч… — Новоград-Волынский стоит не на реке Збруч, притоке Днестра, протекающего довольно далеко на юго-западе от этого города, а на реке Случь, притоке Горыни. Бои на реке Збруч во время советско-польской войны происходили примерно через месяц после события, о котором говорится в рассказе Бабеля, но без участия Первой конной армии. В оперсводке от 21 июля сообщается: «В Волочисском районе наши части, переправившиеся на западный берег реки Збруч, севернее Волочиска, ведут успешные для нас бои и теснят противника к западу. В Гусятинском районе наши войска в бою на западном берегу р. Збруч захватили 250 пленных и 4 пулемета» (Известия. 1920. 22 июля. С. 1). Буденный писал, что 29 июля южнее фронта Первой конной «14-я армия форсировала реку Збруч» (Буденный 2. С. 243). Збруч как река, протекающая через Новоград, упоминается и в рассказе «Солнце Италии».

[6] notes: 1.6

Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. — Разрушение моста через реку-исторический факт. 27 июня Орловский записал в дневнике: «Противник занимал чрезвычайно выгодную позицию с двумя линиями укрепленных окопов, расположенных на возвышенности в 3 километрах от города, имея перед собой естественное прикрытие — непроходимую вброд р. Случ(ь) (…) Отходя, противник уничтожил мост через реку Случ(ь), что затруднило переброску артиллерии и обозов» (Орловский. С. 68).

[7] notes: 1.7

Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит уже, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. — В какой-то мере здесь использован набросок (31), относящийся к Владимиру-Волынскому: «Копошусь в теплой яме. Горячность еврейской семьи. Сижу, не выхожу в город. Я сплю против беременной женщины».

ских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на пасху.[8]

— Уберите, — говорю я женщине. — Как вы грязно живете, хозяева…

Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы в цирке, их шеи пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается над моим ложем.

Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном.

Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают наземь. «Зачем ты поворотил бригаду?» — кричит ра-

---

[8] notes: 1.8

…черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на Пасху. — Речь идет о специальной кошерной посуде, которую используют на еврейский праздник Песах (Пасха), в остальное время она хранится отдельно от повседневной посуды.

неному Савицкий, начдив шесть[9], — и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу.

— Пане, — говорит она мне, — вы кричите со сна и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу…

Она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца.

— Пане, — говорит еврейка и встряхивает перину, — поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было нужно, — он кончался в этой комнате и думал обо мне… И теперь я хочу знать, — сказала вдруг женщина с ужасной силой, — я хочу знать,

---

[9] notes: 1.9

…кричит раненому Савицкий, начдив шесть… — Начальником 6-й кавалерийской дивизии Первой конной армии в это время был С. К. Тимошенко. В отличие от других рассказов конармейского цикла, где в газетных и журнальных публикациях, предшествовавших первому изданию «Конармии», начдив Тимошенко назван настоящим именем, в первой и повторной публикациях рассказа «Переход через Збруч» дана вымышленная фамилия Савицкий. Впрочем, люди с такой фамилией служили в Первой конной, например С. Савицкий — начальник штаба 14-й кавалерийской дивизии.

О Тимошенко см. примеч. 2 к дневниковой записи от 14 июля.

где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец…

Костел в Новограде[*]

Я отправился вчера с докладом к военкому[1], остановившемуся в доме бежавшего ксендза. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка иезуита[2]. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана.

Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенья, я насладился пищей иезуитов.

Старая полька называла меня «паном», у порога

*** comments: ***

Костел в Новограде

Впервые: ОН. 1923. 18 февр. С. 5, под рубрикой «Из книги “Конармия”». Повторно: Кр. нива. 1924. № 39. С. 936–937, под рубрикой «Из дневника»; авторская датировка: «Конармия. Новоград-Волынск, июль 1920». В книге датировки нет.

Черновой автограф (набросок без начала и окончания) и вырезка из ОН с авторской правкой и пометой «проще»: РГАЛИ. Ф. 1559. Оп. 1. Ед. хр. 13.

[1] notes: 1.10

Я отправился вчера с докладом к военкому… — С ноября 1919 г. по август 1920 г. военным комиссаром 6-й кавалерийской дивизии был П. В. Бахтуров.

[2] notes: 1.11

Иезуиты, официальное название — Общество Иисуса, также орден св. Игнатия (по имени основателя) — мужской духовный орден Римско-католической церкви, основанный в 1534 г. Игнатием Лойолой и утвержденный Павлом III в 1540 г. Иезуиты принадлежат к числу регулярных клириков, т. е. представителей тех монашеских орденов католической церкви, которые занимаются пастырской деятельностью, а также образованием и делами милосердия, не находятся в строгом затворе, более ориентированы на общественную деятельность, чем на углубленную духовную работу над собой в монастырях.

стояли навытяжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патер бежал, но он оставил помощника — пана Ромуальда.

Гнусавый скопец с телом исполина, Ромуальд величал нас «товарищами». Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом — пан Ромуальд, если бы он не был шпионом.

Я пил с ним ром, дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксендза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О распятия, крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл[3] и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов!..

---

[3] notes: 1.12

...пергамент папских булл... — Булла (от *лат.* bulla — печать) — в Средние века основной папский документ, который скреплялся свинцовой (иногда золотой) печатью.

Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки, я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц.

Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждущие розы колышутся во тьме. Зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом. И лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь.

Вот Польша, вот надменная скорбь Речи Посполитой[4]! Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому Начальнику

[4] notes: 1.13

Речь Посполитая (Речь Посполита, польск. Rzeszpospolita) — традиционное название польского государства с XV в., с 1569 г. — официальное название польско-литовского государства.

Панства, Иозефу Пилсудскому.[5]

Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе. Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега[6], вставшие на час!..

Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу, мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоте, у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала.

Черепа, оказавшиеся резьбой церковного ката-

---

[5] notes: 1.14

...Начальнику Панства Йозефу Пильсудскому. — Пилсудский (Pilsudski) Юзеф (1867–1935) — польский государственный и политический деятель, первый глава возрожденного польского государства; в 1918 г. был провозглашен Начальником государства (панства), с 1920 г. — Маршал Польши.

[6] notes: 1.15

...горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега... — Радзивиллы и Сапеги — старинные знатные польские княжеские роды; здесь имеются в виду политические деятели XX в. Радзивилл (Radziwill) Януш Францишек (1880–1967), один из сторонников Пилсудского, и Сапега (Sapeiha) Евстахий Каетан Владислав (1881–1963), в 1920–1921 гг. министр иностранных дел Польши.

фалка, не пугают меня больше, и все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксендза нашли груды военного обмундирования.

Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками, пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винцента[7], на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином.

Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайны. Он скрывает в своих глянцевитых стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно.

---

[7] notes: 1.16

Святой Петр — один из двенадцати апостолов (учеников) Иисуса Христа, в католицизме считается первым папой римским; **святой Франциск** — Франциск Ассизский, **Бернардоне** (Bemardone) Джованни ди Пьетро (1182–1226), католический святой, основатель ордена францисканцев; **святой Винцент** — Викентий (Винсент) де Поль (Vincent de Paul, 1581–1660), католический святой, основатель конгрегаций лазаристов и дочерей милосердия.

О глупый ксендз, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок. За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, сафьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями.

А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумье в глазах пани Элизы, громовый хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Робацким, обезумевшим звонарем.

— Прочь, — сказал я себе, — прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами…

Письмо*

*** comments: ***

Письмо

Впервые: ОИ. 1923. 11 февр. С. 5, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; с примечанием редакции: «Настоящий отрывок — глава из заканчиваемой писателем Бабелем книги “Конармия”, рисующей польскую кампанию 1920 г., которую автор проделал вместе с буденновцами. В дальнейшем в “Известиях” будут напечатаны и другие главы из этой книги». Повторно: Леф. 1923. № 4 (вышел в первых числах января 1924 г.). С. 63–66, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Новоград-Во-лынск, июнь 1920». Затем: Рассказы-1925(2). С. 67–73. В книге датировки нет.

Машинопись с проставленными от руки местом и датой «Новоград-Волынск, июнь 1920»: РГАЛИ. Ф. 2852. On. 1. Ед. хр. 403. Л. 1^1.

Основой для фабулы рассказа послужил эпизод, записанный Бабелем в дневнике 9 августа: «Переезд из Берестечко в Лашков, Галиция. Экипаж начдива, ординарец начдива Левка — тот самый, что цыганит и гоняет лошадей. Рассказ о том, к(а)к он плетил соседа Степана, бывшего стражником при Деникине, обижавшего население, возвратившегося в село (…) “Зарезать” не дали, в тюрьме били, разрезали спину, прыгали по нем, танцевали, эпический разговор: хорошо тебе, Степан? Худо. А тем, кого ты обижал — хорошо было? Худо было. А думал ты, что и тебе худо будет. Нет, не думал. А надо было подумать, Степан, вот мы думаем, что ежели попадемся, то зарежете, ну да м.и., а теперь, Степан, будем тебя убивать. Оставили чуть теплого».

Фамилия Курдюков подлинная — она записана на внутренней, 3-й сторонке обложки тетради с дневником — среди других помет (перечня населенных пунктов, боев и передвижений Конармии): из большого круга лиц, с которыми Бабель встречался во время польского похода, там выделены три фамилии: «Курдюков-Мошер-Матяш».



Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.

«Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря господа, я есть жив и здоров, чего

желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь от бела лица до сырой земли…»

(Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу.)

«Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты — Московские Известия ЦИК, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист[1], которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.

---

[1] notes: 1.17

Московские Известия Цик… — После переезда большевистского правительства в Москву, с 12 марта 1918 г. газета выходила в Москве под названием «Известия Всероссийского Центрального исполнительного комитета советов крестьянских, рабочих, солдатских и казачьих депутатов и Московского совета рабочих и красноармейских депутатов».

Московская Правда — речь идет о центральной газете «Правда», так как «Московская правда» в это время (с 18 марта 1920 г.) выходила под названием «Коммунистический труд».

…родную беспощадную газету Красный Кавалерист… — Газета «Красный кавалерист» — орган Политотдела Первой конной армии.

Любезная мама Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, просю вас досматривайте до него и напишите мне за него — засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здеся страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.

Во-вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени.

Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов[2], когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина[3] за командира роты. Которые люди их видали, — то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены, всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы — материны дети, вы — ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погиб-

---

[2] notes: 1.18

Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов… — В то время И. Р. Апанасенко был командиром 2-й кавалерийской бригады 6-й кавалерийской дивизии. 6 января 1920 г. Реввоенсоветом Конармии был издан приказ об овладении Ростовом-на-Дону, согласно которому 6-й дивизии надлежало «7 января занять Большие Салы, Несветай, Генеральский Мост и 8 января во взаимодействии с 4-й кавалерийской и 12-й стрелковой дивизиями овладеть Ростовом, стараясь в целости захватить железнодорожный мост через Дон» (Буденный 1. С. 377). Решающие бои на подступах к Ростову начались 8 января, вечером этого дня 4-я кавалерийская дивизия заняла Нахичевань, а 6-я ворвалась в Ростов, где еще находились белые части, не оборонявшие город.

9 января в Ростове и Нахичевани завязались уличные бои, длившиеся весь день. И только 10 января эти города были полностью освобождены

от белых (Там же. С. 379–383).

[3] notes: 1.19

Деникин Антон Иванович (1872–1947) — русский военачальник, в годы Гражданской войны один из руководителей Белого движения, в 1918–1919 гг. командующий Добровольческой армией, в 1919–1920 гг. главнокомандующий Вооруженными силами Юга России и заместитель Верховного правителя и Верховного главнокомандующего адмирала А. В. Колчака.

шая, изведу я за правду свое семя, и еще разно. Я принимал от них страдания как спаситель Иисус Христос. Только вскорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться[4], и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы, и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный[5], будет поболе Краснодара, люди в ем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеба по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или

---

[4] notes: 1.20

И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться… — Воронеж был взят 4-й и 6-й дивизиями Конного корпуса Буденного и 12-й стрелковой дивизией 24 октября 1919 г., таким образом, к началу 1920 г. город был уже тылом красных.

[5] notes: 1.21

За Воронеж могу вам описать (…) что это городок очень великолепный… — По замечанию Н. В. Корниенко, А. П. Платонов «дезавуирует содержание рассказа Курдюкова, воссоздавая в “Сокровенном человеке” различные картины и сюжеты о голоде обывателей, рабочих и красноармейцев» в городе Похаринске, прототипом для которого в повести послужил Воронеж (Корниенко Н. В. И. Бабель в «Фабрике литературы» А. Платонова // Исаак Бабель в историческом и литературном контексте: XXI век: Сб. материалов Междунар. науч. конф. в Гос. лит. музее 23–26 июня 2014 г. М.: Книжники; Лит. музей, 2016. С. 493).

гусятиной и апосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича, за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежу, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать — то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море[6], но только папаши нигде не было видать, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что сделал — нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе

---

[6] notes: 1.22

Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море… — Речь идет о заключительном этапе борьбы с Деникиным, в котором принимала участие Первая конная армия в составе Кавказского фронта, с января по март 1920 г., когда были ликвидированы остатки деникинской армии и освобожден Северный Кавказ.

Майкопе[7], в вольной одеже, так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда — она себе окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семен Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двести верст — я, брат Сенька и желающие ребята из станицы.

И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ём повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря — пришел приказ не рубать пленных[8], мы сами его будем судить, не серчай-

---

[7] notes: 1.23

…и находился в городе Майкопе… — Первая конная армия вступила в освобожденный краснопартизанскими отрядами Майкоп 22 марта 1920 г. Сам Бабель побывал в Майкопе девять лет спустя, в 1929 г. 17 августа из Ростова-на-Дону он сообщал матери и сестре: «Сегодня вечером движимый неугасаемым бешенством познания — я мчусь в Майкоп, в лагерь дивизии, в которой я служил в 20 году — так необыкновенна жизнь, что я буду жить в палатке начдива, описанного мною некогда под фамилией Павличен-ки»; 20 августа-им же: «Только что вернулся из Майкопа, где провел великолепных два дня (купался, между прочим, в горной реке Белой, чистой и холодной, как хрусталь)…»

[8] notes: 1.24

…пришел приказ товарища Троцкого не рубать пленных… — Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) — деятель рабочего и коммунистического движения, революционер, теоретик марксизма, лидер

внутрипартийной оппозиции; в 1918–1925 гг. народный комиссар по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета Республики.

Было издано два приказа Троцкого о пленных поляках: первый приказ от 10 мая 1920 г., второй-от 17 июля 1920 г. (см. примеч. 8 к рассказу «Эскадронный Трунов»).

В «Письме» речь идет о приказе № 217 от 10 мая, в котором говорилось:

«Щадите пленных и раненых неприятелей. Со всех участков Западного и Юго-Западного фронтов идут вести о неслыханных зверствах, учиняемых белогвардейскими польскими войсками над пленными и ранеными красноармейцами; их истязают, избивают, расстреливают и вешают. Незачем и говорить, что палачи-шляхтичи истребляют всех попавших к ним в руки коммунистов, но та же участь постигает и непартийных красноармейцев. Мало того, раненые и больные красноармейцы не выходят живыми из рук бесчестных насильников. В сердце каждого воина эти факты вызывают справедливый гнев и желание мести. Такая месть справедлива, но она должна быть направлена на подлинных виновников бесчестного наступления и зверских расправ, на правительство Пилсудского, на польскую шляхту и польскую буржуазию. Было бы, однако, неправильно и недостойно революционных борцов мстить пленным полякам. Нет, к пленному и раненому врагу Красная армия относится великодушно. Пленному польскому легионеру, крестьянину или рабочему мы разъясним преступность его господствующих классов, мы просветим его сознание и сделаем нашим лучшим другом и единомышленником, как поступали мы с германскими, австрийскими, венгерскими, колчаковскими, деникинскими и другими военнопленными. Польские паны знают, что честный красноармеец им смертельный и непримиримый враг, поэтому они истребляют наших воинов, даже взявши их в плен. Мы знаем, что польский крестьянин или рабочий только вследствие своей темноты и силою обмана своего правительства может считать себя нашим врагом в плену. Мы этих несознательных врагов превратим в сознательных друзей. Наша месть за расстрелянных, повешенных и замученных братьев в плену должна выразиться в мужественном и беззаветном натиске на польскую белогвардейщину.

Беспощадность в бою, великодушие к пленному и раненому врагу, таков лозунг Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (Правда. 1920. 12 мая. С. 1; Известия. 1920. 12 мая. С. 1).

Первая конная армия вступила в Майкоп еще до начала польской кампании, и, таким образом, упоминание приказа Троцкого является в данном случае анахронизмом.

те, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

— Хорошо вам, папаша, в моих руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо мне.

Тогда Сенька спросил:

— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

— Нет, — сказал папаша, — не думал я, что мне худо будет.

Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:

— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать...

И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора.

Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском.[9] За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода. Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт[10] и треплем шляхту почем зря…

Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит».

Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не

---

[9] notes: 1.25

Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском — 12 марта 1920 г. части белогвардейцев начали эвакуацию из Новороссийска на пароходах, к 1 мая в городе белых не осталось.

[10] notes: 1.26

…и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт… — Первая конная армия была переброшена с Северного Кавказа на Украину и вошла в состав Юго-Западного фронта. После разгрома отрядов Нестора Махно в Гуляйполе 6 мая части Первой конной переправились через Днепр к северу от Екатеринослава. 26 мая, после сбора всех частей армии в Умани, она атаковала Казатин, а 5 июня Буденный, нащупав слабое место в польской обороне, прорвал фронт под Самгородком и вышел в тыл польским частям, наступая на Бердичев и Житомир. 10 июня 3-я польская армия Рыдз-Смиглы, опасаясь окружения, оставила Киев и двинулась в район Мазовии.

Через два дня Первая конная армия вступила в Киев.

измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.

— Курдюков, — спросил я мальчика, — злой у тебя был отец?

— Отец у меня был кобель, — ответил он угрюмо.

— А мать лучше?

— Мать подходящая. Если желаешь — вот наша фамилия…

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня — чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых — Федор и Семен.

Начальник конзапаса*

*** comments: ***

Начальник конзапаса

Впервые: Леф. 1923. № 4. С. 69–70, под названием «Дьяков», под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Белев, июль, 1920 г.».

Машинопись под названием «Дьяков» с датировкой «Белев, июль, 1920»: РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 403. Л. 5–6.

Дьяков — реальный человек, о нем, а также о реквизициях у крестьян лошадей есть несколько записей в дневнике.

Белев, 13 июля: «Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, красные) штаны с серебр(яными) лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, короткие седые усы, 45 лет, есть сын и племянник, ругань фантастична, привозят из отд(ела) снабж(ения), разломал стол, но достал. Дьяков, его любит команда, командир у нас геройский, был атлетом, полуграмотен, теперь “я инспектор кавалерии”, генерал, Дьяков — коммунист, смелый старый буденновец. Встретился с миллионером, дама под ручкой, что господин Дьяков, не встречался ли я с вами в клубе? Был в 8 государствах, выйду на сцену, моргну. — Танцор, гармонист, хитрец, враль, живописнейшая фигура. С трудом читает бумажки, кажд(ый) раз теряет их, одолела, говорит, канцелярщина, откажусь, что без меня делать будут, ругань, разговор с мужиками, те разинули рты. — Тачанка и пара тощих лошадей, о лошадях. — К Дьякову с требованиями, уф, заморился, раздавать белье, все в затылок, отношения отеческие, “ты будешь (больному) старшим гуртовщиком(”)».

Белев, 14 июля: «На деревне стон, меняют лошадей, дают одров, травят хлеба, забирают скот, жалобы начальнику штаба».

Новоселки, 16 июля: «Наштадив сидит на лавке — крестьянин захлебывается от негодования, показывает полумертвого одра, которого ему дали взамен хорошей лошади. Приезжает Дьяков, разговор короток, за такую-то лошадь можешь получить 15 тысяч, за такую — 20 тысяч. Ежели поднимется, значит(,) это лошадь. — Берут свиней, кур, деревня стонет. Описать наше снабжение».

Существуют документы, в которых говорится о случаях, подобных отображенному в рассказе. Например, распоряжение члена Реввоенсовета Первой конной Е. А. Щаденко от 30 апреля 1920 г.: «По получении вами затребованных Реввоенсоветом от Начальника административного

отдела сведений о лошадях предлагаю вам, ввиду крайней необходимости в лошадях и невозможности получить их путем мобилизации и покупкой, произвести смотр лошадей и годных к службе, у кого бы они ни были, взять и использовать для нужд кавалерийской школы» (РГВА. Ф. 245. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 217). В штаб армии поступали неоднократные жалобы граждан на то, «что проходящими войсковыми частями 1-й Конармии самовольно производятся обмены и отнятия у них лошадей» (РГВА. Ф. 245. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 190).



На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.

Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.

Они тащат на веревках упирающихся, скользя-

щих от слабости одров[1]. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, богу и своей жалкой доле.

Начальник штаба Ж.[2] в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.

Так и на этот раз с мужиками.

---

[1] notes: 1.27

Одёр — старая, изнуренная лошадь *(прост.)*.

[2] notes: 1.28

Начальник штаба Ж… — Жолнеркевич (Жолнаркевич) Константин Карлович (1879-?), кадровый военный, дворянин, начальник штаба 6-й кавалерийской дивизии с 16 февраля по 5 августа 1920 г., кавалер ордена Красного Знамени. Он неоднократно упоминается в дневнике Бабеля.

11 июля: «Ночь, работа штаба в Белеве. Что такое Жолнеркевич? Поляк? Его чувства? Трогательная дружба двух братьев. Константин и Михайло. — Ж. - старый служака, точный, работоспособный без надрыва, энергичный без шума, польские усы, польские тонкие ноги. Штаб — это Ж. еще 3 писаря, заматывающихся к ночи».

13 июля: «Работа шт(аба) в Белеве. Хорошо налаженная машина, прекрасный нач(альник) штаба, машинная работа и живой человек. Открытие — поляк (…) убрали его, по требованию Начдива вернули,

любим всеми, хорошо живет с начдивом, что он чувствует. И не коммунист, и поляк, и служит верно, как цепная собака, разбери (…) К(а)к протекает работа штаба — директива, потом приказ, по(том) о(пер)св(одка), пот(ом) разведсв(одка), тащим политотдел, ревтрибунал, конск(ий) запас».

18 июля: «Огоньки в штабе. Всегда огоньки в штабе. Ко(н)ст(антин) Карлович диктует приказание наизусть, никогда ничего не забывает, понурив головы, сидят телефонисты. К.К. служил в Варшаве».

Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать.

На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англоарабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — краснокожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар.

— Честным стервам игуменье благословенье! — прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновенье к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками.

— Вон, товарищ начальник, — завопил мужик, хлопая себя по штанам, — вон чего ваш брат дает нашему брату… Видал, чего дают? Хозяйствуй на ей…

— А за этого коня, — раздельно и веско начал тогда Дьяков, — за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был

бы повеселее, то в ефтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал, — это не хвакт. Ежели конь упал и подымается, то это — конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется…

— О господи, мамуня же ты моя всемилостивая! — взмахнул руками мужик. — Где ей, сироте, подняться… Она, сирота, подохнет…

— Обижаешь коня, кум, — с глубоким убеждением ответил Дьяков, — прямо-таки богохульствуешь, кум, — и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели,

как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз.

— Значит, что конь, — сказал Дьяков мужику и добавил мягко: — а ты жалился, желанный друг…

Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.

Пан Аполек*

Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету.

В квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. На ней была над-

---

*** comments: ***

Пан Аполек

Впервые: Кр. Н. 1923. № 7. С. 110–115, под рубрикой «Миниатюры». Повторно: Рассказы-1925(1). С. 3–13.

пись: «Смерть Крестителя».[1]

Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то.

Я помню: между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножия картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сверкая чешуей,

---

[1] notes: 1.29

…висела высоко на стене икона. На ней была надпись: «Смерть Крестителя». — Имеется в виду икона «Усекновение главы Иоанна Крестителя». Иоанн Креститель (Предтеча) — один из самых почитаемых святых в христианстве, сын священника Захарии из рода Аарона. Согласно Евангелиям, ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии; крестил Иисуса Христа в водах Иордана; был обезглавлен по наущению иудейской царевны Иродиады. Считается исторической фигурой, упоминается в рукописях Иосифа Флавия. Об «иконах» Аполека см. также рассказ «У святого Валента».

свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща.[2]

Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксендза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо богоматери — это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши, с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Янека?

Он пришел сюда со слепым Готфридом тридцать лет тому назад в невидный летний день.

---

[2] notes: 1.30

Из оскаленного рта его, цветисто сияя чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща. — Ср. с описанием галичанина, одетого «как бы для погребения или для причастия», из рассказа «Эскадронный Трунов»: «На гигантское его туловище была посажена подвижная крохотная пробритая головка змеи, она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась». О символике змеи см.: Вайскопф М. Я. Между огненных стен: Книга об Исааке Бабеле. М.: Книжники, 2017. С. 278.

Приятели — Аполек и Готфрид — подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровненском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполека был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполека свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого.

В корчме на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся донага и облил студеною водой свое розовое, узкое, хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонию на острые свои колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен[3] огласили стены еврейского шинка. Аполек подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Инде-

[3] notes: 1.31

Звуки гейдельбергских песен… — **Гейдельберг** — старинный немецкий город, с которым связано литературное течение гейдельбергских романтиков.

гильды[4] принесли к Шмерелю орган и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках.

Гости пели до заката, потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски, и пан Аполек с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги.

— Милостивая пани Брайна, — сказал он, — примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполлинария, этот ваш портрет — как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье…

На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями.

— Мои деньги! — вскричал Шмерель, увидев портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерель

---

[4] notes: 1.32

…из костела святой Индегильды… — Среди католических святых такой святой не значится.

вспомнил розовое тело Аполека, залитое водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой.

На следующее утро Аполек представил новоградскому ксендзу диплом об окончании мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картин на темы из священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины.

Святые пана Аполека, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров.

В тот же день пан Аполек получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику.

— Санта Мария, — сказал он, — желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?..

Аполек работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов.

Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев[5] окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцало лисьей усмешкой старушечье личико Льва XIII[6], и сам новоградский ксендз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса.

Пять месяцев ползал Аполек, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах.

— У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполек, — сказал однажды ксендз, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда — в отрубленной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом.

---

[5] notes: 1.33

Коричневые рубища францисканцев… — Францисканцы — монахи ордена Франциска Ассизского.

[6] notes: 1.34

…старушечье личико Льва XIII… — Лев (Leo) XIII (1810–1903) — папа римский в 1878–1903 гг.

Потом Аполек закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы.[7] В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксендзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине — еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей.[8] Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксендз обрушил угрозы на богохульника. Но Аполек не закрыл расписанных стен.

Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом — с другой. Она длилась три десятилетия. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой

---

[7] notes: 1.35

Потом Аполек закончил Тайную вечерю и Побиение камнями Марии из Магдалы. — «Тайная вечеря» — икона, изображающая последнюю трапезу Иисуса Христа с апостолами. Мария Магдалина (Maria Magdalena) — христианская святая, мироносица, последовательница Иисуса Христа, согласно евангельским текстам, повсюду следовала за ним, была свидетельницей его распятия и воскрешения. Однако евангельский сюжет о «побиении камнями», когда Христос спасает грешницу-блудницу, не всегда связывают именно с этой святой.

[8] notes: 1.36

…узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине — еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. — Апостол Павел (Савл, Саул) не входил в число двенадцати апостолов и в юности участвовал в преследовании христиан; обратился в христианство после встречи с уже воскресшим

Иисусом Христом. Послания Павла составляют значительную часть Нового Завета и являются одним из главных текстов христианского богословия. По замечанию Э. Зихера, выбор натуры Аполеком не случаен: «Апостол Павел был обращенным (крестившимся) иудеем, Мария Магдалина — грешница (раскаявшаяся под влиянием проповедей Иисуса)» (Бабель И. Э. «Детство» и другие рассказы. Иерусалим: Библиотека-Алия, 1979. С. 367–368).

ереси. И тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец, в блаженном хмелю обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане.

— Пятнадцать злотых за богоматерь, двадцать пять злотых за святое семейство и пятьдесят злотых за тайную вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды Искариота, и за это добавляется лишних десять злотых, — так объявил Аполек окрестным крестьянам, после того как его выгнали из строившегося храма.

В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой, напомаженные Иисусы, многорожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями — эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов.

— Он произвел вас при жизни в святые! —

воскликнул викарий[9] дубенский и новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполека. — Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей!

— Ваше священство, — сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, — в чем видит правду всемилостивейший пан бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?

Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполека, не решался замазать Эльку и хромого Янека. Их можно видеть и сейчас в боковом приделе новоградского костела: Янека — апостола Павла, боязливого хромца с черной

---

[9] notes: 1.37

Викарий — от *лат.* vicarious — заместитель, наместник; епископ, не имеющий своей епархии и помогающий в управлении епархиальному епископу.

клочковатой бородой, деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками.

Борьба с ксендзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда, и Аполек — о превратности судьбы! — водворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы.

Беседы — о чем? О романтических временах шляхетства, о ярости бабьего фанатизма, о художнике Луке дель Раббио[10] и о семье плотника из Вифлеема.

— Имею сказать пану писарю…[11] — таинственно сообщает мне Аполек перед ужином.

— Да, — отвечаю я, — да, Аполек, я слушаю вас…

Но костельный служка, пан Робацкий, суровый

---

[10] notes: 1.38

…о художнике Луке дель-Роббио… — Лука делла Роббиа (Robbia, 1399–1482) — итальянский скульптор и ювелир эпохи Возрождения.

[11] notes: 1.39

— Имею сказать пану писарю… — В переводе с польского языка слово «писарь» (pisarz) означает «писатель» (см.: Batuman E. Pan Pisar': Clerkship in Babel's First-Person Narration // The Enigma of Isaac Babel: Biography, History, Context. Stanford: Stanford Univ. Press, 2009. P. 157), в этом значении и нужно понимать здесь данное слово. А собственно писарем Бабель-Лютов не был, хотя и находился вначале при штабе армии, а затем при штабе 6-й дивизии.

и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни.

— Имею сказать пану, — шепчет Аполек и уводит меня в сторону, — что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода…

— О, тен чловек! — кричит в отчаянии пан Робацкий. — Тен чловек не умрет на своей постели… Тего чловека забиют людове…

— После ужина, — упавшим голосом шелестит Аполек, — после ужина, если пану писарю будет угодно…

Мне угодно. Зажженный началом Аполековой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сияньем, ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне.

Аполек в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и

грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями, тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотание Аполека, вечного друга.

— …И то, что говорят пану попы и евангелист Марк и евангелист Матфей, — то не есть правда… Но правду можно открыть пану писарю, которому за пятьдесят марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска[12] на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой, пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста… Женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан…

Так началась в углу, пахнувшем елью, история

[12] notes: 1.40

…под видом блаженного Франциска… — См. примеч. 7 к рассказу «Костел в Новограде».

о браке Иисуса и Деборы.[13] Эта девушка имела жениха, по словам Аполека. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями.[14] Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Икота раздула ее глотку. Она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадания, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением.

---

[13] notes: 1.41

…история о браке Исуса и Деборы. — Библейское имя Дебора (в идишской версии Двойра — именно так звали сестру Бени Крика в рассказах «Король», «Закат» и в пьесе «Закат») на иврите означает «пчела»; далее в тексте рассказа сказано об Иисусе: «…пчела скорби укусила его в сердце» (см.: Вайскопф М. Я. Между огненных стен. С. 202–203). Таким образом, в «Конармии» два апокрифа о Христе (апокриф пана Аполека об Иисусе и Деборе и апокриф Афоньки Биды об Иисусе и пчеле в рассказе «Путь в Броды», открывающемся фразой «Я скорблю о пчелах») связаны между собой.

[14] notes: 1.42

Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. — Вайскопф, основываясь на фрагменте из статьи К. Г. Паустовского «Несколько слов о Бабеле» — об отношении Бабеля к Артюру Рембо, полагает, что экзотическая профессия жениха Деборы позаимствована

из биографии Рембо (см.: Вайскопф М. Я. Между огненных стен. С. 199). Действительно, в последние годы жизни Рембо работал в торговой фирме «Вианне, Бард и К0», продававшей кофе, кожу, слоновьи бивни.

И только Иисус стоял в стороне. Смертельная испарина выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну, на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн.[15] И родился у Деборы первенец…

— Где же он? — вскричал я.

— Его скрыли попы, — произнес Аполек с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы.

— Пан художник, — вскричал вдруг Робацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались, — цо вы мувите? То же есть немыслимо…

— Так, так, — съежился Аполек и схватил Готфрида, — так, так, пане…

Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем.

— Блаженный Франциск, — прошептал он, мигая глазами, — с птицей на рукаве, с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно…

И он исчез со слепым и вечным своим другом.

— О, дурацтво! — произнес тогда Робацкий, костельный служка. — Тен чловек не умрет на своей постели…

---

[15] notes: 1.43

…удалился в пустынную страну; на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. — Речь идет о реке Иордан, в которой Иоанн крестил Иисуса.

Пан Робацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям.

По городу слонялась бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни.

Солнце Италии*

*** comments: ***

Солнце Италии

Впервые: Кр. Н. 1924. № 3. С. 8–10, под названием «Сидоров», под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Новоград, июль 1920». В книге датировки нет.

Исправлена опечатка, допущенная в КА-1926: «…госпитательные сиделки…» на «.. госпитальные сиделки…».



Я снова сидел вчера в людской у пани Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, ворчливой печи и потом

возвращался к себе глубокой ночью. Внизу, у обрыва, бесшумный Збруч катил стеклянную темную волну.[1]

Обгорелый город — переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны.

Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча — зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня, как котята. И

---

[1] notes: 1.44

Внизу у обрыва бесшумный Збруч катил стеклянную темную волну. — См. примем. 5 к рассказу «Переход через Збруч».

только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами и точками. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, я не осмелился искать начала:

«…пробито легкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом деле, с дурака этого с ума. Впрочем, хвост набок и шутки в сторону… Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория…

Я проделал трехмесячный махновский

поход[2] — утомительное жульничество, и ничего более… И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма.[3] Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы мужицкую свою усмешку. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного цека, made in Харьков[4], в самодельной столице. Ваши рубахи-парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудро-

---

[2] notes: 1.45

Я проделал трехмесячный махновский поход… — Махно Нестор Иванович (1888–1934) — предводитель крестьянского повстанческого движения на юге Украины, во время Гражданской войны — командующий революционной Повстанческой армией Украины. Под трехмесячным походом, вероятно, подразумеваются события лета и осени 1919 г., в том числе так называемый уманский прорыв в сентябре, когда, зажатый между белыми и петлюровцами, Махно повернул свою армию на восток и, опрокинув противника, занял обширную территорию Приазовья, перерезав пути снабжения наступавшему на Москву Деникину, что, по мнению ряда историков, предопределило поражение и отступление последнего к Черному морю.

[3] notes: 1.46

Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма. — Волин (наст. фам. Эйхенбаум) Всеволод Михайлович

(1882–1945) — анархист, участник революционного движения; с августа 1919 г. ближайший сподвижник Махно, председатель Военно-революционного совета и один из идеологов махновского движения; в 1922 г. был выслан за границу. Родной брат литературоведа Б. М. Эйхенбаума.

[4] notes: 1.47

…made in Харьков, в самодельной столице. — В 1919 г. Харьков был объявлен столицей УССР и имел этот статус до 1934 г.

сти, — черт с ними…

А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я, слюнтяй, вступился. Меня расчесали — и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах. Виктория, в Москве я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В совете встретился потом с горсточкой анархистов.[5] Они пижоны, или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом.

Спасите меня, Виктория. Государствен-

[5] notes: 1.48

В Совете встретился потом с горсточкой анархистов. — Военно-революционный совет Повстанческой армии Махно, возглавляемый анархистами, председатель — В. М. Волин.

ная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете — и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы работник подох столь неорганизованно, не вы ведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой.[6] Вот и сентиментальность, ну ее к распроэтакой матери…

Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, значит не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория — пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю и через два месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет. Многое там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в

[6] notes: 1.49

…Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. — Аллюзия на роман К. Гамсуна «Виктория» (1898), героиня которого «невеста (…) никогда не выйдет замуж; а герой, спасаясь от своей любви к ней, надолго уезжает в Италию» (Вайскопф М. Я. Между огненных стен. С. 198); ср. с записью в дневнике от 4 июля: «Читаю Гамсуна». Имя Виктория рифмуется также с упомянутым далее именем короля Италии (см.: Вайскопф М. Я. Между огненных стен. С. 198).

журналах семейного чтения.

В цека, в Наркоминделе вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: «романтик». Скажите просто, — он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь или, может, не заслужил? Лечиться — и баста. А если нет — пусть отправят в одесское Чека… Оно очень толковое и…

Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой Виктория…

Италия вошла в сердце как наваждение. Мысль об этой стране, никогда не виданной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория…»

Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном нечистом ложе, но сон не шел. За стеной искренне плакала беременная еврейка, ей отвечало стонущее бормотание долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом, перед рассветом, вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновен-

ной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло как избавление.

Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими глянцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый тщедушный король Виктор-Эммануил[7] со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто[8] и целым выводком принцесс.

---

[7] notes: 1.50

...приветливый тщедушный король Виктор-Эммануил... — Виктор Эммануил (Vittorio Emanuele) III (1869–1947) — король Италии (1900–1946), отрекся от престола.

[8] notes: 1.51

...наследным принцем Умберто... — Умберто II (1904–1983) — четвертый и последний король Италии (из Савойской династии), маршал Италии. Получил прозвище Майский король, так как занимал престол чуть больше месяца — с 9 мая по 12 июня 1946 г., между отречением своего отца Виктора Эммануила III и победой республиканского строя (объявлением итогов референдума об отмене монархии).

...И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме — и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, нависшая над желтым пламенем свечи.

Гедали*

*** comments: ***

Гедали

Впервые: *ОИ*. [(Литературно-художественное приложение к газете «Известия Одесского Губисполкома, Губкома КП(б)У, и Губпрофсовета».)] 1924. 29 июня. С. 3, с подзаголовком «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Житомир, июнь 1920». Повторно: Кр. Н. 1924. № 4. С. 13–15, под рубрикой: «Рассказы», с той же датой. В книге датировки нет.

В основе рассказа дневниковая запись от 3 июля: «Базар в Житомире, старый сапож(ник,) синька, мел, шнурки. Здания синагог, старинная архитектура, к(а)к все это берет меня за душу. — Стекло к часам 1200 р(ублей). Рынок. Маленький еврей философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия(:) все говорят, что они воюют за правду и все грабят. Если бы хоть какое-нибудь правительство было доброе.

Замечател(ьные) слова, бороденка, разговариваем, чай и три пирожка с яблоками -750 р(ублей)».

Действие рассказа можно точно датировать 2 июля 1920 г., пятницей, второй половиной дня.

Имя героя рассказа Гедали, возможно, восходит к имени Гедалии бен Ахикама, последнего наместника Иудеи, поставленного Навуходоносором после разрушения Первого Храма. Слово «Гедалия» означает «Бог велик».



В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед

поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра.[1] Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала.[2] Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах…[3] О, истлевшие талмуды моего детства![4] О, густая печаль воспоминаний!

Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили, — евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди…

Вот предо мной базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет — робкая звезда…

---

[1] notes: 1.52

Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. — Дед Бабеля по отцовской линии Лейб-Ицхок Бобель (настоящая фамилия семьи) умер в июне 1893 г., за год до рождения внука Исаака; Бабель также упоминает его в рассказе «История моей голубятни» и пишет о нем как о живом в рассказах «Первая любовь» и «В подвале». Ибн Эзра Авраам бен Меир (1089–1167) — средневековый еврейский философ, поэт, математик, астроном и лингвист; здесь речь идет о его комментариях к Торе.

[2] notes: 1.53

Старуха моя в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. — Имеется в виду бабушка Бабеля по отцовской линии Миндля Ароновна; ей посвящен неоконченный набросок «Детство. У бабушки» (1915).

[3] notes: 1.54

Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах. — Возможно, аллюзия на предпоследнюю строфу стихотворения А. Рембо «Пьяный корабль»:

Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache
Noir et froide où vers le crepuscule emdaumé
Un enfant accroupi plein de tristesses, lâche
Un bateau fréle comme un papillon de mai.

(«Если мне нужна какая-нибудь вода Европы — то это лужа, / Черная и холодная, в которой в благоуханные сумерки / Ребенок, полон грусти, на корточках пускает / Кораблик хрупкий, как майская бабочка»; подстрочный перевод Э. Ю. Ермакова).

Впоследствии метафору «пьяного корабля» Бабель воплотит в рассказе «Иван-да-Марья» (1932); подробнее см.: Вайскопф М. Я. Между огненных стен. С. 198–199, 361–362.

[4] notes: 1.55

О, истлевшие талмуды моего детства! — Ср. с «Автобиографией»: «По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, Библию, Талмуд» (НИОР РГБ. Ф. 138. М. 9585 а. Ед. хр. 1. Л. 1). **Талмуд** — многотомный свод правовых и религиозноэтических положений иудаизма, содержащий толкование и обсуждение Закона, устные предания, научные сведения и т. д.; предмет еврейского религиозного образования.

Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей[5] золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю.

Старый Гедали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера — маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему.

Эта лавка — как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговицы и мертвая бабочка. Маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли с базара, Гедали остался. Он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов.

Мы сидим на бочонках из-под пива. Гедали

---

[5] notes: 1.56

Диккенс, где была в тот день твоя ласковая тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей… — Имеется в виду роман Чарльза Диккенса (1812–1870) «Лавка древностей» (1840–1841).

свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там, вверху, и меня обволакивает легкий запах тления.

— Революция — скажем ей «да», но разве субботе мы скажем «нет»? — так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз.[6] — «Да», кричу я революции, «да», кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу…

— В закрывшиеся глаза не входит солнце, — отвечаю я старику, — но мы распорем закрывшиеся глаза…

— Поляк закрыл мне глаза, — шепчет старик чуть слышно. — Поляк — злая собака. Он берет

[6] notes: 1.57

…так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. — Здесь содержится указание на то, что Гедали-человек, внимательно изучающий Талмуд, иначе говоря «шелковый человек», на идише: а зайдэнер ментш (см.: Зихер Э. Шабос-нахаму в Петрограде: Бабель и Шолом-Алейхем // Исаак Бабель в историческом и литературном контексте: XXI век. С. 471).

еврея и вырывает ему бороду[7], — ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция! И потом тот, который бил поляка, говорит мне: «Отдай на учет твой граммофон, Гедали...» — «Я люблю музыку, пани», — отвечаю я революции. — «Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция...»

— Она не может не стрелять, Гедали, — говорю я старику, — потому что она — революция...

— Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые

---

[7] notes: 1.58

— *Поляк закрыл мне глаза поляк, злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду...* — Эти слова в рассказе навеяны конкретным событием — погромом, учиненным поляками в Житомире с 9 по 11 июня 1920 г. Ср. с дневниковой записью от 3 июля: «После появления наших передовых частей поляки вошли в город на 3 дня, евр(ейский) погром, резали бороды, это обычно, собрали на (...) рынке 45 евреев, отвели в помещение скотобойни, истязания, резали языки, вопли на всю площадь. Подожгли 6 домов, дом Конюховского на Кафедральной — осматриваю, кто спасал — из пулеметов, дворника, на руки которому мать сбросила из горящего окна младенца, — прикололи, ксендз приставил к задней стене — лестницу, таким способом спасались».

люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида.[8] И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на голос[9]: горе нам, где сладкая революция?..

Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного Пути.

— Заходит суббота, — с важностью произнес Гедали, — евреям надо в синагогу… Пане товарищ, — сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове, — привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал… мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли

---

[8] notes: 1.59

Раше (правильнее — Раши) — аббревиатура из инициалов Рабби Шломо Иицхаки (1040–1105), комментатора Библии и Талмуда. **Маймонид**, Моше бен Маймон (1135–1204), известный под именем Рамбам, — средневековый еврейский философ, врач и теолог.

[9] notes: 1.60

И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на голос… — «Парафраз, восходящий к Торе, в которой оборот “падаем на лицо свое” встречается неоднократно» (Либерман Я. Л. Исаак Бабель глазами еврея. Екатеринбург: изд-во Уральского гос. ун-та, 1996. С. 77).

на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают…

— Его кушают с порохом, — ответил я старику, — и приправляют лучшей кровью…

И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.[10]

— Гедали, — говорю я, — сегодня пятница и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?..

— Нету, — отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, — нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут…

---

[10] notes: 1.61

И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота. — Субботу (шабат, шабес) — в иудаизме седьмой день недели, когда евреи должны пребывать в покое и не осуществлять никакого воздействия на материальный мир, — встречают в пятницу вечером, с заходом солнца. В комментарии к этому рассказу Зихер заметил, что автор «использовал здесь древний поэтический образ субботы как королевы и невесты в субботней молитве» (Бабель И. Э. «Детство» и другие рассказы. С. 370). Ср. с началом рассказа «Сын рабби»: «…Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?» Ср. также с описанием субботы в рассказе «Справедливость в скобках»: «И был день пятый. И был день шестой. День субботний и будет для отдыха. И было утро и был вечер. Суббота, румяная суббота в белой и шелковой капоте, прошлась по молдаванским улицам» (На помощь! Однодневная газета в пользу

голодающих Одесского профсоюза полиграфического производства. 1921. 15 авг. С. 2).

Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони[11] и удалился — крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.

Наступает суббота. Гедали — основатель несбыточного Интернационала — ушел в синагогу молиться.

[11] notes: 1.62

…поплескал водицы на мягкие ладони… — Иудеи совершают омовение рук до и после еды и перед молитвой.

Мой первый гусь*

*** comments: ***

Мой первый гусь

Впервые: *ОИ*. 1924. 4 мая. С. 4, с подзаголовком «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Июль 1920 г.». Повторно: Леф. 1924. № 1 (номер вышел после 21 мая 1924 г.). С. 48–50, с подзаголовком «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Июль, 1920 г.». В книге датировки нет.

Автограф с авторской датировкой «Июль, 1920 г.»: РГАЛИ. Ф. 2577. Оп. 1. Ед. хр. 1455.



Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня,

и я удивился красоте гигантского его тела.[1] Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.

Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов — Добрыводка[2] и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить…

«…*Каковое уничтожение,* — стал писать начдив

---

[1] notes: 1.63

Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. — В ранних редакциях рассказа дана подлинная фамилия начдива — Тимошенко. Ср. с дневниковой записью от 14 июля: «Колоритная фигура. Колосс, красные полукожаные штаны, красная фуражка, строен, был пулеметчиком, арт(иллерийский) прапорщик в прошлом». Ср. также с наброском «(41) Тимошенко»: «C'est superbe! — Декоративный начдив. — Переезд, красная фуражка, белый жеребец. — Спокойный, точный, чистоплотный авантюрист».

[2] notes: 1.64

…в направлении Чугунов — Добрыводка… — Добрыводка дважды упоминается в дневнике. 20 июля: «Обход через Бокуйку на Пелча. Сведения, в 10 ч(асов) взята Добрыводка, в 12 ч(асов) после ничтожного сопротивления Козин»; 21 июля: «Выезжаем в Боратин — через Добрыводка, леса, поля, тихие очертания, дубы, опять музыка и начдив,

и сбоку — война».

и измазал весь лист, — *возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте*[3], *в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться…»*

Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье.

Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии.[4]

— Провести приказом! — сказал начдив. — Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?

— Грамотный, — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности[5], — кандидат прав Петербургского университета…

---

[3] notes: 1.65

…возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте… — Ср. с записью в дневнике от 1 августа: «Книга апатичен, Тим(ошенко): если не выбьет — расстреляю, передай на словах, все же начдив усмехается».

[4] notes: 1.66

Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии. — Бабель был переведен из штаба армии в 6-ю дивизию с 24 июня 1920 г., накануне взятия Новограда-Волынского и примерно за месяц до событий, с которых начинается рассказ «Мой первый гусь».

[5] notes: 1.67

— Грамотный, — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности, — кандидат прав Петербургского университета… — В реальной жизни Бабель был старше Тимошенко всего на семь месяцев. Возможно,

здесь кроется аллюзия на еврейскую пословицу: «Каждый еврейский ребенок рождается старым евреем» (см.: Либерман Я. Л. Исаак Бабель глазами еврея. С. 76). Ср. с окончанием рассказа «Сын рабби»: «И я — едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата».

Бабель учился на юридическом факультете Психоневрологического института в Петрограде, но окончил он Киевский коммерческий институт; решением Совета института от 16 марта 1917 г. был удостоен звания «кандидата экономических наук второго разряда» (ГАК. Ф. 153. Оп. 7. Д. 239. Л. 13). Ср. также с рассказом «Поцелуй»: «— К вашему сведению, — сказал я, встретив Томилину в коридоре, — к вашему сведению должен сообщить, что я окончил юридический факультет и принадлежу к так называемым интеллигентным людям…»

— Ты из киндербальзамов[6], — закричал он, смеясь, — и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, што ль?

— Поживу, — ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега.

Квартирьер нес на плечах мой сундучок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.

Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:

— Канитель тут у нас с очками и унять нельзя. Человек высшего отличия — из него здесь душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка…

Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга.

— Вот, бойцы, — сказал квартирьер и поставил

---

[6] notes: 1.68

Ты из киндербальзамов… — **Киндербальзам** — буквально в переводе с немецкого: детский бальзам, смесь из шести масел с добавлением китайской корицы и кудрявой мяты, настоянных на спирту. Здесь пренебрежительно: неженка, маменькин сынок.

на землю мой сундучок. — Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостев, потому этот человек пострадавший по ученой части…

Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки.

— Орудия номер два нуля, — крикнул ему казак постарше и засмеялся, — крой беглым…

Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты, на кирпичиках, стоял котел, в нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе

Коминтерна.[7] Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистою дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце.

— Хозяйка, — сказал я, — мне жрать надо…

Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — от этих дел я желаю повеситься.

— Господа бога душу мать, — пробормотал я тогда с досадой, и толкнул старуху кулаком в грудь, — толковать тут мне с вами…

И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по

---

[7] notes: 1.69

…чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. — **Коминтерн** — Коммунистический (Третий) интернационал, объединявший коммунистические партии разных стран в 1919–1943 гг. Второй конгресс Коминтерна проходил с 19 июля по 7 августа 1920 г. Конгресс открылся в Петрограде, с 22 июля продолжил свою работу в Москве. Начало речи В. И. Ленина на первом заседании конгресса 19 июля было опубликовано в «Правде» 22 июля (с. 1), полный текст напечатан в «Правде» 24 июля 1920 г. (с. 1–2).

О Втором конгрессе Коминтерна и о выводах, сделанных Бабелем из газетных сообщений, есть запись в дневнике от 8 августа: «Газеты Московск(ие) от 29/VII. Открытие II конгресса III Инт(ернационала), наконец осуществленное единение народов, все ясно: два мира и объявлена война. Мы будем воевать бесконечно. Россия бросила вызов. Пойдем в Европу, покорять мир. Красная Армия сделалась мировым

фактором».

двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей.[8]

— Господа бога душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей. — Изжарь мне его, хозяйка.

Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — я желаю повеситься, — и закрыла за собой дверь.

А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся.

— Парень нам подходящий, — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи.

Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер

---

[8] notes: 1.70

Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей. — Ср. с записью в дневнике, помеченной 18 августа, но вобравшей в себя впечатления за несколько предыдущих и последующих дней: «Праздник Спаса — 19 Авг(уста) — в Баршовице, убиваемая, но еще дышащая деревня, покой, луга, масса гусей (с ними потом распорядились, Сидоренко или Егор рубят шашкой гусей по доске), мы едим вареного гуся, в тот день, белые, они украшают деревню, на зеленых (лугах), население праздничное, но хилое, призрачное, едва вылезшее из хижин, молчаливое (…) странное, изумленное и совсем согнутое. — В этом празднике есть что-то тихое и придавленное».

саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга.

— Братишка, — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, — садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет…

Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину.

— В газете-то что пишут? — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место.

— В газете Ленин пишет, — сказал я, вытаскивая «Правду», — Ленин пишет, что во всем у нас недостача…[9]

И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.

Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу.

Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таин-

---

[9] notes: 1.71

…Ленин пишет, что во всем у нас недостача… — В действительности на первом заседании Ленин выступил с докладом о международном положении и задачах Коммунистического Интернационала. Он остановился на экономических отношениях империализма как основе политического положения в мире и экономических корнях мирового кризиса, на проблеме военных долгов, рабочем оппортунизме, революционной ситуации и распространении Советов в колониальных странах и на Востоке.

ственную кривую ленинской прямой.[10]

— Правда всякую ноздрю щекочет, — сказал Суровков, когда я кончил, — да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну.

Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал.[11] Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропускавшей звезды.[12]

Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло.

---

[10] notes: 1.72

Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой. — М. Горький писал о Ленине: «Он — политик. Он в совершенстве обладал тою искусственно, но четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия» (Горький М. Владимир Ленин // РС. 1924. № 1. С. 235). Сохранилась датированная 28 сентября 1924 г. заметка Троцкого, полемичная по отношению к очерку Горького, которую он собирался включить в новое издание книги статей, очерков и эссе о Ленине. Возражая Горькому, Троцкий по памяти цитирует фразу из рассказа «Мой первый гусь»: «Мне вспоминается такое, примерно, выражение беллетриста Бабеля: “Сложная кривая ленинской прямой”. Вот это определение, несмотря на свою внешнюю противоречивость и некоторую вычурность, гораздо правильнее горьковской “прямолинейности”» (Троцкий Л. Д. Верное и фальшивое о Ленине / Публ. В. Сазонова // Время и мы. Нью-Йорк, 1993. № 119. С. 252). Ср. также с репликой Галина из конармейского рассказа «Вечер»: «Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу…»

[11] notes: 1.73

…взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал. — Ср. с дневниковой записью от 11 июля: «Ночевал с солдатами штабного эскадрона, на сене».

[12] notes: 1.74

…под дырявой крышей, пропускавшей звезды. — По мысли Вайскопфа, этот образ представляет собой «слегка замаскированный символ (…) чужбины», это «непременная, предписанная каноном особенность походного шалаша, или ***сукки***, который евреям полагалось строить на Праздник кущей в память об их странствиях по пустыне на пути к Земле обетованной» (Вайскопф М. Я. Между огненных стен. С. 123).

Рабби*

*** comments: ***

Рабби

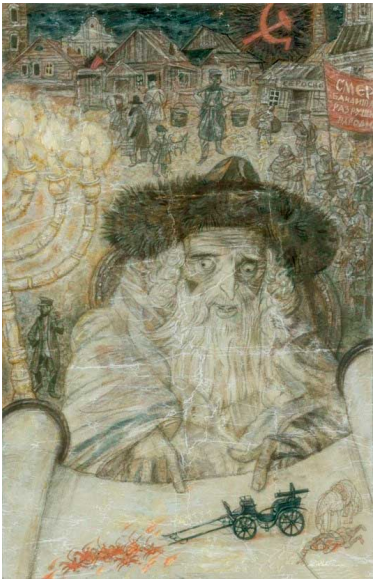
Впервые: *ОИ*. 1924. 9 марта. С. 4, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Житомир, июнь 1920». Одновременно: Кр. Н. 1924. № 1. С. 68–69, под рубрикой «Из книги “Конармия”». В журнале и в книге датировки нет.

Список с проставленными автором местом и датой «Житомир, июнь, 1920», без начала (начинается со слов «как гречишные поля»): РГАЛИ. Ф. 602. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 1–5.

Исправлена ошибка, допущенная в Кр. Н. ив КА-1926: «Откуда приехал, еврей?» на «Откуда приехал еврей?»

Так же как и рассказ «Гедали», новелла «Рабби» основана на записи в дневнике от 3 июля, сделанной в Житомире: «Заходит суббота. От тестя идем к цадику. Имени не разобрал. Потрясающая для меня картина, хотя совершенно ясно видно умирание и полный декаданс. Сам цадик(,) его широкоплечая, тощая фигурка. Сын — благородный мальчик в капотике, видны мещанские, но просторные комнаты. Все чинно, жена — обыкновенная еврейка, даже типа модерн. — Лица старых евреев. — Разговоры в углу о дороговизне. — Я путаюсь в молитвеннике (…) Вместо свечи — коптилка. — Я счастлив, огромные лица, горбатые носы, черные с проседью бороды, о многом думаю, до свиданья, мертвецы, лицо цадика, никелевое пенсне, откуда вы, молодой человек. Из Одессы. К(а)к там живут. Там люди живы. — А здесь ужас. — Короткий разговор. — Ухожу потрясенный».

Действие рассказа «Рабби», как и действие рассказа «Гедали», происходит вечером 2 июля.



— …Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие вселенную…

Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружал его

розовым дымом своей печали. Старик сказал:

— В страстном здании хасидизма[2] вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери… С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров истории.

Так сказал Гедали и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби[1] Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии.[3]

Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли из ворот, зазвенели монистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто.

---

[2] notes: 1.76

Хасидизм — широкораспространенное религиозное течение, возникшее в восточноевропейском иудаизме во второй половине XVIII в. Подробно о хасидизме в произведениях Бабеля см.: Одесский М. П., Фельдман Д. М. Бабель и хасидизм: Оправдание революции // Литературное обозрение. 1995. № 1. С. 78–83).

[1] notes: 1.75

Рабби (*идиш* ребе, букв.: учитель) — духовный руководитель группы хасидов (см. также: «цадик», примеч. 8 к этому рассказу).

[3] notes: 1.77

…к рабби Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии. — Место рабби переходит по наследству, как правило, к старшему сыну (см. также рассказ «Сын рабби»). Чернобыльская династия не прекратила своего существования во время Гражданской войны,

она пережила холокост, хотя в годы Второй мировой войны погибли многие ее представители, и существует в настоящее время в Израиле и США. Представителю чернобыльских хасидов Бабель присвоил фамилию Брацлавский, но так обозначается другое известное течение хасидизма, основанное Нахманом из Брацлава в конце XVIII в. Не исключено, однако, что фамилия персонажа возникла просто по топонимической ассоциации с Брацлавским уездом (подробнее см.: Вайскопф М. Я. Между огненных стен. С. 257–258).

— Здесь, — прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном.

Мы вошли в комнату — каменную и пустую, как морг. Рабби Моталэ сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. [4]Раббби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды.

— Откуда приехал еврей?[5] — спросил он и приподнял веки.

— Из Одессы, — ответил я.

— Благочестивый город[6], — сказал рабби, — звезда нашего изгнания, невольный колодезь наших бедствий!.. Чем занимается еврей?

— Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя.[7]

---

[4] notes: 1.78

На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. — Помимо кипы (традиционного мужского головного убора религиозных евреев) многие хасиды носят меховые шапки. «Халат тоже часть хасидской одежды, однако белый халат обычно носят только ребе в некоторых хасидских группах. Во время молитвы хасиды подпоясываются ремнем. Этим традициям приписывается мистическое значение» (Зихер Э. Примечание к рассказу «Рабби» // Бабель И. Э. «Детство» и другие рассказы. С. 373–374).

[5] notes: 1.79

Откуда приехал еврей? — Этот и последующие вопросы рабби Моталэ являются принятыми обращениями на идише.

[6] notes: 1.80

Благочестивый город... — Ироническое высказывание: Одесса

прославилась именно как центр Гаскалы, еврейского светского просвещения.

[7] notes: 1.81

Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя. — Герш из Остро-поля, или Гершеле Острополер (1757–1811) — еврей из Острополя, народный балагур и острослов, прославился своими остроумными выходками и насмешками над бездельниками и богачами, стал одним из главных героев шуток и анекдотов восточноевропейских евреев. Гершеле Острополер был шойхетом (мясником), осуществлявшим ритуальный забой скота и птицы. Из-за нужды он стал много путешествовать. Во время одного из путешествий он попал в Меджибож, к известному цадику Боруху Тульчинскому, и стал при нем шутом-советником. О Гершеле Бабель упоминает в дневниковой записи от 23 июля: «Синагоги (-) приземистые старинные зеленые и синие домишки, хасидская, внутри — архитектуры никакой. Иду в хасидскую. Пятница. Какие изуродованные фигурки, какие изможденные лица, все воскресло для меня, что было 300 лет, старики бегают по синагоге — воя нет, почему-то все ходят из угла в угол, молитва самая непринужденная. Вероятно, здесь скопились самые отвратительные на вид евреи Дубно. Я молюсь, вернее, почти молюсь и думаю о Гершеле, как бы описать». Похождениям Гершеле посвящен ранний рассказ Бабеля «Шабос-нахаму» (1918).

— Великий труд, — прошептал рабби и сомкнул веки. — Шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздирает смехом завесу бытия… Чему учился еврей?

— Библии.

— Чего ищет еврей?

— Веселья.

— Реб Мордхэ, — сказал цадик[8] и затряс бородой, — пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть он пьет вино, если ему дадут вина…

И ко мне подскочил реб Мордхэ, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика.

— Ах, мой дорогой и такой молодой человек! — сказал оборванный реб Мордхэ и подмигнул мне. — Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут…

---

[8] notes: 1.82

Цадик — в иудаизме (особенно в хасидизме) благочестивый, безгрешный человек (святой), духовный лидер хасидской общины.

Мы уселись все рядом — бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы[9], с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал[10], как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхэ подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне.

— Это — сын равви, Илья, — прохрипел Мордхэ и придвинул ко мне кровоточащее мясо развороченных век, — проклятый сын, последний сын, непокорный сын…

И Мордхэ погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо.

— Благословен господь, — раздался тогда голос рабби Моталэ Брацлавского, и он переломил хлеб своими монашескими пальцами, — благословен

---

[9] notes: 1.83

Спиноза (Spinoza) Барух (Бенедикт, 1632–1677) — нидерландский философ еврейского происхождения, первый мыслитель Нового времени. Спинозе посвящен фрагмент рассказа Бабеля «В подвале» (1931).

[10] notes: 1.84

Он курил и вздрагивал… — Иудеям категорически запрещено зажигать огонь и курить в субботу. Также противоречит иудейской традиции жест реба Мордхэ, вырвавшего изо рта у Ильи зажженную папиросу.

бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли…

Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын рабби курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый.

— Мой дорогой и такой молодой человек, — забормотал Мордхэ за моей спиной и дернул меня за пояс, — если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?

Я дал старику денег[11] и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде Первой Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный

[11] notes: 1.85

Я дал старику денег… — В субботу иудеям категорически запрещено прикасаться к деньгам.

кавалерист».[12]

[12] notes: 1.86

Там, на вокзале, в агитпоезде 1-й Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный Кавалерист». — Ср. с окончанием дневниковой записи от 3 июля: «А потом ночь, поезд, разрисованные лозунги коммунизма (контраст с тем, что я видел у старых евреев). Стук машин, своя электрическая станция, свои газеты, идет сеанс синематографа, поезд сияет, грохочет…»

Путь в Броды*

Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел.

Мы осквернили ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловонье в священных республиках пчел. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел.

Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом — ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получили

*** comments: ***

Путь в Броды

Впервые: *ОИ* (приложение). 1923. 17 июня. С. 1, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Броды, август 1920 г.». Повторно: Прожектор. 1923. № 21. С. 13–14, вместе с рассказами «Учение о тачанке» и «Кладбище в Козине», под рубрикой «Три рассказа». Затем: Рассказы-1925(1). С. 14–16.

26 июля 1920 г., после трехдневных ожесточенных боев, в Броды вступили части 45-й стрелковой дивизии и кавалерия во главе с командующим Первой конной армией Буденным и членом ее Реввоенсовета К.Е. Ворошиловым. Однако бои за Броды продолжались (см. примеч. 7 к рассказу «Смерть Долгушова»). Броды неоднократно упоминаются в дневниковых записях Бабеля в конце июля — начале августа. 3 августа он записал: «Ночь в поле, двигаемся с линейкой в Броды. Город

переходит из рук в руки». На некоторое время Броды стали местом расположения штаба Первой конной.

К этому рассказу, а также к рассказу «Их было девять» (см. «Дополнения») относится дневниковая запись от 31 августа: «Совещание с комбригами. Фольварк. Тенистая лужайка. Разрушение полное. Даже вещей не осталось. Овес растаскиваем до основания. Фруктовый сад, пасека, разрушение пчельника, страшно, пчелы жужжат в отчаянии, взрывают порохом (…) обматываются шинелями и идут в наступление на улей, вакханалия, тащат рамки на саблях, мед стекает на землю, пчелы жалят, их выкуривают смолистыми тряпками, зажженными тряпками (…) В пасеке-хаос и полное разрушение, дымятся развалины. — Я пишу в саду, лужайка, цветы, больно за все это».

с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей.

— За пчелу и ее душевность рассказывают бабы по станицах, — начал взводный, мой друг, — рассказывают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды, — об этом все прочие дознаются по происшествии времени. Но вот, — рассказывают бабы по станицах, — скучает Христос на кресте. И подлетает к Христу всякая мошка, чтобы его тиранить! И он глядит на нее глазами и падает духом. Но только неисчислимой мошке не видно евоных глаз. И то же самое летает вокруг Христа пчела.[1] «Бей его, — кричит мошка пчеле, — бей его на наш ответ!..» — «Не умею, — говорит пчела, поднимая крылья над Христом, — не умею, он плотницкого классу...» Пчелу понимать надо, — заключает Афонька, мой взводный. — Нехай пчела перетерпит. И для нее небось ковыряемся...

И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков — Афонькин взвод — стали ему подпевать.

---

[1] notes: 1.87

И то же самое летает вокруг Христа пчела. — См. примеч. 16 к рассказу «Пан Аполек».

— Соловый жеребчик, по имени Джигит, принадлежал подъесаулу, упившемуся водкой в день усекновения главы.[2] — Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая. — Джигит был верный конь, а подъесаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было пять штофов в день усекновения главы. После четвертого подъесаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долог, но Джигит был верный конь. Они приехали на небо, и подъесаул хватился пятого штофа. Но он был оставлен на земле — последний штоф. Тогда подъесаул заплакал о тщете своих усилий. Он плакал, и Джигит прядал ушами, глядя на хозяина…

Так пел Афонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым. И мы двигались навстречу закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. На пригорке сутулилась мазаная деревушка Клекотов. За перевалом нас ждало

[2] notes: 1.88

…в день Усекновения главы. — Христианский праздник — день Усекновения главы Иоанна Предтечи (по новому стилю отмечается 11 сентября).

видение мертвенных и зубчатых Брод.[3] Но у Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел.[4] Из-за хаты выглянули два польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге.

— Ходу! — сказал Афонька.

И мы бежали.

О Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом. Я ощущал уже смертельный холод глазниц, налитых стынувшей слезой. И вот — трясущийся галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог…

---

[3] notes: 1.89

За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых Брод. — Ср. с записью в дневнике от 26 июля: «На рассвете Броды, все это ужасно-везде проволока, обгоревшие трубы, малокровный город, пресные дома…»

[4] notes: 1.90

Но у Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. — Ср. с дневниковой записью от 3 августа: «Говорят, что начдив в Клекотове, пробыли в опустошенных, предчувствующих Бродах часа два, чай в парикмахерской (…) Ехать или не ехать. Едем на Клекотов, сворачиваем с Лешнювского шоссе, неизвестность, поляки или мы, едем на ощупь, лошади замучены, хромает все сильнее, едим в селе картошку, показываются бригады, неизъяснимая красота, грозная сила двигается, бесконечные ряды…»

Учение о тачанке*

Мне прислали из штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Грищук. Ему тридцать девять лет.[1]

Пробыл он пять лет в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни и в Белеве был пойман самой безмозглой в мире мобилизационной комиссией и водворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Грищук родом, ему осталось пятьдесят верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома пять лет и два месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я пе-

---

*** comments: ***

Учение о тачанке

Впервые: *ОИ*. 1923. 23 февр. С. 6, под рубрикой «Из книги “Конармия”», авторская датировка: «Белев. 15.7.20». Повторно: Прожектор. 1923. № 21. С. 14, вместе с рассказами «Путь в Броды» и «Кладбище в Козине», под рубрикой «Три рассказа». Затем: Рассказы-1925(1). С. 17–20. В журнальной публикации и в книге датировки нет.

[1] notes: 1.91

Фамилия его Грищук. Ему тридцать девять лет. История его ужасна. — Ср. с дневниковыми записями от 14 июля: «Свыкаюсь со штабом, у меня повозочный 39-летн(ий) Гришчук, 6 лет в плену в Германии, 50 верст от дому (он из Кременецкого у(езда)) не пускают, молчит» и от 19 июля: «Что такое Грищук, покорность, тишина бесконечная, вялость беспредельная. 50 верст от дому, 6 л(ет) не был дома, не убегает. —

Знает, что такое начальство, немцы научили». Грищук неоднократно упоминается в дневнике, ему посвящен не включенный в книгу рассказ, в котором подробнее говорится об «истории» повозочного в германском плену (см. разд. «Дополнения»).

рестал быть парием среди казаков.

Я — обладатель тачанки и кучера в ней. Тачанка! Это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай: рубить — тачанка — кровь…

Поповская, заседательская ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов.[2] Таков Махно, многообразный, как природа. Возы

---

[2] notes: 1.92

Таков Махно, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. — Широкое применение тачанок отличало махновскую армию от других армий во время Гражданской войны. «Тачанки, оборудованные пулеметами, составляли ее ядро. Подобный вид Повстанческая армия обрела уже в 1919 г., когда она в полной мере проявила свою боеспособность. Аналогичная ситуация сложилась и в 1920 г., когда ее не удалось разгромить карательным отрядам красных и она успешно действовала и на врангелевском фронте (…) Продемонстрированные махновцами в Крыму навыки применения боевых тачанок дают основания предполагать, что именно махновцам принадлежит приоритет изобретения пулеметной тачанки…» (Шанин I, Кондрашин В., Тархова Н. Введение // Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918–1921: Документы и материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. М.: РОССПЭН, 2006. С. 17).

с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волостному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.

Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью.

Буденный показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить — немыслимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню[3], — они перестают быть боевыми единицами. Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но не ощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села — свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию, с растыканной по углам амуницией, Махно в один час приводит в боевое состояние; еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее.

У нас, в регулярной коннице Буденного, тачанка не властвует столь исключительно. Однако все наши пулеметные команды разъезжают только на бричках. Казачья выдумка различает два вида

---

[3] notes: 1.93
Клуня — молотильный сарай, амбар.

тачанок: колонистскую и заседательскую. Да это и не выдумка, а разделение, истинно существующее.

На заседательских бричках, на этих расхлябанных, без любви и изобретательности сделанных возках, тряслось по кубанским пшеничным степям убогое красноносое чиновничество, невыспавшаяся кучка людей, спешивших на вскрытия и на следствия, а колонистские тачанки пришли к нам из самарских и уральских, приволжских урочищ, из тучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колонистской тачанки рассыпана домовитая живопись — пухлые гирлянды розовых немецких цветов. Крепкие днища окованы железом. Ход поставлен на незабываемые рессоры. Жар многих поколений чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по развороченному волынскому шляху.[4]

Я испытываю восторг первого обладания. Каждый день после обеда мы запрягаем. Грищук выводит из конюшни лошадей. Они поправляются день ото дня. Я нахожу уже с гордой радостью тусклый блеск на их начищенных боках. Мы

---

[4] notes: 1.94

…по развороченному волынскому шляху. — **Шлях** — на Украине и на юге России в XVI–XVII вв. — степная дорога около южных границ; большая наезженная дорога, тракт.

растираем коням припухшие ноги, стрижем гривы, накидываем на спины казацкую упряжь — запутанную ссохшуюся сеть из тонких ремней — и выезжаем со двора рысью. Грищук боком сидит на козлах; мое сиденье устлано цветистым рядном и сеном, пахнущим духами и безмятежностью. Высокие колеса скрипят в зернистом белом песке. Квадраты цветущего мака раскрашивают землю, разрушенные костелы светятся на пригорках. Высоко над дорогой, в разбитой ядром нише стоит коричневая статуя святой Урсулы[5] с обнаженными круглыми руками. И узкие древние буквы вяжут неровную цепь на почерневшем золоте фронтона… «Во славу Иисуса и его божественной матери…»

Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножия панских фольварков[6]. На кирпичных заборах мерцает вещий павлин, бесстрастное видение в голубых просторах. Прикрытая раскидистыми хибарками, присела к нищей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасидская шляпа. Узкоплечие евреи грустно торчат на

---

[5] notes: 1.95

Святая Урсула — католическая святая-мученица, жившая, согласно легенде, в IV в.

[6] notes: 1.96

Фольварк — польское название помещичьего хозяйства.

перекрестках. И в памяти зажигается образ южных евреев, жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород.[7] В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и Волынского еврея несдержанны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично. Глядя на них, я понял жгучую историю этой окраины, повествование о талмудистах, державших на откупу кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщичеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры[8] и из-за которых стрелялись польские магнаты.

---

[7] notes: 1.97

И в памяти зажигается образ южных евреев, жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. — Ср. с дневниковой записью от 21 июля: «Евреи — портреты, длинные, молчаливые, длиннобородые, не наши толстые и jovial. Высокие старики, шатающиеся без дела».

[8] notes: 1.98

…польские жолнеры… — Здесь: польские солдаты. **Жолнеры** (или жалонеры) — в старой Польше наемные пешие солдаты. Также этим словом обозначаются нижние военные чины со специальными значками на штыках, которые высылаются вперед остального войска для обозначения своим частям места расположения или построения.

Смерть Долгушова[*]

Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный начдив четыре[1], сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу:

— Коммуникации наши прорваны, Радзивиллов и Броды в огне!..[2]

И ускакал — развевающийся, весь черный, с угольными зрачками.

На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и вполголоса пели.

*** comments: ***

Смерть Долгушова

Впервые: *ОИ*. 1923. 1 мая. С. 5, с подзаголовком «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Броды, август, 1920 г.». Повторно: Огонек. 1923. № 9. С. [1–2], без даты, с подзаголовком «Из книги “Конармия” И. Бабеля»; Леф. 1923. № 4. С. 66–68, без даты, под рубрикой «Из книги “Конармия”». Перепечатано из «Лефа», в старой орфографии: газета «Звено» (Париж, 1924. 1 дек., вместе с рассказом «Соль» и предисловием К.В. Мочульского «Два рассказа из книги “Конармия”»). Затем: Рассказы-1925(2). С. 77–82.

Машинопись с проставленными от руки местом и датой «Броды, август, 1920»: РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 403. Л. 8-10.

Действие рассказа, по всей вероятности, объединяет события 22–23 июля и 3 августа 1920 г. 22 июля Бабель записал в дневнике: «Дорога леском, тревога. Грищук туп и страшен. Я на тяжелой лошади Соко-

лова. Я один на дороге. Светло, прозрачно, не жарко, легкая теплота. Фурманка впереди, пять человек, похожих на поляков. Игра, едем, останавливаемся, откуда? Взаимный страх и тревога. У Хотина видны наши, въезжаем, стрельба. Дикая скачка назад, тащу коня на поводу. Пули жужжат, воют. Артиллерийский) огонь. Грищук то несется с мрачной и молчаливой энергией, то в опасные минуты — непонятен, вял, черен, заросшая челюсть. В Боратине уже никого нет. Обоз за Боратиным, начинается каша. Обозная эпопея, отвращение и мерзость (…) Стоим полночи у Козина, стрельба (…) Засыпаю на полчаса, говорят (,) была перестрелка, наши выслали цепь. Двигаемся дальше. Лошади измучены, ужасная ночь, двигаемся колоссальным обозом в непроглядной тьме, неизвестно(,) через какие деревни, пожарище где-то сбоку, пересекают дорогу другие обозы — потрясен фронт или обозная паника? — Ночь тянется бесконечно, попадаем в яму. Грищук странно правит, нас бьют сзади дышлом, крики где-то вдали, останавливаемся через каждые полверсты и стоим томительно, бесцельно, долго. — У нас рвется вожжа, тачанка не повинуется, отъезжаем в поле, ночь, у Грищука припадок звериного, тупого, безнадежного и бесящего меня отчаяния: о, сгорили б те вожжи, о, — сгори, да сгори. Он слеп, он признается в этом, Грищук, он ничего не видит ночью. Обоз нас оставляет, дороги тяжелы, черная грязь, Грищук, хватаясь за обрывок вожжи(,) — неожиданным своим звенящим тенорком — пропадем, поляк догонит, канонада отовсюду, обозные-мы в кругу. Едем на авось с порванной вожжой (…) Тачанка визжит, тяжелый мутный рассвет вдали, мокрые поля». См. также примеч. 4 к рассказу «Путь в Броды».

[1] notes: 1.99

В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный начдив четыре… — Коротчаев Дмитрий Дмитриевич в начале мая 1920 г. принял командование 4-й кавдивизией, однако в середине июня чуть не попал в окружение, за что был понижен в должности до комбрига.

Но фактически бригадой, куда был направлен Коротчаев, продолжал командовать прежний комбриг, назначенный командиром дивизии. Буденный писал, что после боя за село Лопатин командира 2-й бригады 6-й дивизии Коротчаева, не выполнившего задачу по захвату переправы в Станиславчике, решили предать суду военного трибунала. Однако вечером 18 августа (во время боев за Львов, проходивших в 6–9 километрах от него) «начдив 6 донес, что командир 2-й бригады Д. Д. Коротчаев ранен и отправлен в Буск, но что ранение, хотя и тяжелое, для жизни опасности не представляет. И. Р. Апанасенко отмечал мужество Д. Д. Коротчаева, умелое командование бригадой, точное выполнение всех приказов и распоряжений» (Буденный 2. С. 327). «Мы с К. Е. Ворошиловым и С. А. Зотовым посоветовались, — продолжает Буденный, — и решили прекратить следствие по делу о допущенной Коротчаевым ошибке в бою под Лопатином и за проявленный героизм наградить его орденом Красного Знамени» (Там же).
О Коротчаеве см. также запись в дневнике Бабеля от 8 августа.

[2] notes: 1.100

…Радзивиллов и Броды в огне!.. — Ср. с записью в дневнике от 23 июля: «Идет операция на Броды, Радзивилов вперед и одной бригадой на тыл. 6(-я) див(изия) в тяжких боях».

Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы:

— Набили нам ряжку.[3] Дважды два. Есть думка за начдива, смещают.[4] Сомневаются бойцы…

Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас, и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив.

— Сукиного сына, — сказал он сердито и вы-

---

[3] notes: 1.101

— *Набили нам ряжку.* — Значение слова «ряжка» кажется очевидным: уменьшительная форма от «ряха» (грубое обозначение лица), поэтому скорее должно быть «ряшка». Однако во всех прижизненных источниках, включая машинопись с авторской правкой, именно так: ряжка (см.: РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 403. Л. 8). В словаре Даля семантика слова иная: «ряжка», как, впрочем, и «ряшка», обозначает «лохань, помойницу, банную шайку, ведерко, черпак» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб.; М., 1882. Т. 4. С. 126).

[4] notes: 1.102

Есть думка за начдива, смещают. — О смене руководства 6-й дивизии говорится в нескольких дневниковых записях, относящихся к первым числам августа. Ср., например, с записью от 3 августа: «Я двигаюсь, слухи об отозвании начдива». Решением Реввоенсовета Первой конной армии начальник 6-й кавдивизии Тимошенко и начальник штаба

дивизии Жолнеркевич были отстранены от занимаемых должностей и с 5 августа 1920 г. отправлены в резерв. Временно исполняющим должность начдива шесть был назначен Апанасенко. См. также рассказ «История одной лошади» и примеч. 1 к дневниковой записи от 5 августа.

плюнул изо рта косточку, — вот гадкая канитель. Тимошка, выкидай флаг!

— Пойдем, што ль? — спросил Тимошка, вынимая древко из стремян, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про III Интернационал.

— Там видать будет, — сказал Вытягайченко и вдруг закричал дико: — Девки, сидай на коников! Скликай людей, эскадронные!..

Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченке:

— Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что останемся мы...[5]

— Отобьетесь... — пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы.

— Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся, — сказал раненый ему вслед.

— Не канючь, — обернулся Вытягайченко, — небось не оставлю, — и скомандовал повод.

И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки Биды, моего друга:

---

[5] notes: 1.103

— Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что останемся мы... — Ср. с наброском «(27) Смерть Трунова»: «...казак из могилы — долаживаю вам, тов. начдив, возможная вещь, что здесь и останемся».

— Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, до его пять верст бежать. Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные… Хапать нечего — поспеешь к богородице груши околачивать…

— Шагом! — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз.

Полк ушел.

— Если думка за начдива правильная, — прошептал Афонька, задерживаясь, — если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка.

Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался.

Грищук со своей глупой тачанкой да я — мы остались одни и до вечера мотались между огневых стен.[6] Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Поляки вошли в Броды и были

---

[6] notes: 1.104

…мы остались одни и до вечера мотались между огненных стен. — Вероятно, «безотчетная реминисценция библейского пророчества об Иерусалиме: “И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг него… Эй, эй! Бегите из северной страны, говорит Господь; ибо по четырем ветрам небесным Я рассеял вас” (Зах., 2:5–6)» (Вайскопф М. Я. Между огненных стен. С. 118).

выбиты контратакой.[7] Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Грищук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами.

— Грищук! — крикнул я сквозь свист и ветер.

— Баловство, — ответил он печально.

— Пропадаем, — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом, — пропадаем, отец![8]

— Зачем бабы трудаются, — ответил он еще печальнее, — зачем сватання, венчания, зачем кумы на свадьбах гуляют…

В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный Путь проступил между звездами.

— Смеха мне, — сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при до-

---

[7] notes: 1.105

Поляки вошли в Броды и были выбиты контратакой. — Части польской армии с конца июля 1920 г. неоднократно пытались вернуть Броды.

3 августа Орловский записал в дневнике, что после полудня Ф. М. Литунов, начдив 4, «обнаружил двигающуюся от переправы кавалерию противника в направлении Броды через лес, что в 4 км севернее Броды. Немедленно была двинута 2-я бригада и подготовлена 3-я бригада с артиллерией (…)

К вечеру пришли сведения о захвате противником г. Брод обходом с юга. Комбригу 2 около 14 час. приказано было выслать разъезды в Броды и в случае наличия противника — выбить его оттуда. Бригада приказание выполнила, зарубив занявший Броды разъезд противника в 120 кавалеристов. Однако противник вторично повел наступление на Броды. Подошедшая наша 3-я бригада оттеснила его к Берлино на переправу, захваченную 1-й бригадой. К наступлению темноты

противник остался в одной части г. Броды, а наши части отошли в его предместье — дер. Дедковцы» (Орловский. С. 82–83).

4 августа, на рассвете, части Первой конной вновь начали наступление на Броды. «Около 12 часов на наш участок приехал К. Е. Ворошилов, — записал в дневнике Орловский. — Последний передал категорическое приказание командному и политическому составу, под угрозой расстрела виновных в бездействии, вести наступление на Броды и выбить противника» (Там же. С. 83).

В тот день части Первой конной вели наступление на Броды с трех направлений: с севера, северо-востока и юга, при поддержке огня с трех бронепоездов. Однако наступление не увенчалось успехом. После небольшой передышки, с 10 августа вновь предпринимались попытки овладеть Бродами. Но только 16 августа 11-й кавдивизии удалось без боя занять город.

[8] notes: 1.106

— *Пропадаем! — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом, — пропадаем, отец!* — В уста героя-повествователя Лютова Бабель вложил видоизмененную фразу, на самом деле принадлежавшую повозочному; ср. с дневниковой записью от 22 июля: «…Грищук, хватаясь за обрывок вожжи(,) — неожиданным своим звенящим тенорком — пропадем, поляк догонит…»

роге, — смеха мне, зачем бабы трудаются…

Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что, — сказал Долгушов, когда мы подъехали, — кончусь… Понятно?

— Понятно, — ответил Грищук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгушов.

Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны.

— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что…

— Нет, — ответил я и дал коню шпоры.

Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво.

— Бежишь? — пробормотал он, сползая. — Бежишь, гад…

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида.

— По малости чешем, — закричал он весело. — Что у вас тут за ярмарка?

Я показал ему на Долгушова и отъехал.

Они говорили коротко, — я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.

— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — а я вот не смог.

— Уйди, — ответил он, бледнея, — убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку…

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.

— Бона, — закричал сзади Грищук, — ан дури! — и схватил Афоньку за руку.

— Холуйская кровь! — крикнул Афонька. — Он от моей руки не уйдет…

Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону.

— Вот видишь, Грищук, — сказал я, — сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга…

Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко.

— Кушай, — сказал он мне, — кушай, пожалуйста…

Комбриг два[*]

Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига два. На его место командарм назначил Колесникова.

Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона.

Нового бригадного вызвали к Буденному. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром.

— Жмет нас гад, — сказал командарм с ослепительной своей усмешкой. — Победим или подохнем. Иначе — никак. Понял?

*** comments: ***

Комбриг 2

Впервые: Леф. 1923. № 4. С. 70–72, под названием «Колесников», под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Броды, август, 1920».

Машинопись под названием «Колесников» с авторской датировкой «Броды, август, 1920»: РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 403. Л. 11–12.

30 июля 1920 г. командир 35-го кавалерийского полка Иван Андреевич Колесников сменил не комбрига два (комбригом два на тот момент был Апанасенко), а тяжело раненного командира 3-й бригады И.П. Колесова.

Событиям, описанным в рассказе, соответствует дневниковая запись от 3 августа: «Начинается бой, артиллерия кроет, недалеко разрывы, грозный час, решительный бой — остановим польское наступление

или нет, Буденный Колесникову и Гришину — расстреляю, они уходят бледные пешком».

Этот эпизод в «отретушированном» виде есть и в воспоминаниях Буденного:

«Комбриг подошел, поправляя на ходу портупею. Шагах в трех от нас остановился, приложил к кубанке руку с растопыренными узловатыми пальцами и, глядя на меня сверху вниз, пробасил:

— Командир третьей бригады Иван Колесников.

— Видите неприятельскую пехоту?

— Вижу!

— Приказываю атаковать ее правый фланг, отрезать от леса и уничтожить. Не сделаете этого, считайте, что вы не комбриг. Задача ясна? — строго посмотрел я на Колесникова.

— Понятно. Значит, атаковать и уничтожить» (Буденный 2. С. 263).

Далее Буденный рассказал о самом бое, в отдельных деталях его рассказ близок к описанию Бабеля.

«Мы сели на коней, — вспоминал Буденный, — и, сопровождаемые эскадроном Реввоенсовета, подъехали к уже выстроенной в редколесье бригаде. По рядам бойцов прошел приглушенный говорок.

— Все видите пехоту противника? — привстав на стременах и сдерживая своего заволновавшегося коня, спросил я.

— Видим, — прозвучал дружный ответ.

— Шашки к бою! За мной, в атаку-марш, марш! (…)

— Ура-а-а! — грохнул у меня за спиной и разлился, как морской прибой, боевой клич красноармейцев.

Впереди желто-бурое поле с редкими крестцами снопов и рассыпанными, перекатывающимися, словно горох, серыми фигурками польских солдат. По сторонам слышится всхрапывание лошадей моих боевых друзей и соратников. Слева вижу, скачет Климент Ефремович Ворошилов. Бок о бок с ним — комиссар 3-й бригады Петр Капитонович Гришин. Справа, склонившись к шее коня, весь устремился вперед комбриг Иван Андреевич Колесников (…)

Позади на все голоса гремит, вздымает тучи пыли лава всадников с обнаженными клинками (…)

Засвистели одиночные пули. Но это продолжалось какие-то секунды. А потом разом ударили десятки вражеских пулеметов. Перед глазами поднялся вал пыли (…)

Я оглянулся назад. Бригада продолжала карьером катиться по полю, потрясая воздух мощным “ура”, которое сливалось с треском пулеметов и разносившимся по лесу эхом» (Там же. С. 264).

— Понял, — ответил Колесников, выпучив глаза.

— А побежишь — расстреляю, — сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела.

— Слушаю, — сказал начальник особого отдела.

— Катись, Колесо! — бодро крикнул какой-то казак со стороны.

Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев[1], вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади ждали его в ста саженях. Он шел, опустив голову, и с томительной медленностью перебирал кривыми, длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть.

И вдруг на распростершейся земле, на развороченной и желтой наготе полей мы увидели ее

---

[1] notes: 1.107

Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев… — Ср. с воспоминаниями Буденного: «Комбриг (…) приложил к кубанке руку с растопыренными узловатыми пальцами…» (Буденный 2. С. 263). Существует мнение, что Буденный не мог помнить подобную деталь в течение сорока с лишним лет и позаимствовал ее из рассказа Бабеля (см.: Лбрагам К. По следам героев И. Э. Бабеля // Параллели: Русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. М.: Дом еврейской книги, 2012. Вып. 12. С. 107).

одну — узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе.

Ординарец подвел ему коня.

Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха.

Стонущее «ура», разорванное ветром, доносилось до нас.

Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах густой пыли.

— Колесников повел бригаду, — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве.

— Есть, — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза.

«Ура» смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки.

— Душевный малый, — сказал командарм, вставая. — Ищет чести. Надо полагать — вытянет.

И, потребовав лошадей, Буденный уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним.

Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены. Он ехал впереди своей бригады, один, на буланом жеребце и дремал. Правая рука

его висела на перевязи. В десяти шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как крестьянские возы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталые оркестры.

В тот вечер в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного Книги[2], своевольного Павличенки, пленительного Савицкого.

[2] notes: 1.108

…прославленного Книги… — Ср. с дневниковой записью от 19 июля: «…знаменитый Книга, чем он знаменит…» Книга Василий Иванович (1883–1961) — советский военачальник, в годы Гражданской войны — один из организаторов краснопартизанских отрядов на Ставрополье, в Первой конной армии командовал 1-й кавалерийской бригадой 6-й дивизии. В. И. Книга неоднократно упоминается в дневнике Бабеля.

Сашка Христос*

Сашка — это было его имя, а Христом прозвали его за кротость. Он был общественный пастух в станице и не работал тяжелой работы с четырнадцати лет, с той поры, когда заболел дурной болезнью. Это все так было:

Тараканыч, Сашкин отчим, ушел на зиму в город Грозный и пристал там к артели. Артель сбилась успешная, из рязанских мужиков. Тараканыч делал для них плотницкую работу, и достатку у него прибывало. Он не управлялся с делами и выписал к себе мальчика подручным: зимой станица и без Сашки проживет. Сашка проработал при отчиме неделю. Потом настала суббота, они пошабашили и сели чай пить. На дворе стоял октябрь, но воздух был легкий. Они открыли окно и согрели второй самовар. Под окнами шлялась побирушка. Она стукнула в раму и сказала:

— Здравствуйте, иногородние крестьяне. Обра-

*** comments: ***

Сашка Христос

Впервые: *ОИ*. 1924. 10 февр. С. 4, под рубрикой «Из книги “Конармия”». Одновременно: Кр. Н. 1924. № 1. С. 64–67, под рубрикой «Из книги “Конармия”». Затем: Рассказы-1925(2). С. 85–92.

тите внимание на мое положение.

— Какое там положение? — сказал Тараканыч. — Заходи, калечка.

Побирушка завозилась за стеной и потом вскочила в комнату. Она прошла к столу и поклонилась в пояс. Тараканыч схватил ее за косынку, кинул косынку долой и почесал в волосах. У побирушки волосы были серые, седые, в клочьях и в пыли.

— Фу ты, какой мужик занозистый и стройный, — сказала она, — чистый цирк с тобой… Пожалуйста, не побрезгуйте мной, старушкой, — прошептала она с поспешностью и вскарабкалась на лавку.

Тараканыч лег с ней. Побирушка закидывала голову набок и смеялась.

— Дождик на старуху, — смеялась она, — двести пудов с десятины дам…

И сказавши это, она увидела Сашку, который пил чай у стола и не поднимал глаз на божий мир.

— Твой хлопец? — спросила она Тараканыча.

— Вроде моего, — ответил Тараканыч, — женин.

— Вот, деточка, глазенапы выкатил, — сказала баба. — Ну, иди сюда.

Сашка подошел к ней — и захватил дурную болезнь. Но об дурной болезни в тот час никто не думал. Тараканыч дал побирушке костей с обеда и серебряный пятачок, очень блесткий.

— Начисть его, молитвенница, песком, — сказал Тараканыч, — он еще более вида получит. В темную ночь ссудишь его господу богу, пятачок заместо луны светить будет…

Калечка обвязалась косынкой, забрала кости и ушла. А через две недели все сделалось для мужиков явно. Они много страдали от дурной болезни, перемогались всю зиму и лечились травами. А весной уехали в станицу на свою крестьянскую работу.

Станица отстояла от железной дороги на девять верст. Тараканыч и Сашка шли полями. Земля лежала в апрельской сырости. В черных ямах блистали изумруды. Зеленая поросль прошивала землю хитрой строчкой. И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете. Первые стада стекали с курганов, жеребята играли в голубых просторах горизонта.

Тараканыч и Сашка шли тропками, чуть заметными.

— Отпусти меня, Тараканыч, к обществу в пастухи, — сказал Сашка.

— Что так?

— Не могу я терпеть, что у пастухов такая жизнь великолепная.

— Я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня, ради бога, Тараканыч, — повторил Сашка, — все святители из пастухов вышли.

— Сашка-святитель, — захохотал отчим, — у богородицы сифилис захватил.

Они прошли перегиб у Красного моста, миновали рощицу, выгон и увидели крест на станичной церкви.

Бабы ковырялись еще на огородах, а казаки, рассевшись в сирени, пили водку и пели. До Тараканычевой избы было с полверсты ходу.

— Давай бог, чтобы благополучно, — сказал он и перекрестился.

Они подошли к хате и заглянули в окошко. Никого в хате не было. Сашкина мать доила корову на конюшне. Мужики подкрались неслышно. Тараканыч засмеялся и закричал у бабы за спиной:

— Мотя, ваше высокоблагородие, собирай гостям ужинать…

Баба обернулась, затрепетала, побежала из конюшни и закружилась по двору. Потом она вернулась к своему месту, кинулась к Тараканы-

чу на грудь и забилась.

— Вот какая ты дурная и незаманчивая, — сказал Тараканыч и отстранил ее ласково. — Кажи детей…

— Ушли дети со двора, — сказала баба, вся белая, снова побежала по двору и упала на землю. — Ах, Алешенька, — закричала она дико, — ушли наши детки ногами вперед…

Тараканыч махнул рукой и пошел к соседям. Соседи рассказали, что мальчика и девочку бог прибрал на прошлой неделе в тифу. Мотя писала ему, но он, верно, не успел получить письма. Тараканыч вернулся в хату. Баба его растапливала печь.

— Отделалась ты, Мотя, вчистую, — сказал Тараканыч, — терзать тебя надо.

Он сел к столу и затосковал, — и тосковал до самого сна, ел мясо и пил водку и не пошел по хозяйству. Он храпел у стола и просыпался и снова храпел. Мотя постелила себе и мужу на кровати, а Сашке в стороне. Она задула лампу и легла с мужем. Сашка ворочался на сене в своем углу, глаза его были раскрыты, он не спал и видел, как бы во сне, хату, звезду в окне и край стола и хомуты под материной кроватью. Насильственное видение побеждало его, он поддавался мечтам и радовал-

ся своему сну наяву. Ему чудилось, что с неба свешиваются два серебряных шнура, крученных в толстую нитку, к ним приделана колыска[1], колыска из розового дерева, с разводами. Она качается высоко над землей и далеко от неба, и серебряные шнуры движутся и блестят. Сашка лежит в колыске, и воздух его обвевает. Воздух, громкий, как музыка, идет с полей, радуга цветет на незрелых хлебах.

Сашка радовался своему сну наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть хомутов под материной кроватью. Потом он услышал сопение на Мотиной лежанке и подумал о том, что Тараканыч мнет мать.

— Тараканыч, — сказал он громко, — до тебя дело есть.

— Какие дела ночью? — сердито отозвался Тараканыч. — Спи, стервяга…

— Я крест приму, что дело есть, — ответил Сашка, — выдь во двор.

И во дворе, под немеркнущей звездой, Сашка сказал отчиму:

— Не обижай мать, Тараканыч, ты порченый.

— А ты мой характер знаешь? — спросил Та-

---

[1] notes: 1.109
Колыска — люлька, колыбель, качель *(устар.)*.

раканыч.

— Я твой характер знаю, но только ты видал мать, при каком она теле? У нее и ноги чистые и грудь чистая. Не обижай ее, Тараканыч. Мы порченые.

— Мил человек, — ответил отчим, — уйди от крови и от моего характера. На вот двугривенный, проспи ночь, вытрезвись…

— Мне двугривенный без пользы, — пробормотал Сашка, — отпусти меня к обществу в пастухи…

— С этим я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня в пастухи, — пробормотал Сашка, — а то я матери откроюсь, какие мы. За что ей страдать при таком теле…

Тараканыч отвернулся, пошел в сарай и принес топор.

— Святитель, — сказал он шепотом, — вот и вся недолга… я порубаю тебя, Сашка…

— Ты не станешь меня рубить за бабу, — сказал мальчик чуть слышно и наклонился к отчиму, — ты меня жалеешь, отпусти меня в пастухи…

— Шут с тобой, — сказал Тараканыч и кинул топор, — иди в пастухи.

И он вернулся в хату и переспал со своей женой.

В то же утро Сашка пошел к казакам наниматься и с той поры стал жить у общества в пастухах. Он прославился на весь округ простодушием, получил от станичников прозвище «Сашка Христос» и прожил в пастухах бессменно до призыва. Старые мужики, какие поплоше, приходили к нему на выгон чесать языки, бабы прибегали к Сашке опоминаться от безумных мужичьих повадок и не сердились на Сашку за его любовь и за его болезнь. С призывом своим Сашка угодил в первый год войны. Он пробыл на войне четыре года и вернулся в станицу, когда там своевольничали белые. Сашку подбили идти в станицу Платовскую[2], где собирался отряд против белых. Выслужившийся вахмистр — Семен Михайлович Буденный[3] — заправлял делами в этом отряде,

---

[2] notes: 1.110

Сашку подбили идти в станицу Платовскую… — Станица Платовская (ныне станица Буденновская Ростовской области) — родина Буденного.

[3] notes: 1.111

Выслужившийся вахмистр — Семен Михайлович Буденный… — Вахмистр — воинское звание унтер-офицерского состава в кавалерии и артиллерии ряда европейских стран, а также в русской царской армии — в кавалерии, казачьих войсках и Отдельном корпусе жандармов. В 1907 г. Буденный, служивший в Приморском драгунском полку, был направлен в Петербургскую школу наездников. «В школе мне присвоили звание младшего унтер-офицера. Вернувшись в полк, я занял должность наездника и вскоре получил звание старшего унтер-офицера. По должности я пользовался правами вахмистра», — вспоминал впоследствии Буденный (Буденный 1. С. 11). В чине старшего унтер-

офицера он служил в Первую мировую войну.

и при нем были три брата: Емельян, Лукьян и Денис.[4] Сашка пошел в Платовскую, и там решилась его судьба. Он был в полку Буденного, в бригаде его, в дивизии и в Первой Конной армии. Он ходил выручать героический Царицын[5], соединился с Десятой армией Ворошилова[6], бился под Воронежем, под Касторной и у Генеральского моста на Донце.[7] В польскую кампанию Сашка вступил обозным, потому что был поранен и считался инвалидом.

Вот как все это было. С недавних пор стал я водить знакомство с Сашкой Христом и переложил свой сундучок на его телегу. Нередко встречали мы утреннюю зорю[8] и сопутствовали закатам. И когда своевольное хотение боя соединяло нас — мы садились по вечерам у блещущей зава-

---

[4] notes: 1.112

…при нем были три брата: Емельян, Лукьян и Денис. — Младшего из братьев звали не Лукьян, а Леонид. Три брата Буденного командовали эскадронами. Денис Буденный погиб в 1919 г.

[5] notes: 1.113

Он ходил выручать героический Царицын… — Конный корпус Буденного успешно действовал под Царицыном в 1918-начале 1919 г.

[6] notes: 1.114

…соединялся с десятой армией Ворошилова… — Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) — советский военачальник, государственный и партийный деятель, один из первых маршалов Советского Союза; нарком по военным и морским делам (1925–1934), председатель Реввоенсовета СССР, затем нарком обороны СССР (1934–1940). В годы Гражданской войны — командующий Царицынской группой войск,

заместитель командующего и член Военного совета Южного фронта, командующий 10-й армией, нарком внутренних дел Украины, командующий Харьковским военным округом, командующий 14-й армией и внутренним Украинским фронтом. Один из организаторов и член Реввоенсовета Первой конной армии. 10-я армия была создана приказом Реввоенсовета Южного фронта от 3 октября 1918 г. (на основании директивы Реввоенсовета Республики от 11 сентября 1918 г.) из войсковых соединений, действовавших в районе Царицына и Камышина. 10 мая 1920 г. была переименована в 10-ю Терскую армию. С 1 октября 1919 г. — в составе Юго-Восточного фронта, с 16 января 1920 г. — в составе Кавказского фронта. Расформирована в июле 1920 г. Ворошилов командовал 10-й армией с 3 октября по 18 декабря 1918 г.

[7] notes: 1.115

…бился под Воронежем, под Касторкой и у Генеральского моста на Донце. — В ноябре 1919 г. Конный корпус Буденного составил одну из ударных групп Южного фронта; в ходе Воронежско-Касторненской операции нанес поражение белогвардейской коннице, затем сыграл решающую роль в Донбасской операции.

[8] notes: 1.116

Нередко встречали мы утреннюю зорю… — **Зо́ря** — в армии утренний сигнал к сбору.

линки или кипятили в лесах чай в закопченном котелке, или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге голодного коня.

Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча*

Земляки, товарищи, родные мои братья! Так осознайте же во имя человечества жизнеописание красного генерала Матвея Павличенки. Он был пастух, тот генерал, пастух в усадьбе Лидино, у барина Никитинского, и пас барину свиней, пока не вышла ему от жизни нашивка на погоны, и тогда с нашивкой этой стал Матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает, — уродись он в Австралии, Матвей наш, свет Родионыч, то возможная вещь, друзья, он и до слонов возвысился бы, слонов стал бы пасти Матюшка, кабы не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в Став-

---

*** comments: ***

Жизнеописание Павличенки Матвей Родионыча

Впервые: Шк. 1924. № 8. С. 4–5, с посвящением Д.А. Шмидту. Повторно: 30 дней. 1925. № 1. С. 20–26, с посвящением Д.А. Шмидту. Затем: Рассказы-1925(1). С. 22–29, с посвящением Д.А. Шмидту.

В журнале «30 дней» рассказ сопровождался редакционным примечанием: «Произведения Бабеля возбудили сейчас вокруг себя горячие споры и почти единодушное признание. Бабель описывает революцию, не прикрашивая ее, и в то же время дает картины, полные революционного пафоса. Чрезвычайно важно отметить, что хотя Бабель выступил на литературном поприще уже около десяти лет, только песня революции оказалась песней достаточно громкой и полной для его голоса» (30 дней. 1925. № 1. С. 20).

Машинопись с подписью и с посвящением Д.А. Шмидту: ОР ИМЛИ.

Ф. 86. On. 1. Ед. хр. 2.

Исправлена печатка, допущенная в машинописи, в журнале «30 дней» и в КА-1926: «Не писаря летали в те дни по Кубани…» на «Не писаря летели в те дни по Кубани…»

В ряде конармейских рассказов, где действующим лицом является Павличенко, в публикациях в периодике дается его настоящая фамилия-Апанасенко. В «Жизнеописании…» вымышленная фамилия Павличенко дана уже в первой публикации.

В дневнике 12 августа помечено: «Надо писать в газету и жизнеописание Апана-сенки». Ср. также с наброском:

«(39) Жизнеописание Апанасенки.

Унтер-офицер. 4 Георгия. Сын свинопаса. — Собрал деревню. Действовал на свой страх и риск. — Соединился с Буденным. — Астраханский поход. — Послание к полякам, которое начинается так: Сволочи. Составить послание».

Бабель изменил фамилию и имя героя, но сохранил его подлинное отчество.

Воплощая замысел «Жизнеописания…», автор, вероятнее всего, воспользовался написанной зав. политотделом 6-й дивизии В. И. Берловым газетной заметкой о начдиве: «Тов. Апанасенко Иосиф Родионович, уроженец Ставропольской губ., Благодаринско-го уезда, села Митрофановки, родился в бедной крестьянской семье, и до призывного возраста ему приходилось работать на помещиков и деревенских кулаков: пасти овец, лошадей и т. д., перенося всякие оскорбления вплоть до мордобития (…) учения тов. Апанасенко никакого не проходил, если не считать внешкольного образования, которое ему пришлось получить до призывного возраста от какого-то малограмотного родственника» (КК. 1920. 9 апр. С. 3).

В то же время сказовая форма новеллы отделяет героя от прототипа. Однако весьма нелицеприятные характеристики Апанасенко встречаются как в других рассказах (см., например, новеллу «Чесники»), так и в дневнике. 5 августа: «…Апанасенко, новая и яркая фигура, некрасив, коряв, страстен, самолюбив, честолюбив, написал воззвание в Ставрополь и на Дон о непорядках тыла, для того, чтобы сообщить в родные места, что он начдив»; 10 августа: «Апанасенко в красном казакине, в черной бурке, гладко выбритое лицо — страшное явление, атаман», 11 августа: «Ненависть Апанасенки к богатым, к интеллигентам, неугасимая ненависть», 18 августа: «Апанасенко говорит всегда-сестру зарезать, поляков зарезать».

Об И. Р. Апанасенко см. примеч. 2 к дневниковой записи от 4 августа.

ропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в Ставропольской раскидистой нашей стороне. А от буйвола бедняк утехи себе не добудет, русскому человеку над буйволами издеваться скучно, нам, сиротам, лошадку на вечный суд подай, лошадку, чтобы душа у нее на меже с боками бы повылазила…

И вот пасу я рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня навылет прохватило, воняю я, как разрезанное вымя, бычки вокруг меня для порядку ходят, мышастые бычки серого цвета. Воля кругом меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит, небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь, а небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасу я этаким манером, с ветрами от нечего делать на дудках переигрываюсь, покеда один старец не говорит мне:

— Явись, — говорит, — Матвей, к Насте.

— Зачем, — говорю. — Или вы, старец, надо мной надсмехаетесь?..

— Явись, — говорит, — она желает.

И вот я являюсь.

— Настя! — говорю я и всей моей кровью чернею. — Настя, — говорю, — или вы надо мной

надсмехаетесь?

Но она не дает мне себя слыхать, а пускается от меня бегом и бежит из последних силов, и мы бежим с нею вместе, пока не стали на выгоне, мертвые, красные и без дыхания.

— Матвей, — говорит мне тут Настя, — третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была и рыбалки к берегу шли, — вы то же самое с ними шли и голову опустили. Зачем же вы голову опускали, Матвей, или вам какая думка сердце жмет? Отвечайте мне…

И я отвечаю ей:

— Настя, — отвечаю, — мне отвечать вам нечего, голова моя не ружье, на ней мушки нету и прицельной камеры нету, а сердце мое вам известно, Настя, оно от всего пустое, оно небось молоком прохвачено, это ужасное дело, как я молоком воняю…

И Настя, вижу, заходится от этих моих слов.

— Я крест приму, — заходится она, смеется напропалую, смеется во весь голос, на всю степь, как будто на барабане играет, — я крест приму, вы с барышнями перемаргиваетесь…

И поговоривши короткое время глупости, мы с ней вскорости женились. И стали мы жить с Настей, как умели, а уметь мы умели. Всю ночь

нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы голые ходили и шкуру друг с дружки обрывали. Хорошо жили, как черти, и все до той поры, пока не заявляется ко мне старец во второй раз.

— Матвей, — говорит он, — барин давеча твою жену за все места трогал, он ее достигнет, барин…

А я:

— Нет, — говорю, — нет, и простите меня, старец, или я пришью вас на этом месте.

И старец, безусловно, пустился от меня ходом, а я обошел в тот день моими ногами двадцать верст земли, большой кусок земли обошел я в тот день моими ногами и вечером вырос в усадьбе Лидино у веселого барина моего Никитинского. Он сидел в горнице, старый старик, и разбирал три седла: английское, драгунское и казацкое, — а я рос у его двери, как лопух, цельный час рос, и все без последствий. Но потом он кинул на меня глаза.

— Чего ты желаешь? — говорит.

— Желаю расчета.

— Умысел на меня имеешь?

— Умысла не имею, но желаю.

Тут он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых

потничков[1], они малиновей царских флагов были, потнички его, встал над ними старикашка и запетушился.

— Вольному воля, — говорит он мне и петушится, — я мамашей ваших, православные христиане, всех тараканил, расчет можешь получить, только не должен ли ты мне, дружок мой Матюша, какой-нибудь пустяковины?

— Хи-хи, — отвечаю, — вот затейники вы, в самделе, убей меня бог, вот затейники! Мне небось с вас зажитое следует…

— Зажитое, — скрыгочет тут мой барин, и кидает меня на колюшки, и сучит ногами, и лепит мне в ухо отца и сына и святого духа, — зажитое тебе, а ярмо забыл, в прошлом годе ты мне ярмо от быков сломал, — где оно, мое ярмо?

— Ярмо я тебе отдам, — отвечаю я моему барину и возвожу к нему простые мои глаза и стою перед ним на колюшках ниже всякой земной низины, — отдам тебе ярмо, но ты не тесни меня с долгами, старый человек, а подожди на мне малость…

И что же, ребята вы ставропольские, земляки

---

[1] notes: 1.117

…настелил на пол малиновых потничков… — Потник — часть снаряжения лошади: кусок ткани в форме седла, подкладывается под седло или прикрепляется к нему с внутренней стороны.

мои, товарищи, родные мои братья, пять годов барин на мне долги жал, пять пропащих годов пропадал я, покуда ко мне, к пропащему, не прибыл в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках. Большой обоз вел он за собой и всякие песни. И эх, люба ж ты моя, восемнадцатый годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок… Расточили мы твои песни, выпили твое вино, постановили твою правду, одни писаря нам от тебя остались. И эх, люба моя! Не писаря летели в те дни по Кубани и выпущали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции, Матвей Родионыч лежал тогда на крови под Прикумском[2], и оставалось от Матвея Родионыча до усадьбы Лидино пять верст последнего перехода. Я и поехал туда один, без отряда, и, взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там, в горнице, Никитинский чаем ее

[2] notes: 1.118

…лежал тогда на крови под Прикумском… — Здесь допущен анахронизм: до 28 декабря 1921 г. город Прикумск носил название Святой Крест, постановлением ЦИК СССР от 29 апреля 1935 г. Прикумск переименован в Буденновск, затем 14 ноября 1957 г., в связи с выходом постановления о запрете называть населенные пункты в честь здравствующих вождей, город вновь был назван Прикумском; после смерти Буденного постановлением Верховного Совета РСФСР от 30 ноября 1973 г. ему было возвращено название Буденновск.

обносил и ласкался до людей, но увидев меня, сошел со своего лица, а я кубанку перед ним снял.

— Здравствуйте, — сказал я людям, — здравствуйте, пожалуйста. Принимайте, барин, гостя или как там у нас будет?

— Будет у нас тихо, благородно, — отвечает мне тут один человек, по выговору, замечаю, землемер, — будет у нас тихо, благородно, но ты, товарищ Павличенко, скакал, видать, издалека, грязь пересекает твой образ. Мы, земельная власть, ужасаемся такого образа, почему это такое?

— Потому это, — отвечаю, — земельная вы и холоднокровная власть, потому оно, что в образе моем щека одна пять годков горит, в окопе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет. На последнем суде, — говорю и смотрю на Никитинского вроде как весело, а у него уже и глаз нету, только шары посреди лица стоят, как будто вкатили ему шары под лоб на позицию, и он хрустальными этими шарами мне примаргивает тоже вроде как весело, но очень ужасно.

— Матюша, — говорит он мне, — мы ведь знавались когда-то, и вот супруга моя, Надежда Васильевна, по причине происходящих времен рассудку лишившись, она ведь к тебе хороша

была, Надежда Васильевна, ты ее, Матюша, больше всех уважал, неужели ты не пожелаешь ее увидеть, когда она свету лишилась?

— Можно, — говорю, и мы входим с ним в другую комнату, и там он руки стал у меня трогать, правую руку, потом левую.

— Матюша, — говорит, — ты судьба моя или нет?

— Нет, — говорю, — и брось эти слова. Бог от нас, холуев, ушился: судьба наша индейка, жисть наша копейка, брось эти слова, и послушай, коли хочешь, письмо Ленина.

— Мне письмо, Никитинскому?

— Тебе, — и вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. «Именем народа, — читаю, — и для основания будущей светлой жизни, приказываю Павличенко, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрению…» Вот, — говорю, — это оно и есть, ленинское к тебе письмо…

А он мне: нет!

— Нет, — говорит, — Матюша, хоть жизнь наша на чертову сторону схилилась и кровь в российской равноапостольной державе дешева стала, но тебе сколько крови полагается — ты ее все равно

достанешь и мои смертные взоры забудешь, и не лучше ли будет, если я тебе половицу покажу?

— Кажи, — говорю, — может, оно лучше будет.

И опять мы с ним по комнате пошли, в винный погреб спустились, там он кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичиком. В ней были перстни, в шкатулке, ожерелья, ордена и жемчужная святыня. Он кинул ее мне и обомлел.

— Твое, — говорит, — владей никитинской святыней и шагай прочь, Матвей, в прикумское твое логово…

И тут я взял его за тело, за глотку, за волосы.

— С щекой-то что мне делать, — говорю, — с щекой как мне быть, люди-братья?

И тогда он сам с себя посмеялся слишком громко и вырываться не стал.

— Шакалья совесть, — говорит и не вырывается. — Я с тобой, как с российской империи офицером говорю, а вы, хамы, волчицу сосали… Стреляй в меня, сукин сын…

Но я стрелять в него не стал, стрельбы я ему не должен был никак, а только потащил наверх в залу. Там в зале Надежда Васильевна, совершенно сумасшедшие, сидели, они с шашкой наголо, по зале прохаживались и в зеркало гляделись. А

когда я Никитинского в залу притащил, Надежда Васильевна побежали в кресло садиться, на них бархатная корона перьями убрана была, они в кресло бойко сели и шашкой мне на караул сделали. И тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть…

Кладбище в Козине*

Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях.

Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы[1] и овцы над мертвой человеческой головой. Изображения раввинов в меховых шапках.[2] Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне, под дубом, размозженным молнией, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого.[3] Четыре по-

---

*** comments: ***

Кладбище в Козине

Впервые: *ОИ*. 1923. 23 февр. С. 6, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «16.7.20». Повторно: Прожектор. 1923. № 21. С. 14, вместе с рассказами «Путь в Броды» и «Учение о тачанке», под рубрикой «Три рассказа». Затем: Рассказы-1925(1). С. 21. В журнале и в книге датировки нет.

Описания еврейских кладбищ, легшие в основу новеллы, встречаются в дневнике.

18 июля (Новоселки-Мал. Дорогостай): «Еврейское кладбище за Малиным, сотни лет, камни повалились, почти все одной формы (…) овальные сверху, кладбище заросло травой, оно видело Хмельницкого, теперь Буденного, несчастное евр(ейское) население, все повторяется, теперь эта история — поляки — казаки — евреи — с поразительной

точностью повторяется, новое — коммунизм».

21 июля (Пелча — Боратин): «Кладбище, разрушенный домик рабби Азриила, три поколения, памятник под выросшим над ним деревом, эти старые камни, все одинаковой формы, одного содержания…»

24 июля: «…несчастный Козин. — Кладбище, круглые камни».

«Кладбище в Козине» называют стихотворением в прозе. Новелла действительно отличается от других рассказов цикла не только стилистическим и ритмическим своеобразием, но и совсем небольшим объемом. В «Планах и набросках к “Конармии”» есть запись: «Стиль, размер. — Кладбище в Козине» ((58)). В новелле дано не конкретное, а скорее обобщенно-поэтическое изображение еврейского кладбища, куда вплетаются и христианские символы («изображение рыбы и овцы»), и калька с христианской реалии («раввин краковский и пражский», ср. в рассказе «Пан Аполек»: «викарий Дубенский и новоконстантиновский»), и молитва бедуина.

[1] notes: 1.119

Изображение рыбы… — Например, древняя монограмма (акроним) имени Иисуса Христа Ихтис (в переводе с древнегреческого: рыба) часто аллегорически изображалась в виде рыбы.

[2] notes: 1.120

Изображения раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах. — Раввин — в иудаизме звание, которое присваивается духовным и ученым лидерам. Однако в иудаизме недопустимо изображение людей на памятниках. Об одежде раввинов см. примеч. 4 к рассказу «Рабби».

[3] notes: 1.121

…убитого казаками Богдана Хмельницкого. — Хмельницкий Богдан (Зиновий Богдан) Михайлович (1595–1657) — гетман Войска Запорожского, украинский полководец, политический и государственный деятель; возглавил восстание против Речи Посполитой, в результате которого в 1654 г. произошло воссоединение Украины с Россией. Восстание под предводительством Хмельницкого сопровождалось особой жестокостью в отношении жителей захваченных городов, в первую очередь к католическим священникам, монахам и особенно к евреям, которые истреблялись поголовно. В ходе восстания были уничтожены сотни еврейских общин.

колена лежат в этой усыпальнице, нищей, как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали поют о них[4] молитвой бедуина:

«Азриил, сын Анания, уста Еговы.

Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением.

Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на девятнадцатой весне.

Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский.

О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас, хотя бы однажды?»

---

[4] notes: 1.122

…зазеленевшие скрижали поют о них… — Скрижали — две каменные плиты, на которых были выбиты десять заповедей; в данном случае надгробья с надписями. В иудаизме нет запретов и ограничений на надгробные надписи.

Прищепа*

*** comments: ***

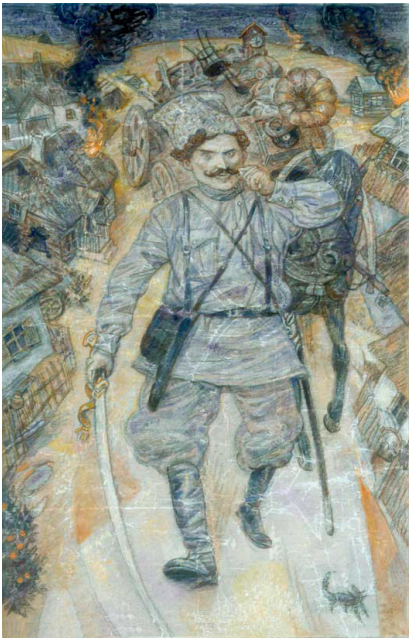
Прищепа

Впервые: ОИ (приложение). 1923. 17 июня. С. 1, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Демидовка, июль, 1920». Повторно: Леф. 1923. № 4. С. 72, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Демидовка, июль, 1920». В книге датировки нет.

Машинопись с датировкой «Демидовка, июль, 1920»: РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 403. Л. 7.

Прищепа — реальный человек, служивший в Первой конной армии. Эта фамилия встречается в дневнике. Наиболее подробно о Прищепе см. дневниковую запись от 24 июля.

Заметки к рассказу есть также в «Планах и набросках к “Конармии”».



Пробираюсь в Лешнюв, где расположился штаб дивизии. Попутчик мой по-прежнему Прищепа — молодой кубанец, неутомительный хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, беспечный сифилитик, неторопливый враль. На нем малиновая черкеска из тонкого сукна и пуховый башлык, закинутый за спину. По дороге

он рассказывал о себе…

Год тому назад Прищепа бежал от белых. В отместку они взяли заложниками его родителей и убили их в контрразведке. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали с Кубани, Прищепа вернулся в родную станицу.

Было утро, рассвет, мужичий сон вздыхал в прокисшей духоте. Прищепа подрядил казенную телегу и пошел по станице собирать свои граммофоны, жбаны для кваса и расшитые матерью полотенца. Он вышел на улицу в черной бурке, с кривым кинжалом за поясом; телега плелась сзади. Прищепа ходил от одного соседа к другому, кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак находил вещи матери или чубук отца, он оставлял подколотых старух, собак, повешенных над колодцем, иконы, загаженные пометом. Станичники, раскуривая трубки, угрюмо следили его путь. Молодые казаки рассыпались в степи и вели счет. Счет разбухал, и станица молчала. Кончив, Прищепа вернулся в опустошенный отчий дом. Он расставил отбитую мебель в порядке, который был ему памятен с детства, и послал за водкой. Запершись в хате, он пил двое суток, пел, плакал и рубил шашкой столы.

На третью ночь станица увидела дым над избой Прищепы. Опаленный и рваный, виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил. Земля курилась под ним, голубое кольцо пламени вылетело из трубы и растаяло, в конюшне зарыдал оставленный бычок. Пожар сиял, как воскресенье. Прищепа отвязал коня, прыгнул в седло, бросил в огонь прядь своих волос и сгинул.

История одной лошади*

Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне тогда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей, с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу и дождался его.

После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса[1], Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошении резо-

---

*** comments: ***

История одной лошади

Впервые: *ОИ*. 1924. 13 апр. С. 2, вместе с «Продолжением истории одной лошади» под общим названием «Тимошенко и Мельников», под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Июнь, 1920». Повторно: Кр. Н. 1924. № 3. С. 10–13, под тем же названием, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Радзивиллов, июль 1920 г.».

Рассказ основан на реальных событиях. В архиве редакции «Красной нови» сохранилась копия письма Бабелю от 4 июля 1924 г., написанного прототипом героя рассказа С. Мельниковым, бывшим бойцом Первой конной армии, командиром эскадрона, а в те дни служащим советского торгпредства в Берлине: «…мне никогда и в голову не приходило, что после затишья на красных фронтах кто-нибудь скажет

несколько слов про жизнь скромного бойца командира (…) Тов. Бабель, если Вы еще не закончили писать книгу о Конармии и Вам нужны материалы, то напишите мне или, вернее, в письме поставьте ряд вопросов, которые Вас интересуют, и я с большим удовольствием на них по возможности отвечу». Однако Мельников просит внести в рассказ одно исправление: «А теперь, уважаемый тов. БАБЕЛЬ, прошу Вас исправить вкравшуюся ошибку в Вашей книге, ибо указание, что я подал военкому заявление о выходе из РКП(б), не соответствует истине, подобного заявления я военкому не подавал, были только горячие споры о том, что начдив, коммунист, отнимая у своего подчиненного командира коня, злоупотребляет властью и делает преступление, что и было указано в рапорте, поданном мною в штаб армии, на каковом и была действительно положена резолюция: “Возвратить белого коня командиру 1-го эскадрона МЕЛЬНИКОВУ”». Примечательна и концовка письма: «Эх, тов. Бабель, славная, красивая и полная героизма была жизнь и работа, хотя и полна опасности в нашей непобедимой, прославленной Конармии, а белого коня не забуду, пока буду жив» (РГАЛИ. Ф. 602. Оп. 1. Ед. хр. 1718).

Почти одновременно с письмом в редакцию «Красной нови», 8 июля 1924 г., имя Мельникова всплывает в письме Горькому от М.Ф. Андреевой, работавшей в ту пору зав. фотокиноподотделом советского торгпредства в Берлине и занимавшейся просмотром и отбором фильмов для приобретения и показа в СССР. Об одном из таких просмотров — американского кинофильма «Король степей» — Андреева и написала Горькому:

«Был у меня на днях случай — пожалела я очень, что тебя при нем не было.

Принесли мне на просмотр картину: главное действующее лицо — великолепнейший черный конь. Будто он вовсе дикий. Показано, как он свой косяк блюдет, как дерется с таким же диким конем белым,

отбивая своих маток, причем драка настоящая, в кровь! Как он прячет свой косяк от покушений поймать со стороны людей и опять-таки — играет конь так, что полная иллюзия настоящей дикой лошадиной жизни, в горах, в лесу, в огромных долинах (…)

Кончается картина тем, что человек благодарит коня за дружбу, за помощь, целует его в морду и отпускает на свободу. Конь бежит, ржет, лётом мчится к горам, стоит высоко-высоко на скале, ржет… Осматривается, поворачивает голову влево… вправо… И вдруг внизу, в долине видит своего друга. Опять ты ясно видишь, что конь думает, что в нем происходит борьба, и вдруг — он решается, он бежит к человеку, который сумел заставить его полюбить себя, которому он поверил.

Прибегает, кладет морду человеку на плечо, а у человека все лицо озаряется счастьем.

Кончилась картина. Смотрю, когда зажгли свет в просмотровой комнате, сидит за мной наш служащий Мельников, лицо залито слезами, и весь он дрожит, как конь этот черный.

— Что вы? — говорю ему. — Милый, что вы?

— Ох, М. Ф., голубушка, родная вы моя! Ведь вот этот конь совсем как мой… которого отняли у меня… Только мой — белый был…

И рассказывает потом, как нашли они, солдаты Буденного, в каком-то помещичьем угодье под Польшей замурованными в погребе две лошади; одна кобыла, а другая — вот этот белый конь. Только окошечко оставлено им было. Как они, солдаты, увидели свежую штукатурку, отбили ее. Как он, Мельников, сразу влюбился в коня и вымолил его себе. Как в один месяц выдрессировал его, тот слова слушался. Какой это был изумительный конь! Чистый конь-никогда не ляжет, если ему чистой соломы не постелили, как голубь белый. Сам его чистил, никого к нему не подпускал.

И вдруг случилось “несчастье” — об этом “несчастье” ты, должно быть, читал у Бабеля в “Красной нови”? Это тот самый Мельников,

чудесный малый. Сейчас он, конечно, пообтесался немного, даже по-немецки говорит. Славная морда, такая круглая, русская. Волосы кудрявые, русые.

Всхлипывает, рассказывая, и — конфузится, басит, а у самого подбородок с ямочкой дрожит. Лет ему теперь, должно быть, 24–25.

— Вот четыре года прошло, а вспомнить не могу! Ведь какой конь, а он, Тимошенко, третирует его! Даже бил — один раз даже укусил его за это конь мой... Слава богу — убили его под Тимошенко, недолго он им владел!.. Разбередили вы меня картиной вашей, Мария Федоровна, опять душа болит! Будто не четыре года, а четыре дня прошло, ох господи!

Вот тебе и коммунист!» (Мария Федоровна Андреева: Переписка, воспоминания, статьи, документы, воспоминания о М.Ф. Андреевой. М.: Искусство, 1968. С. 363–364).

В 1930 г. Мельников опубликовал воспоминания, в которых вернулся к эпизоду, описанному в рассказе Бабеля:

«У меня был конь лучший в дивизии. Начальник дивизии давно на него зарился и не раз предлагал мне обмен.

— Не согласен! — коротко, но твердо отвечал я ему.

Тогда под предлогом, что его кони измучены большим переходом, начдив взял у меня моего коня на несколько часов-и не вернул, а прислал двух своих коней.

Все мои усилия получить коня обратно были напрасны, и я не могу описать, до какой степени я страдал.

Я не мог забыть этой потери. Но рассказ Бабеля (в его “Конармии”) о том, будто я под влиянием этого случая подал заявление о выходе из партии, — неверен» (Мельников С. Первая Конная: Из воспоминаний бойца И Кр. нива. 1930. № 6. С. 7).

В первой и повторной публикациях подлинные фамилии сохраняются не только в названии, но и в тексте рассказа. Начиная с КА-1926 эти фамилии заменены вымышленными — Савицкий и Хлебников.

Бабелю, отвечавшему на заметку Буденного в № 3 журнала «Октябрь» за 1924 г., пришлось оправдываться: «Начдивом 6-й был тогда т. Тимошенко. Я с восхищением наблюдал его героическую, боевую и революционную работу. Прекрасный, цельный, этот образ долго владел моим воображением, и когда я собрался писать воспоминания о польской кампании, я часто возвращался мыслью к любимому моему начдиву. Но в процессе работы над моими записками я скоро отказался от намерения придать им характер исторической достоверности и решил выразить мои мысли в художественной беллетристической форме. От первоначальных замыслов в моих очерках осталось только несколько подлинных фамилий. По непростительной моей рассеянности, я не удосужился их вымарать, и вот, к величайшему моему огорчению, — подлинные фамилии сохранились случайно и в очерке “Тимошенко и Мельников”, помещенном в 3-й книге журнала “Красная новь” за 1924 г. (…) Излишне говорить о том, что тов. Тимошенко не имеет ничего общего с персонажами из моего очерка. Это ясно для всех, кто сталкивался хотя бы однажды с бывшим начдивом 6-й, одним из самых мужественных и самоотверженных наших красных командиров» (Октябрь. 1924. № 4. С. 223).

[1] notes: 1.123

После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса… — О смене руководства 6-й дивизии см. примем. 4 к рассказу «Смерть Долгушова» и примем. 1 к дневниковой записи от 5 августа.

люцию: «Возворотить изложенного жеребца в первобытное состояние», и Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивилове, в изувеченном Городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива.[2]

Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале, с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта[3], и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бур-

---

[2] notes: 1.124

Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива. — Ср. с дневниковой записью от 4 августа: «Еще впечатление — и тяжкое и незабываемое — приезд на белой лошади Начдива с ординарцами. Вся штабная сволочь, бегущая с курицами для командарма, относятся покровительственно, хамски, Шеко — высокомерен, спрашивает об операциях, тот объясняет, улыбается, великолепная, статная фигура и отчаяние».

[3] notes: 1.125

Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале, с казачкой Павлой, отбитой им у еврея интенданта… — Ср. с отрывком «Жена Бахтурова» из наброска (44): «Сегодня Бахтуров женат. — Среди села — он как помещик. — Заглядываю внутрь двора. — Ночью — он выходит, почесывается. — Стройная, в шали, — высокие ноги, хозяй-

ство. — Жена или наложница».

но сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках. Израненный истиной и ведомый местью, Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору.

— Личность моя вам знакомая? — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене.

— Видал я тебя как будто, — ответил Савицкий и зевнул.

— Тогда получайте резолюцию начштаба, — сказал Хлебников твердо, — и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом…

— Можно, — примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.

— Павла, — сказал он, — с утра, слава тебе, господи, чешемся… Направила бы самоварчик…

Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.

— Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся, — сказала она с ленивой и повелительной усмешкой, — то того вам, то другого…

И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.

— Целый день цепляемся, — повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.

— То этого мне, а то того, — засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо.

— Я еще живой, Хлебников, — сказал он, обнимаясь с казачкой, — еще ноги мои ходют, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела…

Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.

Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.

— Твое дело, командир, решенное, — сказал начальник штаба. — Жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает…

Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские

леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо.[4] Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше дести и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов.

— Чистый Карл Маркс, — сказал ему вечером военком эскадрона. — Чего ты пишешь, хрен с тобой?

— Описываю разные мысли согласно присяге, — ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков.

«Коммунистическая партия, — было сказано в этом заявлении, — *основана, полагаю для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до бело-*

---

[4] notes: 1.126

За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. — Основное действие рассказа относится к первой половине августа, однако дорогу в Дубно и дубенские леса Бабель упоминает в дневниковой записи от 23 июля: «Дорога на Дубно (…) Леса, великолепные старинные тенистые леса. Жара, в лесах тень. Много вырублено для военных надобностей, будь они прокляты, голые опушки с торчащими пнями. Древние Волынские Дубенские леса (…) После обеда сплю под деревьями — тихий (…) тенистый откос, качели летают перед глазами. Перед глазами — тихие зеленые (…) и желтые холмы, облитые солнцем, и леса, Дубенские леса. Сплю часа три. Потом в Дубно».

го жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех, и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до серых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно резолюции, мое кровное, то я не имею выхода как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь...»

Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца.

— Вот и дурак, — сказал военком, разрывая бумагу, — приходи после ужина, будешь иметь

беседу со мной.

— Не надо мне твоей беседы, — ответил Хлебников, вздрагивая, — проиграл ты меня, военком.

Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил.

— Проиграл! — закричал он дико, влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь.

— Бей, Савицкий, — закричал он, падая на землю, — бей враз!

Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий шесть поранений.

Так лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае,

как на луг, по которому ходят женщины и кони.

Конкин*

Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкомаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьей, юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится… Одним словом — два слова.

Вынеслись мы со Спирькой Забутым подальше от леска, глядим — подходящая арифметика… Сажнях в трехстах, ну не более, не то штаб пылит, не то обоз. Штаб — хорошо, обоз — того лучше.

*** comments: ***

Конкин

Впервые: *ОИ*. 1924. 6 апр. С. 4, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Дубно, август, 1920». Повторно: Кр. Н. 1924. № 3. С. 21–23, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Дубно, август 1920». В книге датировки нет.

Николай Александрович Конкин — военком 2-й бригады 14-й кавалерийской дивизии, кавалер ордена боевого Красного Знамени. Фамилии Конкин нет в дневнике, но она шесть раз встречается в «Планах и набросках к “Конармии”». В одном из набросков рядом с фамилией Конкин названы Нижний Новгород, «карточка клоуна» и Василий Рыбочкин; в рассказе Конкина зовут Васей. В другом наброске приведены пословицы и поговорки Конкина: «Бог не захочет, пузырь не вскочит. — По бороде — Авраам, а по делам хам. — В грехах, к(а)к

репьях. — Кусают и комары до поры. — Своя рогожа — чужой рожи дороже» ((12)).

Орден Красного Знамени № 1032 Конкин, как сказано в протоколе заседания Реввоенсовета Первой конной армии от 27 июня 1920 г., получил за то, что «в бою 14 июня 1920 г. под селом Старосельцы, будучи в пешем строю и находясь в передней цепи, которой было получено приказание перейти в наступление, повел сам лично правый фланг 31-го кавполка, который сделал сильный натиск на противника, которого обратил в бегство, сел на коня, бросился преследовать противника, получив 3 (три) огнестрельных раны в левую и правую руки и правую ногу, несмотря на свое изнеможение, истекая кровью, наносил смертельные удары противнику, во время которых сам лично убил лейтенанта. Этим примером он подымал дух красных бойцов и, исполнив боевую задачу, остался в строю без перевязки до наступления темноты, с наступлением каковой, сделав перевязки, снова вернулся в строй» (РГВА. Ф. 245. Оп. 1. Д. 16. Л. 26). Подвигу Конкина посвящена заметка в «Красном кавалеристе» от 4 июля 1920 г., которую, по всей видимости, читал Бабель.

Таким образом, в рассказе точно указаны три огнестрельных ранения, причем одно из них в ногу, как и было на самом деле, но изменены место боя и воинское звание противника: вместо села Старосельцы — Белая Церковь, вместо лейтенанта (в польской армии — поручик, porucznik) — генерал.

Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают.

— Забутый, — говорю я Спирьке, — мать твою и так, и этак, и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору, — ведь это штаб ихний уходит…

— Свободная вещь, что штаб, — говорит Спирька, — но только — нас двое, а их восемь…

— Дуй ветер, Спирька, — говорю, — все равно я им ризы испачкаю… Помрем за кислый огурец и мировую революцию…

И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, Спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов. [1]А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз, при цепке и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку.

---

[1] notes: 1.127

…ведет в штаб Духонина для проверки документов. — Духонин Николай Николаевич (1876–1917) — русский военачальник, генерал-лейтенант, исполнял обязанности Верховного главнокомандующего русской армией в ноябре 1917 г., был убит матросами в Могилеве 20 ноября (3 декабря) 1917 г. Выражение «отправить в штаб к Духонину» появилось во время Гражданской войны и означало «убить», «расстрелять».

«Ладно, — думаю, — будешь моя, раскинешь ноги...»

Нажал я колеса и вкладываю в коника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичек был жеребец, чистый большевичек. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Думал — живую Ленину свезу, ан не вышло. Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она, как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля.

«Иисусе, — думаю, — он, чего доброго, убьет меня нечаянным порядком...»

Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко.

— Даешь орден Красного Знамени! — кричу. — Сдавайся, ясновельможный, покуда я жив!..

— Не могу, пан, — отвечает старик, — ты зарежешь меня...

А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят.

— Вася, — кричит он мне, — страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь это генерал у те-

бя, на нем шитье, мне желательно его кончить.

— Иди к турку, — говорю я Забутому и серчаю, — мне шитье его крови стоит.

И кобылой моей загоняю я генерала в клуню, сено там было или так. Тишина там была, темнота, прохлада.

— Пан, — говорю, — утихомирь свою старость, сдайся мне за ради бога, и мы отдохнем с тобой, пан…

А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем.

— Не моге, — говорит, — ты зарежешь меня, только Буденному отдам я мою саблю…

Буденного ему подавай. Эх, горе ты мое! И вижу — пропадает старый.

— Пан, — кричу я и плачу и зубами скрегочу, — слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вон он — музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего… Нижний город на Волге-реке…

И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари, мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому, вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял воздух

и понес по старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание.

Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю.

— Веришь теперь Ваське-эксцентрику, третьей непобедимой кавбригады комиссару?..[2]

— Комиссар? — кричит он.

— Комиссар, — говорю я.

— Коммунист? — кричит он.

— Коммунист, — говорю я.

— В смертельный мой час, — кричит он, — в последнее мое воздыхание скажи мне, друг мой казак, — коммунист ты или врешь?

— Коммунист, — говорю.

Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает надвое саблю и зажигает две плошки в своих глазах, два фонаря над темной степью.

— Прости, — говорит, — не могу сдаться коммунисту, — и здоровается со мной за руку. — Прости, — говорит, — и руби меня по-солдатски...

Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал нам однажды на привале Конкин,

---

[2] notes: 1.128

...третьей непобедимой кавбригады комиссару?.. — Далее в тексте Конкин назван комиссаром N...ской кавбригады.

политический комиссар N…ской кавбригады и троекратный кавалер ордена Красного Знамени.

— И до чего же ты, Васька, с паном договорился?

— Договоришься ли с ним?.. Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и по сей час подо мной. А потом, вижу, каплет из меня все сильней, ужасный сон на меня нападает, сапоги мои полны крови, не до него…

— Облегчили, значит, старика?

— Был грех.

Берестечко*

*** comments: ***

Берестечко

Впервые: Кр. Н. 1924. № 3. С. 19–21, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Берестечко, август 1920». В книге датировки нет.

Рассказ основан на дневниковой записи от 7 августа:

«Памятный день. Утром из Хотина в Берестечко (…) Берестечко переходило несколько раз из рук в руки. Исторические поля под Берестечком, казачьи могилы. И вот главное, все повторяется — казаки против поляков, больше — хлоп против пана. — Местечко не забуду, дворы крытые, длинные, узкие, вонючие, всему этому 100–200 лет, население крепче, чем в других местах, главное — архитектура, белые водянисто-голубые домики, улички, синагоги, крестьянки. Жизнь едва-едва налаживается. Здесь было здорово жить — ценное еврейство, богатые хохлы, ярмарки по воскресеньям, особый класс русских мещан — кожевников, торговля с Австрией, контрабанда. — Евреи здесь менее фанатичны, более нарядны, ядрены, к(а)к будто даже веселее, старые старики, капоты, старушки, все дышит стариной, традицией (…) местечко насыщено кровавой историей еврейско-польского гетто. Ненависть к полякам единодушна (…)

Вечер в местечке. Костел закрыт. Перед вечером иду в замок графов Рациборов-ских. 70(-)летний старик и его мать 90 лет. Их было всего двое, сумасшедшие(,) говорят в народе. Описать эту пару. Графский, старинный польский дом, наверное б(олыпе) 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, остатки рогов, маленькие комнаты для дворецких вверх, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 г(ода), notre petit heros acheve 7 semaines. Боже, кто писал, когда писали, растоптанные письма, взял реликвии, столетие, мать — графиня — Рояль Стейнвей, парк, пруд. — Не могу отделаться — вспоминаю Гауптмана, Эльгу.

Митинг в парке замка, евреи Берестечка, тупой Винокуров, бегает детвора, выбирают Ревком…»

Берестечко упоминается также в рассказах «Афонька Вида» и «У святого Валента».



Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами. Бурка начдива Павличенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховый башлык его был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку.

Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого.[1] Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голосом спел про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко. Жители заложили ставни железными палками, и тишина, полновластная тишина взошла на местечковый свой трон.

Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем.[2] Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о Втором конгрессе Коминтерна.[3] Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной

---

[1] notes: 1.129

Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. — 18 (28) июня-30 июня (10 июля) 1651 г. произошло сражение между армией Речи Посполитой и казацко-крымским войском, во главе которого стояли Богдан Хмельницкий и крымский хан Ислям III Герай. Войска Хмельницкого потерпели поражение от поляков.

[2] notes: 1.130

Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. — Ср. с записью в дневнике от 8 августа: «Живу у содержательницы постоялого двора (…) рыжая тощая сволочь».

[3] notes: 1.131

На столбах висели объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о втором конгрессе Коминтерна. — Настоящая фамилия комиссара 6-й кавдивизии, сменившего в начале

августа на этом посту П. В. Бахтурова, Винокуров. 6 августа Бабель записал в дневнике: «Утром уезжает Бахтуров, за ним свита (…) слежу за работой нового военкома, тупой, но обтесавшийся московский рабочий…» О Втором конгрессе Коминтерна см. примеч. 7 к рассказу «Мой первый гусь».

бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.

— Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет. Это свободно…

И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по Берестечку. Больше всего здесь евреев, а на окраинах расселились русские мещане-кожевники. Они живут чисто, в белых домиках за зелеными ставнями. Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне.

Соседство трех племен, деятельных и деловитых, разбудило в них упрямое трудолюбие, свойственное иногда русскому человеку, когда он еще не обовшивел, не отчаялся и не упился.

Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на Волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой. Это

были контрабандисты, лучшие на границе, и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчики в капотиках все еще топтали вековую дорогую хасидскому хедеру[4], и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии.

Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сараи эти, неописуемо мрачные, заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений.

Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо

---

[4] notes: 1.132

Мальчики в капотиках все еще топтали вековую дорогу к хасидскому хедеру... — **Капот**, или капота — одежда наподобие халата. **Хедер** — начальная еврейская религиозная школа.

людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских, недавних владетелей Берестечка.

Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместье графов Рациборских — луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек.

В замке жила раньше помешанная девяностолетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и — мужики рассказывали мне — графиня била сына кучерским кнутом.

Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Виноградова и звон его шпор. Он говорил о Втором конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу, на затоптанном полу я нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем вылинявшими чернилами было написано:

«Berestetchko, 1820. Paul, mon bien aime, on dit que l'empereur Napoleon est mort, est-ce vrai? Moi, je me

sens bien, les couches ont ete faciles, notre petit heros acheve sept semaines…».[5]

Внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев:

— Вы — власть. Все, что здесь, — ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома…

[5] notes: 1.133

«Берестечко, 1820. Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполняется семь недель» *(фр.)*

Соль*

«Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредные. Надеются на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конешно, был, самогон-пиво пил, усы обмочил, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но как говорится в нашем простом быту, — господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели.

*** comments: ***

Соль

Впервые: *ОИ* (лит. — худ. приложение). 1923. 25 нояб. С. 1, под рубрикой «Из книги “Конармия”». Повторно: Леф. 1923. № 4. С. 73–75, под рубрикой «Из книги “Конармия”». Перепечатано из *ОИ* (лит. — худ. приложение): журнал «Бурав» (Николаев, 1924. № 8. С. 2–3, без окончания, обрывается на словах: «…а вы точите, точите, точите…»). Перепечатано из «Лефа» в старой орфографии: газета «Звено» (Париж, 1924. 1 дек., вместе с рассказом «Смерть Долгушова» и предисловием Мочульского «Два рассказа из книги “Конармия”»). Затем: Рассказы-1925(2). С. 95–99.

Машинопись с авторской правкой: РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 403. Л. 13–16.

Исправлена опечатка, допущенная в КА-1926: «…хотя тебе…» на «…хотя тебя…».

Рассказ «Соль» пользовался особой популярностью среди современников Бабеля. По воспоминаниям Вадима Андреева, сына Л.Н. Андреева, на одном из выступлений В. В. Маяковского в Берлине в начале сентября 1923 г. произошло следующее: «На сцене Маяковский был один и весь вечер (…) заполнил чтением своих стихов и разговорами с аудиторией, стараясь сломать неприязнь, что ему не всегда удавалось. Он начал свое выступление словами: “Прежде чем нападать на Советский Союз, надо вам послушать, как у нас пишут. Так вот — слушайте”, - и он превосходно прочел замечательный рассказ Бабеля “Соль”. Впечатление от этого рассказа было огромное» (цит. по: Катанян В. А. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. 5-е изд., доп. / Под ред. А.Е. Парниса. М., 1985. М.: Сов. писатель, 1985. С. 257). В повести «Алмазный мой венец» В.П. Катаев изложил свою версию: «Он (Бабель, у Катаева — конармеец. — Сост.) сразу же и первый среди нас прославился и был признан лучшим прозаиком не только правыми, но и левыми. “Леф” напечатал его рассказ “Соль”, и сам Командор (Маяковский. — Сост.) на своих поэтических вечерах читал этот рассказ наизусть и своим баритональным басом прославлял его автора перед аудиторией Политехнического музея, что воспринималось как высшая литературная почесть…» (Катаев В.П. Алмазный мой венец: Повести. М.: Сов. писатель, 1981. С. 210). Н.В. Резникова, помощница А.М. Ремизова, вспоминала: «В 1924 году Ремизову впервые попался перепечатанный в какой-то зарубежной газете рассказ Бабеля “Соль”. Для А.М. это было совсем новое и очень понравилось ему. Я помню, как в этот период мы пришли к Ремизовым вчетвером: моя мать, мои сестры и я. А.М. усадил нас на диван и прочел нам “Соль” с большим подъемом и пафосом, как героическую поэму. На нас это чтение произвело большое впечатление. По мнению А.М., тон рассказа требовал такого чтения» {Резникова Н.В. Огненная память: Воспоминания об Алексее Ремизове. СПб.: Пушкинский Дом, 2013. С. 124). Вырезку из газеты «Звено» от 1

декабря 1924 г., по которой он читал «Соль» собравшимся у него в тот вечер, Ремизов сохранил до конца жизни.

«Соль» — один из двух конармейских рассказов, написанных от лица Никиты Балмашева (второй — «Измена»).

В Гражданскую войну, когда в результате политики военного коммунизма в стране наступил голод, мешочники занимались мелкой торговлей продовольствием. Они передвигались, как правило, в товарных поездах, и зачастую возникали ситуации, подобные описанной в начале рассказа. Это зафиксировано в некоторых документах. Например, в фонде управления Первой конной армии имеется дело «О происшествиях и незаконных действиях лиц и частей армии» (РГВА. Ф. 245. Оп. 8. Д. 22), в котором упоминаются мешочники. В одном из документов говорится о приказе по Юго-Западному фронту № 117 от 14 июня 1920 г. о разрешении привлекать на железнодорожных станциях для очистки путей и дворов от нечистот «местную буржуазию, безбилетных, спекулянтов и мешочников» (л. 200). В телеграмме полевого штаба армии командарму Буденному от 14 ноября 1920 г. сообщалось о «буйстве» раненых конармейцев, в частности говорилось о том, что «24 сентября сего года на ст. Конотоп легко раненные красноармейцы 1 Конной Армии, следовавшие Санпоездом № 215/332, избили агента Черниговского Опродкомармап (…) и отобрали у Продотряда пулемет. Кроме того, легко раненными буденновцами того же числа сброшен с крыши вагона красноармеец первой роты 314 батальона, очищавший крышу от мешочников» (л. 228).

Была тихая, славная ночка семь дён тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не курит, и бойцы стали сомневаться, переговариваясь между собой, — в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Так же и в нашем вагоне второго взвода оказались налицо две

девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря:

— Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила?

— Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба. — И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите действительно при ней находится и какое будет ваше согласие — пускать ее или нет?

— Пускай ее, — кричат ребята, — опосля нас она и мужа не захочет!..

— Нет, — говорю я ребятам довольно вежливо, — кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были детями при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить…

И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И кажный, раскипятившись моей

правдой, подсаживает ее, говоря наперебой:

— Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дите, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка, видать, мало. Горя мы видели, женщина, и на действительной и на сверхсрочной, голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения…

И пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы.[1] И бойцы вспоминали кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят…

По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанщики заиграли зорю[2] на своих красных барабанах, тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и

---

[1] notes: 1.134

…звезды-каганцы… — **Каганец** — «плошка, жирник, лампадка, ночник» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб.; М., 1881. Т. 2. С. 71).

[2] notes: 1.135

…красные барабанщики заиграли зорю… — См. примеч. 8 к рассказу «Сашка Христос».

скучаю до последнего.

— Балмашев, — говорят мне казаки, — отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?

— Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов…

И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у нее с рук дите, и рву с него пеленки, и вижу по-за пеленками добрый пудовик соли.

— Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит…

— Простите, любезные казачки, — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, — не я обманула, лихо мое обмануло…

— Балмашев простит твоему лиху, — отвечаю я женщине, — Балмашеву оно немногого стоит, Балмашев за что купил, за то и продает. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без му-

жей, и те, тоже самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек… А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную, только и трогать. Оборотись на Расею, задавленную болью…

А она мне:

— Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете…[3]

— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя другого звания, за трудящийся класс.[4] Как присужденные каторжане вытягают они нас — Ленин и Троцкий — на вольную дорогу жизни,

---

[3] notes: 1.136

…жидов Ленина и Троцкого… — Еврейского происхождения был прадед Ленина по материнской линии Дмитрий (Мошко) Бланк. Подробно см.: Петровский-Штерн Й. Еврейский вопрос к Ленину / Авториз. пер. с англ. М.: Мосты культуры / Гешарим, 2012.

[4] notes: 1.137

…за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс. — На самом деле Троцкий происходил из семьи богатых землевладельцев-арендодателей из числа еврейских колонистов земледельческого хутора неподалеку от села Яновка Елисаветградского уезда Херсонской губернии. Ср. с отрывком из автобиографии Троцкого:

«Белые пытались (…) использовать в своей агитации внутри красной армии антисемитские мотивы, но успеха не имели. Об этом есть немало

свидетельств в самой белой печати. В издающемся в Берлине “Архиве русской революции” автор-белогвардеец рассказывает следующий красочный эпизод: “Заехавший к нам повидаться казак, кем-то умышленно уязвленный тем, что ныне служит и идет на бой под командой жида-Троцкого, горячо и убежденно возразил: “Ничего подобного!.. Троцкий не жид. Троцкий боевой!.. Наш… Русский… А вот Ленин, тот коммунист… жид, а Троцкий наш… боевой… Русский… Наш!”

Подобный же мотив можно найти у Бабеля, талантливейшего из наших молодых писателей, в его “Конармии”» (Троцкий Л. Д. Моя жизнь: Опыт автобиографии. Берлин: Гранит, 1930. Т. 2. С. 86).

а вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне… Его видать, того генерала, со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, несчетная гражданка[5], с вашими антиресными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают — вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите…

И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта.

И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики.

И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед

---

[5] notes: 1.138

…несчетная гражданка… — **Несчетный** — «неисчислимый, бесчисленный, несочтимый, бессчетный» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 538).

вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвой травой…

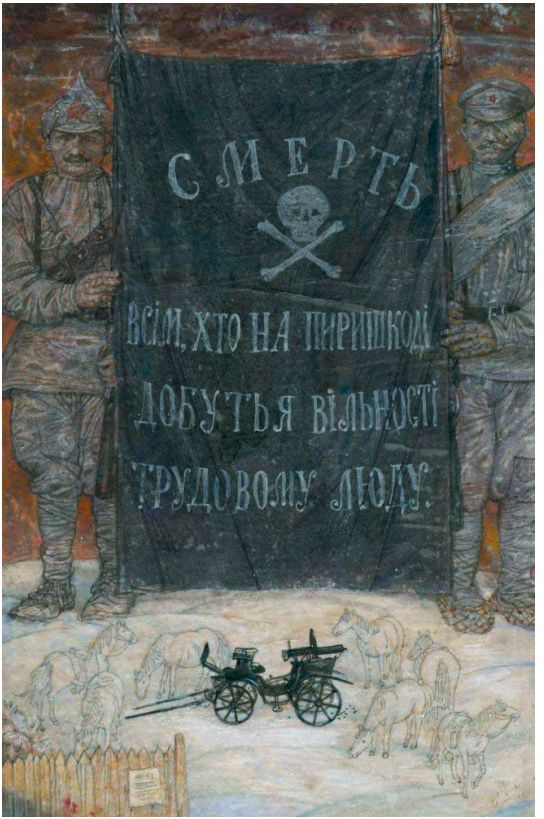
За всех бойцов второго взвода — Никита Балмашев, солдат революции».

Вечер*

*** comments: ***

Вечер

Впервые: Кр. Н. 1925. № 3. С. 127–128, под названием «Галин», под рубрикой «Из дневника»; авторская датировка: «Ковель, 1920».



О устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три

холостые сердца со страстями рязанских Иисусов ты обратил в сотрудников «Красного кавалериста», ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья.

Галин с бельмом, чахоточный Слинкин, Сычев с объеденными кишками — они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы.

Только к ночи бывает готова газета — динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца, огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда, к полуночи, из вагона выходил Галин для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине.

— В прошлый раз, — говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой, — в прошлый раз мы рассмотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским проле-

тариатом.[1] Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены.[2] Павла растерзали придворные и собственный сын.[3]Николай Палкин отравился[4], его сын пал первого марта[5], его внук умер от пьянства...[6] Об этом вам надо знать, Ирина...

И, подняв на прачку голый глаз, полный обожания, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый — он облит луной, торчащей там, наверху, как дерзкая заноза, типографские станки стучат от него где-то близко, и чистым светом сияет радиостанция. Притираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви, над ней в черных водорослях неба тащатся звезды, прачка дремлет,

---

[1] notes: 1.139

...расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. — Николай Кровавый — прозвище последнего российского императора Николая II (1868–1918), данное ему из-за гибели людей на Ходынском поле в Москве во время народного праздника по случаю его коронации 18 мая 1896 г.; вместе с семьей и слугами был расстрелян большевиками в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.

[2] notes: 1.140

Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены. — Император Петр III (1728–1762) был свергнут через полгода правления в результате дворцового переворота, открывшего путь к престолу его жене Екатерине II (1729–1796). Петр III убит в Ропше Алексеем Григорьевичем Орловым (1737–1808).

[3] notes: 1.141

Павла растерзали придворные и собственный сын. — Император Павел I (1754–1801), сын Петра III и Екатерины И, убит во время дворцового переворота 11 марта 1801 г. Его старший сын, следующий российский император Александр I (1777–1825), видимо, догадывался о готовившемся заговоре, но его непосредственное участие в заговоре не подтверждено.

[4] notes: 1.142

Николай Палкин отравился… — Прозвище императора Николая I (1796–1855), полученное за существовавшие при нем жестокие телесные наказания в армии; версия о его самоубийстве из-за поражения в Крымской войне, скорее всего, легенда.

[5] notes: 1.143

…его сын пал 1-го марта… — Император Александр II (1818–1881) был убит народовольцами 1 марта (по старому стилю) 1881 г.

[6] notes: 1.144

…его внук умер от пьянства… — Речь идет об императоре Александре III (1845–1894), слухи о его злоупотреблении алкоголем научно не подкреплены.

крестит запухший рот и смотрит на Галина во все глаза…

Рядом с Ириной зевает мордатый Василий, пренебрегающий человечеством, как и все повара. Повара — они имеют много дела с мясом мертвых животных и с жадностью живых, поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий. Подтягивая штаны к соскам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей[7], о приданом для царской дочери и потом говорит, зевая.

— Ночное время, Ариша, — говорит он. — И завтра у людей день. Айда блох давить…

И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там, вверху, как дерзкая заноза… Против луны, на откосе, у заснувшего пруда, сидел я в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами. Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах.

— Галин, — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии…

---

[7] notes: 1.145

…о цивильном листе разных королей… — **Цивильный лист** — в монархиях часть государственного бюджета, которая предоставляется в личное распоряжение монарха.

— Вы слюнтяй, — ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи. — Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев… Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку.

Он придвинулся ко мне ближе, поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших печалях, легкий ветер обвевал нас, как юбка матери, и травы внизу блестели свежестью и влагой.

Машины, гремевшие в поездной типографии, заскрипели и умолкли, рассвет провел черту у края земли, дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем.[8]

---

[8] notes: 1.146

…дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия… — Ср. с дневниковой записью от 3 июля: «Кухня в поезде, толстые солдаты с налитыми кровью лицами, сырые туши, удушливый зной в кухне, каша, полдень, пот, прачки толстоногие, апатичные бабы-станки — описать солдат и баб, толстых, сытых, сонных. — Любовь на кухне».

— Василек, — прошептала баба тесным, замирающим голосом, — уйдите с моей лежанки, баламут…

Но Василий только дернул пяткой и придвинулся ближе.

— Конармия, — сказал мне тогда Галин, — Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками[9], но ЦК, маневрируя, продерет их железною щеткой…

И Галин заговорил о политическом воспитании Первой Конной. Он говорил долго, глухо, с полной ясностью. Веко его билось над бельмом.

---

[9] notes: 1.147

…Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками… — Ср. с дневниковой записью от 21 августа: «Разговор с комартдивизионом Максимовым, наша армия идет зарабатывать, не революция, а восстание дикой вольницы. — Это просто средство, которым не брезгует партия». См. также примеч. 10 к рассказу «Мой первый гусь».

Афонька Бида*

*** comments: ***

Афонька Бида

Впервые: *ОИ*. 1924. 2 марта. С. 4, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Берестечко, август 1920». Одновременно: Кр. Н. 1924. № 1. С. 60–64, под рубрикой «Из книги “Конармия”». В журнале и в книге датировки нет.

Исправлена опечатка, допущенная в Кр. Я, КА-1926, КА-1927: «…вел за начдивом заводную кобылицу» на «…вел за начдивом заводскую кобылицу». Ср., однако, с дневниковой записью от 23–24 августа: «Галицийские дороги, нескончаемые обозы, заводные лошади…». В дневнике это слово употреблено в переносном значении. Также исправлена опечатка, допущенная в КА-1926, КА-1927 и КА-1928: «…по Бродскому шляхту…» на «…по Бродскому шляху…».

Имени Афоньки Биды нет в дневнике, в «Планах и набросках к “Конармии”» это имя встречается один раз: «Рев(олюционная) глава. — Аф(онька) Бида» ((36)).



Мы дрались под Лешнювом. Стена неприятельской кавалерии появлялась всюду. Пружина окрепшей польской стратегии вытягивалась со зловещим свистом. Нас теснили. Впервые за всю кампанию мы испытали на своей спине дьявольскую остроту фланговых ударов и прорывов тыла — укусы того самого оружия, которое так счастливо служило нам.

Фронт под Лешнювом держала пехота.[1] Вдоль криво накопанных ямок склонялось белесое, босое, волынское мужичье. Пехоту эту взяли вчера от сохи для того, чтобы образовать при Конармии пехотный резерв. Крестьяне пошли с охотою. Они дрались с величайшей старательностью. Их сопящая мужицкая свирепость изумила даже буденновцев. Ненависть их к польскому помещику была построена из невидного, но добротного материала.

Во второй период войны, когда гиканье перестало действовать на воображение неприятеля и конные атаки на окопавшегося противника сделались невозможными, — эта самодельная пехота принесла бы Конармии величайшую пользу. Но нищета наша превозмогла. Мужикам дали по одному ружью на троих и патроны, которые не подходили к винтовкам. Затею пришлось оставить, и подлинное это народное ополчение распустили по домам.

---

[1] notes: 1.148

Фронт под Лешнювом держала пехота. — Село Лешнюв (Лешнев) неоднократно упоминается в дневнике в двадцатых числах июля и в начале августа. 1 августа Бабель записал: «Бой под Лешнювым. Наша пешка в окопах, это замечательно, Волынские босые, полуидиотические парни — русская деревня, и они действительно сражаются против поляков, против притеснявших панов (...) Нет ружей, патроны не подходят, эти мальчики слоняются по облитым зноем окопам, их перемещают с одной опушки на другую».

Теперь обратимся к лешнювским боям. Пешка окопалась в трех верстах от местечка. Впереди их фронта расхаживал сутулый юноша в очках. Сбоку у него волочилась сабля. Он передвигался вприпрыжку, с недовольным видом, как будто ему жали сапоги. Этот мужицкий атаман, выбранный ими и любимый, был еврей, подслеповатый еврейский юноша, с чахлым и сосредоточенным лицом талмудиста.[2] В бою он выказывал осмотрительное мужество и хладнокровие, которое походило на рассеянность мечтателя.

Шел третий час июльского просторного дня. В воздухе сияла радужная паутина зноя. За холмами сверкнула праздничная полоса мундиров и гривы лошадей, заплетенные лентами. Юноша дал знак приготовиться. Мужики, шлепая лаптями, побежали по местам и взяли на изготовку. Но тревога оказалась ложной. На лешнювское шос-

[2] notes: 1.149

…подслеповатый еврейский юноша, с чахлым и сосредоточенным лицом талмудиста. — Ср. с описанием Ильи Брацлавского в рассказе «Рабби»: «И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини».

се выходили цветистые эскадроны Маслака.[3] Их отощавшие, но бодрые кони шли крупным шагом. На золоченых древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались пышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью. Лохматая пешка вылезла из своих ям и, разинув рты, следила за упругим изяществом этого небыстрого потока.

Впереди полка, на степной раскоряченной лошаденке ехал комбриг Маслак, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованной серебром. Завидев пешку, Маслак весело побагровел и поманил к себе взводного Афоньку Биду. Взводный носил у нас прозвище «Махно» за сходство свое с батьком. Они пошептались с минуту — командир и Афонька. Потом взводный обернулся к первому эскадрону, наклонился и

---

[3] notes: 1.150

…цветистые эскадроны Маслака. — Маслаков Григорий Савельевич (1877–1921), крестьянин Ставропольской губернии; в царской армии служил артиллеристом. С 1919 г. в Первой конной армии; в начале 1920 г. командовал 11-й кавалерийской дивизией. В ноябре 1920 г. Маслаков стал начдивом 4-й кавдивизии. Однако уже через месяц за проявление недовольства и непокорность был понижен до комбрига и командовал 1-й бригадой 4-й дивизии. В феврале 1921 г. провозгласил себя партизаном и сторонником Махно и перешел к нему с частью своей бригады.

скомандовал негромко: «Повод!» Казаки повзводно перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых глазела обрадованная зрелищем пешка.

— К бою готовьсь! — продел заунывный и как бы отдаленный Афонькин голос.

Маслак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал в сторону, казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно.[4] Казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки.

— Зачем балуетесь? — крикнул я Афоньке.

— Для смеху, — ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося парня.

— Для смеху! — прокричал он, ковыряясь в обеспамятевшем парне.

Потеха кончилась, когда Маслак, размякший и величавый, махнул своей пухлой рукой.

— Пешка, не зевай! — прокричал Афонька и надменно выпрямил тщедушное тело. — Пошла

---

[4] notes: 1.151

Бедная пешка побежала, но поздно. — Случаи издевательства над пехотой со стороны кавалерии имели место в Конармии. Например, в рапорте командира 2-го батальона 130-го полка 44-й стрелковой дивизии говорится о том, что «стоящие в Мельникове кавалеристы 1-й Конной армии напиваются пьяными, обнажают шашки и собираются рубить пехоту, что повторяется довольно часто» (РГВА. Ф. 245. Оп. 8. Д. 22. Л. 254).

блох ловить, пешка…

Казаки, пересмеиваясь, съезжались в ряды. Пешки след простыл. Окопы были пусты. И только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно.

Со стороны Лешнюва не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокль были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и проваливались, как ваньки-встаньки. Маслак построил эскадрон и рассыпал его по обе стороны шоссе. Над Лешнювом встало блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел в металлическую дудку. И пешка, высеченная пешка, возвращалась на свои места.

Пули густо летели в нашу сторону. Штаб бригады попал в полосу пулеметного обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону шоссе. Расстрелянные ветви кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов — казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию начдива они отходили к Бродам, Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами,

да отставший Афонька догонял свой взвод.

Он ехал по самой обочине дороги, оглядывая и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновение ослабла. Казак вздумал воспользоваться передышкой и двинулся карьером. В это мгновение пуля пробила шею его лошади. Афонька проехал еще шагов сто, и здесь, в наших рядах, конь круто согнул передние ноги и повалился на землю.

Афонька не спеша вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране медным пальцем. Потом Бида выпрямился и обвел блестящий горизонт томительным взглядом.

— Прощай, Степан, — сказал он деревянным голосом, отступив от издыхающего животного, и поклонился ему в пояс, — как ворочуся без тебя в тихую станицу?.. Куда подеваю с-под тебя расшитое седелко? Прощай, Степан, — повторил он сильнее, задохся, пискнул, как пойманная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви. — Ну, не покорюсь же судьбе-шкуре, — закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица, — ну, беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду, до вздоха ейного и богоматериной крови… При станичниках, дорогих братьях, обе-

щаюся тебе, Степан…

Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий глубокий фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипение. Он в нежном забытьи поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его груди, выложенной белыми мускулами.

Афонька лежал, не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел Маслак, вставил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к Маслаку рябое лицо.

— Сбирай сбрую, Афанасий, — сказал Маслак ласково, — иди до части…

И мы с пригорка увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону, беспредельно одинокий в пыльной, пылающей пустыне полей.

Поздним вечером я встретил его в обозе. Он спал на возу, хранившем его добро — сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась, как распятая, на сгибе седла. Рядом была положена сбруя убитой лошади, затейливая и вычурная одежда казацкого скакуна

— нагрудники с черными кистями, гибкие ремни нахвостников, унизанные цветными камнями, и уздечка с серебряным тиснением.

Тьма надвигалась на нас все гуще. Обоз тягуче кружился по Бродскому шляху; простенькие звезды катились по млечным путям неба, и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощник эскадронного Орлов и длинноусый Биценко сидели тут же, на Афонькином возу, и обсуждали Афонькино горе.

— С дому коня ведет, — сказал длинноусый Биценко, — такого коня, где его найдешь?

— Конь — он друг, — ответил Орлов.

— Конь — он отец, — вздохнул Биценко, — бесчисленно раз жизню спасает. Пропасть Биде без коня…

А наутро Афонька исчез. Начались и кончились бои под Бродами. Поражение сменилось временной победой, мы пережили смену начдива, а Афоньки все не было. И только грозный ропот на деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам трудный его путь.

— Добывает коня, — говорили о взводном в эскадроне, и в необозримые вечера наших скитаний я немало наслушался историй о глухой этой, свирепой добыче.

Бойцы из других частей натыкались на Афоньку в десятках верст от нашего расположения. Он сидел в засаде на отставших польских кавалеристов или рыскал по лесам, отыскивая схороненные крестьянские табуны. Он поджигал деревни и расстреливал польских старост за укрывательство. До нашего слуха доносились отголоски этого яростного единоборства, отголоски воровского нападения одинокого волка на громаду.

Прошла еще неделя. Горькая злоба дня выжгла из нашего обихода рассказы о мрачном Афонькином удальстве, и «Махно» стали забывать. Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи галицийские крестьяне. И в день вступления нашего в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к начдиву выпрашивать Афонькино седло с желтым потником. Емельян хотел выехать на парад с новым седлом, но не пришлось ему.

Мы вступили в Берестечко 6 августа.[5] Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового начдива.[6] Левка, бешеный холуй, вел за начдивом заводскую кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и судорожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временами, дышала на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных сумрачных избах. Один только пан Людомирский, звонарь в зеленом сюртуке, встретил нас у костела.

Мы перешли реку и углубились в мещанскую слободу. Мы приближались к дому ксендза, когда из-за поворота на рослом жеребце выехал

---

[5] notes: 1.152

Мы вступили в Берестечко 6 августа. — В публикации рассказа в одесских «Известиях» днем вступления в Берестечко названо 8 августа. Ср. с записью в дневнике, помеченной 7 августа: «Теперь вечер 8(-го) (…) Памятный день. Утром-из Хотина в Берестечко (…) Берестечко переходило несколько раз из рук в руки». В оперативной сводке по Юго-Западному фронту от 6 августа сообщалось: «В Бродском районе наша конница, разбив противника в районе 12–20 верстах (sic!) северо-восточнее Броды и захватив богатые трофеи, выдвинулась в районе местечка Лешнюв, достигнув передовыми частями местечка Берестечко» (Правда. 1920. 7 авг. С. 1).

[6] notes: 1.153

…азиатский бешмет и красный казакин нового начдива. — **Бешмет** — распашной, обычно стеганый полукафтан с глухой застежкой, плотно облегающий грудь и талию, доходящий, как правило, до колен,

с невысоким воротником-стойкой и рукавами из парчи и бархата. Надевался на рубаху и под халат, хотя в быту мог носиться самостоятельно. Бешмет утвержденного по цвету и покрою образца входил в состав форменной одежды всех казачьих войск; во внеслужебное время казаки могли носить бешметы любого цвета и материала. Бешметы использовались как в качестве уличной, так и домашней одежды. **Казакин** — верхняя распашная одежда, разновидность короткого кафтана с широкой баской, невысоким стоячим прямым воротником, застегивался на крючки.

Афонька.

— Почтение, — произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в рядах свое место.

Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел, не оборачиваясь:

— Откуда коня взял?

— Собственный, — ответил Афонька, свернул папиросу и коротким движением языка заслюнил ее.

Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице отвратительно зияла чудовищная розовая опухоль.

А на другое утро Бида гулял. Он разбил в костеле раку святого Валента и пытался играть на органе. На нем была выкроенная из голубого ковра куртка с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего глаза.

После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов Рациборских. Казаки полукругом стояли вокруг него… Они задирали жеребцу хвост, щупали ноги и считали зубы.

— Фигуральный конь, — сказал Орлов, помощник эскадронного.

— Лошадь справная, — подтвердил длинно-

усый Биценко.

У святого Валента*

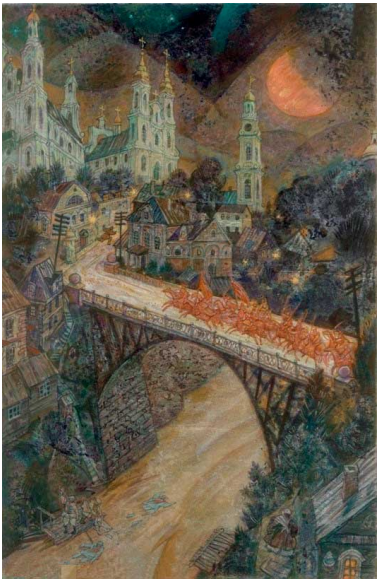
*** comments: ***

У святого Валента

Впервые: Кр. Н. 1924. № 3. С. 13–16, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Берестечко, август 1920».

Святой Валентин (Валент, Уалент) — один из самых загадочных святых в истории христианства. Речь может идти о римском священнике, обезглавленном около 269 г., или о епископе Интерамны (современной Терни), который был известен чудесными исцелениями и казнен за обращение в христианство сына градоначальника.

В основе рассказа — дневниковая запись от 7 августа: «Древний костел, могилы польских офицеров в ограде, свежие холмы, давность — 10 дней, белые березовые кресты, все это ужасно, дом ксендза уничтожен, я нахожу старинные книги, драгоценнейшие рукописи латинские. Ксендз Тузинкевич — я нахожу его карточку, толстый и короткий, трудился здесь 45 лет, жил на одном месте, схоластик, подбор книг, много латыни, издания 1860 г(ода), вот когда жил Тузинкевич, квартира старинная, огромная, темные картины, снимки со съездов прелатов в Житомире, портреты папы Пия X, хорошее лицо, изумительный портрет Сенкевича — вот он экстракт нации (…) К(а)к это ново для меня — книги, душа католического патера, иезуита, я ловлю душу и сердце Тузинкевича и я ее поймал (…) Ужасное событие — разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны, на полу, сестра милосердия утащила три тюка, рвут подкладку, свечи забраны, ящики выломаны, буллы выкинуты, деньги забраны, великолепный храм — 200 лет, что он видел (рукописи Тузинкевича), сколько графов и хлопов, великолепная ит(альянская) живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а м(ожет) б(ыть) Мурильо, и главное — эти святые упитанные иезуиты, фигурка китайская жуткая за покрывалом, в малиновом кунтуше (…) бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура св(ятого) Валента. Служитель трепещет, к(а)к птица, корчится; мешает русскую речь с польской, мне нельзя прикоснуться, рыдает. Зверье, они пришли, чтобы грабить, это так ясно, разрушаются старые боги».



Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме ксендза Тузинкевича. Переодевшись бабой, Тузинкевич бежал из Берестечка перед вступлением наших войск. О нем я знаю, что он сорок пять лет возился с богом в Берестечке и был хорошим ксендзом. Когда жители хотят, чтобы мы это поняли, они говорят: его любили евреи. При Тузинкевиче об-

новили древний костел. Ремонт кончили в день трехсотлетия храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прелаты[1] в шелковых рясах служили перед костелом молебен. Пузатые и благостные — они стояли, как колокола в росистой траве. Из окрестных сел текли покорные реки. Мужичье преклоняло колени, целовало руки, и на небесах в тот же день пламенели невиданные облака. Небесные флаги веяли в честь старого костела. Сам епископ поцеловал Тузинкевича в лоб и назвал его отцом Берестечка, pater Berestecka.

Эту историю я узнал утром в штабе, где разбирал донесение обходной колонны нашей, ведшей разведку на Львов в районе Радзихова.[2] Я читал бумаги, храп вестовых за моей спиной говорил о нескончаемой нашей бездомности. Писаря, отсыревшие от бессонницы, писали приказы по дивизии, ели огурцы и чихали. Только к полудню

---

[1] notes: 1.154

Прелат — общий исторический термин для лиц, занимавших высокие должности в Римской католической церкви: кардиналы, архиепископы, епископы и др.

[2] notes: 1.155

…разбирал донесение обходной колонны нашей, ведшей разведку на Львов в районе Радзихова. — Ср. с дневниковой записью, сделанной в Берестечке 8 августа: «Ведем разведку на Львов (…) Бой у Радзихова, Апанасенко ведет себя молодцом — мгновенная распланировка войск, чуть не расстрелял отступившую 14(-ю) дивизию. Приближаемся к Радзихову».

я освободился, подошел к окну и увидел храм Берестечка — могущественный и белый. Он светился в нежарком солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глянцевитых боках. Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко сбегала книзу. Розовые жилы тлели в белом камне фронтона, а на вершине были колонны, тонкие, как свечи.

Потом пение органа поразило мой слух, и тотчас же в дверях штаба появилась старуха с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как собака с перебитой лапой, кружась и припадая к земле. Зрачки ее были налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки органа, то тягостные, то поспешные, подплывали к нам. Полет их был труден, след звенел жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами, села на землю и стала целовать сапоги мои у колена. Орган умолк и потом захохотал на басовых нотах. Я схватил старуху за руку и оглянулся. Писаря стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей, шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костел встал перед нами ослепительный,

как декорация. Боковые ворота его были раскрыты, и на могилах польских офицеров валялись конские черепа.

Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную комнату, пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, сестра 31-го полка. Она копалась в шелках, брошенных кем-то на пол.[3] Мертвенный аромат парчи, рассыпавшихся цветов, душистого тления лился в ее трепещущие ноздри, щекоча и отравляя. Потом в комнату вошли казаки. Они захохотали, схватили Сашку за руку и кинули с размаху на гору материй и книг. Тело Сашки, цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось, поднявшиеся юбки открыли ее ноги эскадронной дамы, чугунные стройные ноги, и Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в седле, притворился объятым страстью. Она сбросила

---

[3] notes: 1.156

Там хозяйничала Сашка, сестра 31-го полка. Она копалась в шелках, брошенных кем-то на пол. — Ср. с фрагментом дневниковой записи от 18 августа: «О женщинах в Конармии можно написать том. Эскадроны в бой, пыль, грохот, обнаженные шашки, неистовая ругань, они с задравшимися юбками скачут впереди, пыльные, толстогрудые, все бл(яди), но товарищи, и бл(яди,) п(отому) ч(то) товарищи, это самое важное, обслуживают всем(,) чем могут, героини, и тут же презрение к ним, поят коней (…) тащут сено, чинят сбрую, крадут в костелах вещи и у населения».

его и кинулась к дверям. И только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел.

Он был полон света, этот костел, полон танцующих лучей, воздушных столбов, какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у правого придела и написанную Аполеком? На этой картине двенадцать розовых патеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Иисуса. Пальцы ног его оттопырены, тело отлакировано утренним жарким потом. Дитя барахтается на жирной спинке, собранной в складки, двенадцать апостолов в кардинальских тиарах[4] склонились над колыбелью. Их лица выбриты до синевы, пламенные плащи оттопыриваются на животах. Глаза апостолов сверкают мудростью, решимостью, весельем, в углах их ртов бродит тонкая усмешка, на двойные подбородки посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как редиска в мае.

В этом храме Берестечка была своя, была обольстительная точка зрения на смертные страдания сынов человеческих. В этом храме святые шли на казнь с картинностью итальянских пев-

[4] notes: 1.157

...в кардинальских тиарах... — Головной убор тиара (тройная корона) являлся принадлежностью облачения папы римского.

цов и черные волосы палачей лоснились, как борода Олоферна.[5] Тут же над царскими вратами я увидел кощунственное изображение Иоанна, принадлежащего еретической и упоительной кисти Аполека. На изображении этом Креститель был красив той двусмысленной, недоговоренной красотой, ради которой наложницы королей теряют свою наполовину потерянную честь и расцветающую жизнь.

Вначале я не заметил следов разрушения в храме, или они показались мне невелики. Была сломана только рака святого Валента. Куски истлевшей ваты валялись под ней и смехотворные кости святого, похожие больше всего на кости курицы. Да Афонька Бида играл еще на органе. Он был пьян, Афонька, дик и изрублен. Только вчера вернулся он к нам с отбитым у мужиков конем. Афонька упрямо пытался подобрать на органе

---

[5] notes: 1.158

В этом храме святые шли на казнь с картинностью итальянских певцов, и черные волосы палачей лоснились, как борода Олоферна. — **Олоферн** — библейский персонаж, согласно Книге Юдифи, полководец ассирийского царя Навуходоносора, вторгшийся в Иудею и обезглавленный прославившейся своим благочестием, знатной, богатой и красивой вдовой Юдифью, спасшей тем самым свой родной город Ветилую. В 1863 г. на этот библейский сюжет композитор А. Н. Серов написал оперу «Юдифь». Роль Олоферна позднее исполнял Ф. И. Шаляпин. В 1908 г. Шаляпин в этой роли запечатлен на холсте А. Я. Головина; на этом портрете выделяется черная борода. Оперу «Юдифь» с Шаляпиным Бабель упоминает в рассказе «Гюи де Мопассан» (1932).

марш, и кто-то уговаривал его сонным голосом: «Брось, Афоня, идем снедать». Но казак не бросал: их было множество — Афонькиных песен. Каждый звук был песня, и все звуки были оторваны друг от друга. Песня — ее густой напев — длилась мгновение и переходила в другую… Я слушал, озирался, следы разрушения казались мне невелики. Но не так думал пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента и муж слепой старухи.

Людомирский выполз неизвестно откуда. Он вошел в костел ровным шагом с опущенной головой. Старик не решился накинуть покрывала на выброшенные мощи, потому что человеку простого звания не дозволено касаться святыни. Звонарь упал на голубые плиты пола, поднял голову, и синий нос его стал над ним, как флаг над мертвецом. Синий нос трепетал над ним, и в это мгновение у алтаря заколебалась бархатная завеса и, трепеща, отползла в сторону. В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, изборожденного тучами, бежала бородатая фигурка в оранжевом кунтуше[6] — босая, с разодранным и кровоточащим ртом. Хриплый вой разорвал тогда наш слух. Человека в оранжевом кунтуше

---

[6] notes: 1.159

Кунтуш — род верхней мужской одежды, со шнурами и откидными рукавами; польский мужской кафтан.

преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесенный удар, из руки пурпурным током вылилась кровь. Казачонок, стоявший со мной рядом, закричал и, опустив голову, бросился бежать, хотя бежать было не от чего, потому что фигура в нише была всего только Иисус Христос — самое необыкновенное изображение бога из всех виденных мною в жизни.

Спаситель пана Людомирского был курчавый еврей с клочковатой бородкой и низким, сморщенным лбом. Впалые щеки его были накрашены кармином, над закрывшимися от боли глазами выгнулись тонкие рыжие брови.

Рот его был разодран, как губа лошади, польский кунтуш его был охвачен драгоценным поясом, и под кафтаном корчились фарфоровые ножки, накрашенные, босые, изрезанные серебристыми гвоздями.

Пан Людомирский в зеленом сюртуке стоял под статуей. Он простер над нами иссохшую руку и проклял нас. Казаки выпучили глаза и развесили соломенные чубы. Громовым голосом звонарь церкви святого Валента предал нас анафеме на чистейшей латыни. Потом он отвернулся, упал на колени и обнял ноги спасителя.

Придя к себе в штаб, я написал рапорт начальнику дивизии об оскорблении религиозного чувства местного населения. Костел было приказано закрыть, а виновных, подвергнув дисциплинарному взысканию, предать суду военного трибунала.

Эскадронный Трунов*

*** comments: ***

Эскадронный Трунов

Впервые: Кр. Н. 1925. № 2. С. 3–8, с подзаголовком «Из книги “Конармия”». Одновременно: Шк. 1925. № 13. С. 4–6. Затем: ЛК. С. 27–36.

13 августа 1920 г. в «Красном кавалеристе» за подписью: «Военный корреспондент 6-й кавдивизии К. Лютов» была напечатана статья-некролог «Побольше таких Труновых!» — о подвиге Константина Архиповича Трунова. Однако герой рассказа «Эскадронный Трунов» не имеет ничего общего с К. А. Труновым, которому посвящена эта статья. Реальный Трунов был командиром полка, а не эскадрона, похоронен он в Дубно, а не в Сокале; изменены также место и обстоятельства гибели (см. примеч. к статье «Побольше таких Труновых!»).

В рассказе использованы дневниковая запись от 30 августа (см. примем, к рассказу «Их было девять») и несколько набросков:

«(25) Сокаль. 1.

На площади перед синагогой. Споры евреев. Козаки роют могилу. Труп Трунова. Тимошенко. Аэроплан (?) — Евреев разогнал аэроплан, тогда я подошел к Тим(ошенко) (…)

Порядок: Евреи. Аэроплан. Могила. Тимошенко. Письмо. Похороны Трунова, салют.

Ортодоксы, раввин из Белза (…)

Религиозное побоище, можно бы подумать(,) восемнадцатый век, Илья-Гаон, Ба-ал-Шем, если бы козаки (описание) не рыли могилы. — Униатский поп, нога дугой. — Униатский поп, потрава, потрава, говорю я, есть дела поважнее, сейчас аэроплан, точка вдали, козаки — и выходить не надо будет (…)

(26) Сокаль 2.

Убирайтесь к свиньям с вашей потравой, тут дела поважнее есть. — Тело Трунова с приставленными ногами, начищенные сапоги. — Голова на седле, стремена вокруг груди, — Проиграл я тебя, Пава, — Очень просто, фактическое изложение, без излишних описаний. — Стать смирно. Хороним Павла Трунова. Военком, скажи слово. И военком произнес речь о власти советов, о конституции СССР и о блокаде. — Прошедшее время.

Помню, сказал Тимош(енко), вот бы он теперь пригодился. — Хороним Павла Трунова, всемирного героя. — Военком, помяни героя перед

бойцами.

(27) Смерть Трунова.

И я поверил бы в воскресенье Илии, если бы не аэроплан, который заплывал и т. д. Он бросал с мягким шумом бомбы, артиллер(ийские) запряжки (…) Ясно-и пошел оправлять убитого. Седло, стремя, оркестры и делегации от полков.

Хороним Трунова, всемирного героя, слово для выражения имеет военком».

Слова о Конституции СССР из наброска (26), по мнению Э.И. Когана, свидетельствуют о более позднем времени написания рассказа: Советский Союз был создан в декабре 1922 г., а его Конституция принята в январе 1924-го. Этот набросок, полагает исследователь, должен был быть написан через некоторое время после принятия Конституции, когда «событие утеряло конкретный смысл и выродилось в голый идеологический знак, который автор ошибочно вкладывает в уста комиссара Гражданской войны» (Коган Э.И. Работа над «Конармией» в свете полной версии «Планов и набросков» // Литературное обозрение. 1995. № 1. С. 88). Л. Я. Лившиц полагал, что работа над рассказом шла летом 1923 г., когда «вопрос о Конституции СССР был животрепещущим и популярным в общественной и политической жизни страны» (Лившиц Л. Я. Материалы к творческой биографии Исаака Бабеля // Вопросы литературы. 1964. № 4. С. 122). Вайскопф считает, что подразумевалась Конституция РСФСР, принятая в июле 1918 г. (см.: Вайскопф М.Я. Между огненных стен. С. 249). Однако аббревиатура «СССР» могла быть употреблена не ранее конца декабря 1922 г., а скорее не ранее начала января 1923 г. Сюжетная и текстуальная перекличка «Эскадронного Трунова» с новеллой «Их было девять», датированной августом 1923 г., также позволяет говорить о том, что первоначальная работа над рассказом «Эскадронный Трунов» шла в 1923 г.

О расстреле пленных, которому посвящен эпизод в рассказе «Эскадронный Трунов», говорится и в наброске «Их было девять».



В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, эскадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами. Все попадания у Трунова были в лицо, щеки его были усеяны ранами, язык вырван. Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца для того, чтобы вид его был менее ужасен, мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли

Трунову могилу[1] на торжественном месте — в общественном саду, посреди города, у самого забора. Туда явился наш эскадрон на конях, штаб полка и военком дивизии. И в два часа, по соборным часам, дряхлая наша пушчонка дала первый выстрел. Она салютовала мертвому командиру во все старые свои три дюйма, она сделала полный салют, и мы поднесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное чистое солнце освещало длинный труп, и рот его, набитый разломанными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на ученье.

— Бойцы! — сказал тогда, глядя на покойника, Пугачев, командир полка, и стал у края ямы. — Бойцы! — сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам. — Хороним Пашу Трунова, всемирного героя, отдаем Паше последнюю честь…

И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачев прокричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной, о гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пугачев громко прокричал свою речь, он сжимал

---

[1] notes: 1.160

…мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу… — Вайскопф отметил, что фамилия Трунов происходит от слова «труна», а по-украински «труну» и означает гроб (см.: Вайскопф М. Я. Между огненных стен. С. 193).

рукоять кривой чеченской шашки и рыл землю ободранными сапогами в серебряных шпорах. Оркестр после его речи сыграл «Интернационал», и казаки простились с Пашкой Труновым. Весь эскадрон вскочил на коней и дал залп в воздух, трехдюймовка наша прошамкала во второй раз, и мы послали трех казаков за венком. Они помчались, стреляя на карьере, выпадая из седел и джигитуя, и привезли краевых цветов целые пригоршни. Пугачев рассыпал эти цветы у могилы, и мы стали подходить к Трунову с последним целованием. Я тронул губами прояснившийся лоб, обложенный седлом, и ушел в город, в готический Сокаль, лежавший в синей пыли и галицийском унынии.

Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бранились

на этой площади и таскали друг друга.[2] Одни из них — ортодоксы — превозносили учение Адасии, раввина из Белза;[3] за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гуссятинского раввина Иуды.[4] Евреи спорили о Каббале[5] и поминали в своих спорах имя Ильи, виленского гаона, гонителя хасидов…[6]

Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Ильи, виленского первосвященника[7], и я, томясь печалью по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как Дон-Кихот.

Галичанин этот был одет в белую холщовую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребений или для причастия и вел на веревке взлохма-

---

[2] notes: 1.161

Евреи в рваных лапсердаках бранились на этой площади и в непонятном ослеплении таскали друг друга. — О религиозных спорах есть дневниковая запись от 26 августа: «Осмотр города с молодым сионистом. Синагоги — хасидская, потрясающее зрелище, 300 лет т(ому) н(азад), бледные красивые мальчики с пейсами, синагога, что была 200 лет т(ому) назад, те же фигурки в капотах, двигаются, размахивают руками, воют. Это партия ортодоксов — они за Белзского раввина, знаменитый Белзский раввин, удравший в (…) Вену. Умеренные за Гусятинского раввина. Их синагога. Красота алтаря, сделанного каким-то ремесленником, великолепие зеленоватых люстр, изъеденные столики, Белзская синагога — видение старины».

[3] notes: 1.162

Одни из них — ортодоксы, превозносили учение Адасии, раввина из Белза… — Зихер в примечании к этому фрагменту в трехтомнике

Бабеля на иврите указывает на неточность, допущенную автором: «Адасия» означает не имя, а слово «религия» на иврите (ha-дат), но в ашкеназийском произношении (ha-дас); под «учением Адасии» следует понимать махзекей ha-dam, крупное движение ультрарелигиозных евреев в Восточной Европе, которое отождествлялось с лагерем ортодоксов внутри хасидизма. Белзским раввином в те годы был Иссахар-Дов Рокеах (1851 или 1852–1926) (см.: Бабель И. Э. Кол гактавим (Собр. соч.): В 3 т. / Пер. на иврит и послесл. Х. Бар-Иосеф; Предисл. и при-меч. Э. Зихера. Иерусалим: Кармэл, 2008. Т. 1. С. 204). А основателем хасидской династии в Белзе был Шолом Рокеах (1781–1855), известный под именем Сар Шалом (с 1817 г. — раввин в Белзе). Ошибка Бабеля, скорее всего, намеренная: это проявление характерной для него игры смыслами и словами.

[4] notes: 1.163

…за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гусятинского раввина Иуды. — Гусятинским раввином в это время был Исраель Фридман (1846–1949).

[5] notes: 1.164

Каббала — мистико-философское учение в иудаизме.

[6] notes: 1.165

…имя Илии, виленского гаона, гонителя хасидов. — Имеется в виду виленский гаон Элияху бен Шломо Залман (1720–1797) — раввин, талмудист, общественный деятель, основатель миснагедского (литовского) направления в иудаизме. Гаоны («гаон»-букв.: величие, гордость, *ивр.* гений) — выдающиеся раввины, мудрецы, талмудисты.

[7] notes: 1.166

…самое имя Илии, виленского первосвященника… — Первосвященник, или главный священник, — в иудаизме священнослужитель, возглавлявший службу в Скинии, а затем в Первом и Втором Иерусалимском храме. Первым первосвященником был старший брат пророка Моисея Аарон. Синагога же не приравнивается к храму, а раввин не является священнослужителем. Существовал, однако, первосвященник с созвучным именем Илий (др. — евр. Эли), герой Первой книги Царств.

ченную коровенку. На гигантское его туловище была посажена подвижная, крохотная, пробитая головка змеи; она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу; он вел ее с важностью и виселицей длинных своих костей пересекал горячий блеск небес.

Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулок, обкуренный тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин прошел мимо них и остановился в конце переулка у фронтона разбитого здания.

Там, у фронтона, у белой покоробленной колонны сидел цыган-кузнец и ковал лошадей. Цыган бил молотом по копытам, потряхивая жирными волосами, свистел и улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к кузнецу, безмолвно отдал ему с дюжину печеных картофелин и, ни на кого не глядя, повернул назад. Я зашагал было за ним, но тут меня остановил казак, державший наготове некованую лошадь. Фамилия этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно когда-то и

служил в 33-м кавполку.

— Лютов, — сказал он, поздоровавшись со мной за руку, — ты всех людей задираешь, в тебе черт сидит, Лютов, — зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?

И с глупых чужих слов Селиверстов закричал мне сущую нелепицу о том, будто я в нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за это, он укорял меня при всех казаках, но в истории его не было ничего верного. Мы побранились, правда, в это утро с Труновым, потому что Трунов заводил всегда с пленными нескончаемую канитель, мы побранились с ним, но он умер, Пашка, ему нет больше судей в мире, и я ему последний судья из всех. У нас вот почему вышла ссора.

Сегодняшних пленных мы взяли на рассвете у станции Заводы. Их было десять человек. Они были в нижнем белье, когда мы их брали. Куча одежды — валялась возле поляков, это была их уловка для того, чтобы мы не отличили по обмундированию офицеров от рядовых. Они сами бросали свою одежду, но на этот раз Трунов решил добыть истину.

— Офицера, выходи! — скомандовал он, подходя к пленным, и вытащил револьвер.

Трунов был уже ранен в голову в это утро, голова его была обмотана тряпкой, кровь стекала с нее, как дождь со скирды.

— Офицера, сознавайся! — повторил он и стал толкать поляков рукояткой револьвера.

Тогда из толпы выступил худой и старый человек, с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами.

— …Край той войне, — сказал старик с непонятным восторгом, — вси офицер утик, край той войне…

И поляк протянул эскадронному синие руки.

— Пять пальцев, — сказал он, рыдая и вертя вялой громадной рукой, — цими пятью пальцами я выховал мою семейству…

Старик задохся, закачался, истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени, но Трунов отвел его саблей.

— Офицера ваши гады, — сказал эскадронный, — офицера ваши побросали здесь одежду… На кого придется — тому крышка, я пробу сделаю…

И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого.

— Впору, — пробормотал Трунов, придвигаясь и пришептывая, — впору… — и всунул пленному

саблю в глотку. Старик упал, повел ногами, из горла его вылился пенистый коралловый ручей. Тогда к нему подобрался, блестя серьгой и круглой деревенской шеей, Андрюшка Восьмилетов. Андрюшка расстегнул у поляка пуговицы, встряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны. Он перебросил их к себе на седло, взял еще два мундира из кучи, потом отъехал от нас и заиграл плетью. Солнце в это мгновение вышло из туч. Оно стремительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качанья ее куцего хвоста. Андрюшка ехал по тропинке к лесу, в лесу стоял наш обоз, кучера из обоза бесновались, свистели и делали Восьмилетову знаки, как немому.

Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колени, прохрипел ему вслед:

— Андрей, — сказал эскадронный, глядя в землю, — Андрей, — повторил он, не поднимая глаз от земли, — республика наша советская живая еще, рано дележку ей делать, скидай барахло, Андрей.

Но Восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казацкой удивительной своей рысью, лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно

отмахивалась от нас.

— Измена! — пробормотал тогда Трунов и удивился. — Измена! — сказал он, торопливо вскинул карабин на плечо, выстрелил и промахнулся второпях. Но Андрей остановился на этот раз. Он повернул к нам коня, запрыгал в седле по-бабьи, лицо его стало красно и сердито, он задрыгал ногами.

— Слышь, земляк, — закричал он, подъезжая, и тут же успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса, — как бы я не стукнул тебя, земляк, к такой-то свет матери… Тебе десяток шляхты прибрать — ты вона каку панику делаешь, мы по сотне прибирали — тебя не звали… Рабочий ты если — так сполняй свое дело…

И, выбросив из седла штаны и два мундира, Андрюшка засопел носом и, отворачиваясь от эскадронного, взялся помогать мне составлять список на оставшихся пленных. Он терся возле меня, сопел необыкновенно шумно. Пленные выли и бежали от Андрюшки, он гнался за ними и брал в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть стаю, тянущую к речке на заре.

Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал восемь человек, номера их ча-

стей, род оружия и перешел к девятому. Девятый этот был юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с белой немецкой грудью и с бачками, в трикотовой фуфайке и в егеревских кальсонах. Он повернул ко мне два соска на высокой груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его за кальсоны и спросил строго:

— Откуда сподники достал?

— Матка вязала, — ответил пленный и покачнулся.

— Фабричная у тебя матка, — сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками пальцев потрогал у поляка холеные ногти, — фабричная у тебя матка, наш брат таких не нашивал…

Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку девятого, для того чтобы отвести к остальным пленным, уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова, вылезающего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды, грязная тряпка его размоталась и повисла, он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из

ружья и подошел ко мне.

— Вымарай одного, — сказал он, указывая на список.

— Не стану вымарывать, — ответил я, содрогаясь, — Троцкий, видно, не для тебя приказы пишет[8], Павел…

— Вымарай одного! — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем.

— Не стану вымарывать! — закричал я изо всех сил. — Было десять, стало восемь, в штабе не посмотрят на тебя, Пашка…

— В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят, — ответил Трунов и стал подвигаться ко мне, весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком:

---

[8] notes: 1.167

…Троцкий, видно, не для тебя приказы пишет… — О приказе № 217 от 10 мая 1920 г. см. примеч. 10 к рассказу «Письмо». 17 июля 1920 г. по войскам Западного и Юго-Западного фронтов был издан повторный приказ за № 231 председателя Реввоенсовета Республики Троцкого об отношении к пленным полякам:

> «Польская буржуазная печать, на которой лежит огромная доля ответственности за бесчестное нападение шляхетской Польши на Украину и Россию, ныне неистово обвиняет наши победоносные красные войска в жестоком обращении с пленными польскими солдатами, даже с больными и ранеными.
> Нет и не может быть никакого сомнения в том, что подавляющее обвинение польской печати, польского телеграфного агентства, польского общества Красного Креста и пр. представляет собой отвратительную шовинистическую клевету. Но

возможны отдельные случаи, когда более отсталые, т. е. менее проникнутые освободительной идеей коммунизма красноармейцы срывают сердце на взятом в плен польском солдате. Разнузданные, совершенно небывалые насилия и зверства, какие польские белогвардейцы учиняли в оккупированных областях над коммунистами, украинскими, белорусскими, великорусскими, еврейскими рабочими и крестьянами, бессмысленные по своей чудовищности разрушения, какие были произведены ими в Киеве, Борисове, Бобруйске и других местах, все эти факты способны в отдельных случаях затемнять сознание красноармейцев и толкать их на путь неосмысленной мести по отношению к отдельным захваченным в плен легионерам, невольникам польской буржуазии и шляхты.

Тем важнее сейчас, когда под нашими ударами армия буржуазно-шляхетской Польши распадается и число пленных все более возрастает, принять самые решительные и тщательные меры к тому, чтобы приказ № 217 о человечном и товарищеском обращении с пленными польскими солдатами проводился в жизнь со всей строгостью и без всяких изъятий.

Посему приказываю:

1. В устной и печатной форме неутомимо и повторно разъяснять красным войскам и в частности свежим формированиям, что польские солдаты сами являются бессильными жертвами польской и англо-французской буржуазии и что наш долг поэтому требует от нас принимать пленных польских солдат как заблуждающихся или обманутых братьев, чтобы затем вернуть их в освобожденную польскую отчизну как братьев просветленных.

2. Строжайшим образом проверять все слухи, сведения и донесения о жестокостях по отношению к польским пленным, а равно и к местному населению, — из какого бы источника эти сведения ни исходили.

3. Твердо напомнить командному и комиссарскому составу его ответственность за строжайшее исполнение настоящего приказа» (Известия. 1920. 18 июля. С. 1).

— Гуди, гуди, — сказал он, — эвон еще и другой гудит...

И эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины.[9]

— По коням! — закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но Трунов не поехал со своим эскадроном. Он остался у станционного здания, прижался к стене и затих. Андрюшка Восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах, стояли возле него и тревожились.

— Нарезай винты, ребята, — сказал им Трунов, и кровь стала уходить из его лица, — вот донесе-

---

[9] notes: 1.168

Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины. — Ср. с воспоминаниями Буденного: «Попытки врага наступать на Луцком направлении окончились неудачей. Бойцы 2-й бригады 6-й дивизии сбили четыре аэроплана и захватили в плен летчика американца Фаунда Леро» (Буденный 2. С. 208–209).

Фаунт-Ле-Ро Седрик Э. - командир эскадрильи польской авиации, в составе которой были американские добровольцы, в середине июля 1920 г. перешел в 6-ю польскую армию. О неприятельских летчиках есть в дневниковой записи от 14 июля: «Франк Мошер. Сбитый летчик американец, босой, но элегантен, шея, к(а)к колонна, ослепителен, белые зубы, костюм в масле и грязи. С тревогой спрашивает меня, неужели я совершил преступление, воюя с Сов(етской) Россией. Сильно наше дело. Ах, как запахло Европой, кафе, цивилизацией, силой,

старой культурой, много мыслей, смотрю, не отпускаю. Письмо майора Фонт-Ле-Ро — в Польше плохо, нет конституции, большевики сильны, социалисты в центре внимания, но не у власти. Надо учиться новым способам войны. Что говорят з(ападно)евр(опейским) солдатам? Русский империализм, хотят уничтожить национальности, обычаи — вот главное, захватить все славянские земли, какие старые слова. Нескончаемый разговор с Мошером, погружаюсь в старое, растрясут тебя, Мошер, эх, Конан Дойль, письма в Нью-Йорк. Лукавит Мошер или нет — судорожно добивается, что такое большевизм. Грустное и сладостное впечатление». Об этом же упоминается в дневниковой записи от 18 августа: «Новое применение авиации, вспоминаю Мошера, капитан Фонт-ле-Ро во Львове…»

ние Пугачеву от меня…

И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдранном листке бумаги:

«Имея погибнуть сего числа, — написал он, — нахожу долгом приставить двух номеров к возможному сбитию неприятеля и в то же время отдаю командование Семену Голову, взводному…»[10]

Он запечатал письмо, сел на землю и, понатужившись, стянул с себя сапоги.

— Пользовайся, — сказал он, отдавая пулеметчикам донесение и сапоги, — пользовайся, сапоги новые…

— Счастливо вам, командир, — пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с ноги на ногу и мешкали уходить.

— И вам счастливо, — сказал Трунов, — как-нибудь, ребята… — и пошел к пулемету, стоявшему на холмике у станционной будки. Там ждал его Андрюшка Восьмилетов, барахольщик.

— Как-нибудь, — сказал ему Трунов и взялся наводить пулемет. — Ты со мной, што ль, побудешь, Андрей?..

— Господа Иисуса, — испуганно ответил Ан-

---

[10] notes: 1.169

…отдаю командование Семену Голову, взводному… — Голов — основное действующее лицо в новелле «Их было девять».

дрюшка, всхлипнул, побелел и засмеялся, — господа Иисуса хоругву мать!..

И стал наводить на аэроплан второй пулемет.

Машины залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на блеск их крыльев.

В это время мы, четвертый эскадрон, сидели в лесу. Там, в лесу, мы дождались неравного боя между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунт-Ле-Ро. Майор и три его бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку, потом Трунова. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда; аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. И поэтому, выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупами. Тело Андрюшки Восьмилетова забрали два его родича, служившие в нашем эскадроне, а Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль и похоронили его там на торжественном месте — в общественном саду, в цветнике, посредине города.

Иваны*

Дьякон Аггеев бежал с фронта дважды. Его отдали за это в Московский клейменый полк. Главком Каменев[1], Сергей Сергеевич, смотрел этот полк в Можайске перед отправкой на позиции.

— Не надо их мне, — сказал главком, — обратно их в Москву, отхожие чистить…

В Москве кое-как сбили из клейменых маршевую роту[2]. В числе других попал дьякон. Он прибыл на польский фронт и сказался там глухим. Лекпом Барсуцкий из перевязочного отряда, провозившись с ним неделю, не сломил его упорства.

— Шут с ним, с глухарем, — сказал Барсуцкий

*** comments: ***

Иваны

Впервые: РС. 1924. № 1. С. 151–156, с подзаголовком «Из книги “Конармия”».

Фамилия одного из Иванов-Акинфиев — встречается в «Планах и набросках к “Конармии”». Акинфиев является также персонажем рассказов «Чесники» и «После боя».

[1] notes: 1.170

Главком Каменев… — Каменев Сергей Сергеевич (1881–1936) — советский военачальник, до революции офицер царской армии, в 1919–1924 гг. — Главнокомандующий Вооруженными силами Республики.

[2] notes: 1.171

Маршевая рота, как и другие маршевые воинские подразделения, — временно сформированная рота, направляющаяся маршем во время военных действий на фронт для пополнения армии.

санитару Сойченко, — подыщи в обозе телегу, отправим дьякона в Ровно на испытание…

Сойченко ушел в обоз и добыл три телеги: на первой из них сидел кучером Акинфиев.

— Иван, — сказал ему Сойченко, — отвезешь глухаря в Ровно.

— Отвезти можно, — ответил Акинфиев.

— И расписку мне доставишь в получении…

— Ясно, — сказал Акинфиев, — а какая в ней причина, в глухоте его?..

— Своя рогожа чужой рожи дороже[3], — сказал Сойченко, санитар. — Тут вся причина. Фармазонщик он, а не глухарь…

— Отвезти можно, — повторил Акинфиев и поехал следом за другими подводами.

Всего собралось у перевязочного пункта три телеги. На первую посадили сестру, откомандированную в тыл, вторую отвели для казака, больного воспалением почек, на третью сел Иван Аггеев, дьякон.

Исполнив все дела, Сойченко позвал лекпома.

— Поехал наш фармазонщик, — сказал он, — погрузил на ревтрибунальных под расписку. Сейчас трогают…

---

[3] notes: 1.172

— *Своя рогожа чужой рожи дороже…* — Поговорка приведена в наброске «(12) Бой под Бр(одами)» как поговорка Конкина.

Барсуцкий выглянул в окошко, увидел телеги и кинулся из дому, весь красный и без шапки.

— Ох, да ты его зарежешь! — закричал он Акинфиеву. — Пересадить надо дьякона.

— Куда его пересадишь, — ответили казаки, стоявшие поблизости, и засмеялись. — Ваня наш везде достанет…

Акинфиев с кнутом в руках стоял тут же, возле своих лошадей. Он снял шапку и сказал вежливо:

— Здравствуйте, товарищ лекпом.

— Здравствуй, друг, — ответил Барсуцкий, — ты ведь зверь, пересадить надо дьякона…

— Поинтересуюсь узнать, — визгливо сказал тогда казак, и верхняя губа его вздрогнула, поползла и затрепетала над ослепительными зубами, — поинтересуюсь узнать, подходяще ли оно нам, или неподходяще, что когда враг тиранит нас невыразимо, когда враг бьет нас под самый вздох, когда он виснет грузом на ногах и вяжет змеями наши руки, подходяще ли оно нам — законопачивать уши в смертельный этот час?

— Стоит Ваня за комиссариков, — прокричал Коротков, кучер с первой телеги, — ох, стоит…

— Чего там «стоит»! — пробормотал Барсуцкий и отвернулся. — Все мы стоим. Только дела надо

делать форменно…

— А ведь он слышит, глухарь-то наш, — перебил вдруг Акинфиев, повертел кнут в толстых пальцах, засмеялся и подмигнул дьякону. Тот сидел на возу, опустив громадные плечи, и двигал головой.

— Ну, трогай с богом! — закричал лекарь с отчаянием. — Ты мне за все ответчик, Иван…

— Ответить я согласен, — задумчиво произнес Акинфиев и наклонил голову. — Сидай удобней, — сказал он дьякону, не оборачиваясь, — еще удобней седай, — повторил казак и собрал в руке вожжи.

Телеги выстроились в ряд и одна за другой помчались по шоссе. Впереди ехал Коротков, Акинфиев был третьим, он свистел песню и помахивал вожжей. Так отъехали они верст пятнадцать и к вечеру были опрокинуты внезапным разливом неприятеля.

В этот день, двадцать второго июля, поляки быстрым маневром исковеркали тыл нашей армии, ворвались с налета в местечко Козин и пленили многих бойцов из состава одиннадца-

той дивизии.[4] Эскадроны шестой дивизии были брошены в район Козина для противодействия противнику. Молниеносное маневрирование частей искромсало движение обозов, ревтрибунальские телеги двое суток блуждали по кипящим выступам боя, и только на третью ночь они выбились на дорогу, по которой уходили тыловые штабы. На этой дороге в полночь я и встретил их.

Окоченевший от отчаяния, я встретил их после боя под Хотином.[5] В бою под Хотином убили моего коня. Потеряв его, я пересел на санитарную линейку и до вечера подбирал раненых. Потом здоровых сбросили с линейки, и я остался один у развалившейся халупы. Ночь летела ко мне на резвых лошадях. Вопль обозов оглашал вселенную. На земле, опоясанной визгом, потухали дороги. Звезды выползли из прохладного брюха

---

[4] notes: 1.173

В этот день, двадцать второго июля, поляки быстрым маневром исковеркали тыл нашей армии, они ворвались с налета в местечко Козин и пленили многих бойцов из состава одиннадцатой дивизии. — Ср. с дневниковой записью от 23 июля: «…слухи тяжелые и(,) вероятной) нелепые(,) и эти слухи — несмотря на цепь наших побед. Две бригады 11 (-й) дивизии в плену, поляки захватили Козин, несчастный Козин, что там будет».

[5] notes: 1.174

…я встретил их после боя под Хотином. — Ср. с дневниковой записью от 24 июля: «6(-я) дивиз(ия) ликвидирует пр(отивни)ка, напавшего на нас в Хотине, район боев Хотин-Козин…»

ночи, и брошенные села воспламенялись над горизонтом. Взвалив на себя седло, я пошел по развороченной меже и у поворота остановился по своей нужде. Облегчившись, я застегнулся и почувствовал брызги на моей руке. Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой.[6] Записная книжка и обрывки воззваний Пилсудского валялись рядом с трупом.[7] В тетрадке поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария-Луиза. Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла.

В это время где-то близко простонали колеса.

— Стой! — закричал я. — Кто идет?

---

[6] notes: 1.175

…обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. — Ср. с дневниковой записью от 7 августа: «Труп убитого поляка, страшный труп, вздутый и голый. Чудовищно». Использован набросок «(13) Бой под Бр(одами)»: «Выхожу по естественной нужде… Труп. Блещущий день… Все усеяно трупами, совершенно незаметными среди ржи».

[7] notes: 1.176

Записная книжка и обрывки воззваний Пильсудского валялись рядом с трупом. — Ср. с дневниковой записью от 3 августа: «…страшное поле, усеянное порубленными, нечеловеческая жестокость, невероятные раны, проломленные черепа, молодые белые нагие тела сверкают на солнце, разбросанные записные книжки, листки, солдатские книжки, Евангелия (…) тела в жите».

Ночь летела ко мне на резвых лошадях, пожары извивались на горизонте.

— Ревтрибунальские, — ответил голос, задавленный тьмой.

Я побежал вперед и наткнулся на телегу.

— Коня у меня убили, — сказал я громко, — Лавриком коня звали…

Никто не ответил мне. Я взобрался на телегу, подложил седло под голову, заснул и проспал до рассвета, согреваемый прелым сеном и телом Ивана Акинфиева, случайного моего соседа. Утром казак проснулся позже меня.

— Развиднялось, слава богу, — сказал он, вытащил из-под сундучка револьвер и выстрелил над ухом дьякона. Тот сидел прямо перед ним и правил лошадьми. Над громадой лысеющего его черепа летал легкий серый волос. Акинфиев выстрелил еще раз над другим ухом и спрятал револьвер в кобуру.

— С добрым утром, Ваня! — сказал он дьякону, кряхтя и обуваясь. — Снедать будем, что ли?

— Парень, — закричал я, — чего ты делаешь?

— Чего делаю, все мало, — ответил Акинфиев, доставая пищу, — он симулирует надо мной третьи сутки…

Тогда с первой телеги отозвался Коротков,

знакомый мне по 31-му полку, рассказал всю историю дьякона сначала. Акинфиев слушал его внимательно, отогнув ухо, потом вытащил из-под седла жареную воловью ногу. Она была прикрыта рядном и обвалялась в соломе.

Дьякон перелез к нам с козел, подрезал ножичком зеленое мясо и раздал всем по куску. Кончив завтрак, Акинфиев завязал воловью ногу в мешок и сунул его в сено.

— Ваня, — сказал он Аггееву, — айда беса выгонять. Стоянка все равно, коней напувают…

Он вынул из кармана пузырек с лекарством, шприц Тарновского[8] и передал их дьякону. Они слезли с телеги и отошли в поле шагов на двадцать.

— Сестра, — закричал Коротков на первой телеге, — переставь очи на дальнюю дистанцию, ослепнешь от акинфиевых достатков.

— Положила я на вас с прибором, — пробормотала женщина и отвернулась.

Акинфиев завернул тогда рубаху. Дьякон стал

---

[8] notes: 1.177

Он вынул из кармана пузырек с лекарством, шприц Тарновского… — Тарновский Вениамин Михайлович (1837–1906) — врач-венеролог. 28 июля Бабель записал в дневнике: «Страшная правда-все солдаты больны сифилисом (…) Солдатская язва. Российская язва — страшно. Едят толченый хрусталь, пьют не то карболку, размолоченное стекло. Все бойцы — бархатн(ые) фуражки, изнасилования, чубы, бои, революция и сифилис. Галиция заражена сплошь».

перед ним на колени и сделал спринцевание. Потом вытер спринцовку тряпкой и посмотрел на свет. Акинфиев подтянул штаны; улучив минуту, он зашел дьякону за спину и снова выстрелил у него над самым ухом.

— Наше вам, Ваня, — сказал он, застегиваясь.

Дьякон отложил пузырек на траву и встал с колен. Легкий волос его взлетел кверху.

— Меня высший суд судить будет, — сказал он глухо, — ты надо мною, Иван, не поставлен…

— Таперя кажный кажного судит, — перебил кучер со второй телеги, похожий на бойкого горбуна. — И на смерть присуждает, очень просто…

— Или того лучшее, — произнес Аггеев и выпрямился, — убей меня, Иван…

— Не балуй, дьякон, — подошел к нему Коротков, знакомый мне по прежним временам. — Ты понимай, с каким человеком едешь. Другой пришил бы тебя, как утку, и не крякнул, а он правду из тебя удит и учит тебя, расстригу…

— Или того лучше, — упрямо повторил дьякон и выступил вперед, — убей меня, Иван.

— Ты сам себя убьешь, стерва, — ответил Акинфиев, бледнея и шепелявя, — ты сам яму себе выроешь, сам себя в нее закопаешь…

Он взмахнул руками, разорвал на себе ворот и

повалился на землю в припадке.

— Эх, кровиночка ты моя! — закричал он дико и стал засыпать себе песком лицо. — Эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя совецкая…

— Вань, — подошел к нему Коротков и с нежностью положил ему руку на плечо, — не бейся, милый друг, не скучай. Ехать надо, Вань…

Коротков набрал в рот воды и прыснул ею на Акинфиева, потом он перенес его на подводу. Дьякон снова сел на козлы, и мы поехали.

До местечка Вербы оставалось нам не более двух верст. В местечке сгрудились в то утро неисчислимые обозы. Тут была одиннадцатая дивизия и четырнадцатая, и четвертая. Евреи в жилетах, с поднятыми плечами, стояли у своих порогов, как ободранные птицы. Казаки ходили по дворам, собирали полотенца и ели неспелые сливы.[9] Акинфиев, как только приехали, забрался в сено

---

[9] notes: 1.178

В местечке сгрудились в то утро неисчислимые обозы (…) Казаки ходили по дворам, собирали полотенца и ели неспелые сливы. — Ср. с дневниковой записью от 23 июля: «В Вербе. Евреи, не спавшие ночь, стоят жалкие, к(а)к птицы, синие, взлохмаченные, в жилетах и без носков. Мокрый безрадостный рассвет, вся Верба забита обозами, тысячи повозок, все возницы на одно лицо, перевязочные отряды, штаб 45(-й) дивизии (…) Ждем на дороге из Вербы. Стоим два часа (…) Все едят-хлеб с соломой, зеленые яблоки, грязными пальцами, вонючими ртами — грязную, отвратительную пищу. Едем дальше. Изумительно — остановки через каждые 5 шагов, нескончаемые линии (…) обозов 45(-й) и 11(-й) див(изий), мы то теряем наш обоз, то находим его…»

и заснул, а я взял одеяло с его телеги и пошел искать места в тени. Но поле по обе стороны дороги было усеяно испражнениями. Бородатый мужик в медных очках и в тирольской шляпке, читавший в сторонке газету, перехватил мой взгляд и сказал:

— Человеки зовемся, а гадим хуже шакалов. Земли стыдно…

И, отвернувшись, он снова стал читать газету через большие очки.

Я взял тогда к леску влево и увидел дьякона, подходившего ко мне все ближе.

— Куды котишься, земляк? — кричал ему Коротков с первой телеги.

— Оправиться, — пробормотал дьякон, схватил мою руку и поцеловал ее. — Вы славный господин, — прошептал он, гримасничая, дрожа и хватая воздух. — Прошу вас свободною минутой отписать в город Касимов, пущай моя супруга плачет обо мне…

— Вы глухи, отец дьякон, — закричал я в упор, — или нет?

— Виноват, — сказал он, — виноват, — и наставил ухо.

— Вы глухи, Аггеев, или нет?

— Так точно, глух, — сказал он поспешно. —

Третьего дня я имел слух в совершенстве, но товарищ Акинфиев стрельбою покалечил мой слух. Они в Ровно обязаны были меня предоставить, товарищ Акинфиев, но полагаю, что они вряд ли меня доставят…

И, упав на колени, дьякон пополз между телегами головой вперед, весь опутанный поповским всклокоченным волосом. Потом он поднялся с колен, вывернулся между вожжами и подошел к Короткову. Тот отсыпал ему табак, они скрутили папиросы и закурили друг у друга.

— Так-то вернее, — сказал Коротков и опростал возле себя место.

Дьякон сел с ним рядом, и они замолчали.

Потом проснулся Акинфиев. Он вывалил воловью ногу из мешка, подрезал ножиком зеленое мясо и раздал всем по куску. Увидев загнившую эту ногу, я почувствовал слабость и отчаяние и отдал обратно свое мясо.

— Прощайте, ребята, — сказал я, — счастливо вам…

— Прощай, — ответил Коротков.

Я взял седло с телеги и ушел, и, уходя, слышал нескончаемое бормотание Ивана Акинфиева.

— Вань, — говорил он дьякону, — большую ты, Вань, промашку дал. Тебе бы имени моего

ужаснуться, а ты в мою телегу сел. Ну, если мог ты еще прыгать, покеле меня не встренул, так теперь надругаюсь я над тобой, Вань, как пить дам надругаюсь…

Продолжение истории одной лошади*

Четыре месяца тому назад Савицкий, бывший наш Начдив, забрал у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Савицкий получил от него письмо.

Хлебников — Савицкому

«И никакой злобы на Буденную армию больше иметь не могу, страдания мои посередь той армии понимаю[1] и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, трудящаяся масса Витебщины, где нахо-

---

*** comments: ***

Продолжение истории одной лошади

Впервые: *ОИ*. 1924. 13 апр. С. 2, вместе с «Историей одной лошади», под общим названием «Тимошенко и Мельников», под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Галиция, сентябрь 1920 г.». Повторно: Кр. Н. 1924. № 3. С. 28–29, под названием «Тимошенко и Мельников», под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Галиция, сентябрь 1920».

Исправлена опечатка, допущенная в Кр. Н. и КА-1926: «.. выступал из коммунистической нашей партии большевиков» на «выступил из коммунистической нашей партии большевиков».

В рассказе использован набросок «(25) Сокаль. 1»: «Помните Мельникова, белый жеребец, прошение в армию. Он кланяется и передает вам свою любовь. Тим(ошенко) (...) пишет на крышке гроба, полевая книжка».

[1] notes: 1.179

…страдания мои посередь той армии понимаю… — Ср. с наброском (25): «Одна фраза из письма Мельникова — и страдания посередь той армии понимаю».

жусь председателем уревкома[2], шлет пролетарский клич — „Даешь мировую революцию!“ — и желает, чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за волостными единицами в административном отношении...»

Савицкий — Хлебникову

«Неизменный товарищ Хлебников! Которое письмо ты написал для меня, то оно очень похвально для общего дела, тем более сказать, после твоей дурости, когда ты застелил глаза собственной шкурой и выступил из коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не

---

[2] notes: 1.180
Уревком — уездный революционный комитет.

шутки, а победа или смерть.[3] *То же самое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть расцвет, так как бои тяжелые и командный состав сменяю в две недели раз. Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Рулевой, убит Трунов*[4]*, и белого жеребца нет подо мной, так что согласно перемене военного счастья не дожидай увидеть любимого начдива Савицкого, товарищ Хлебников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может,*

---

[3] notes: 1.181

Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов (…) победа или смерть. — Использован набросок «(27) Смерть Трунова»: «Тов(арищи), — ком(мунистическая) партия есть железная шеренга, бессчетно отдающая свою кровь в первом ряду. И когда из железа текет кровь, то это вам, товарищи (…) не шутки, — а победа или смерть».

[4] notes: 1.182

…убит Трунов… — См. преамбулу к примеч. к рассказу «Эскадронный Трунов» и к статье «Побольше таких Труновых!»

и не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников».

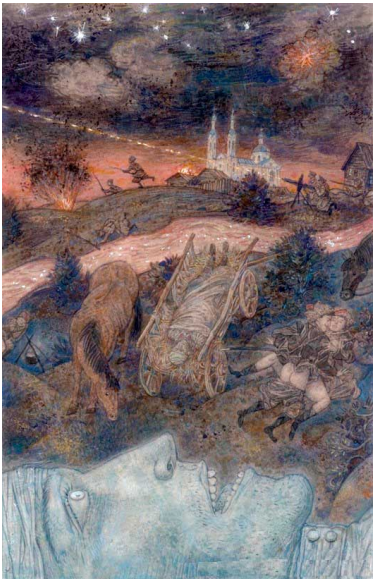
Вдова*

*** comments: ***

Вдова

Впервые: *ОИ* (лит-худ. приложение). 1923. 15 июля. С. 4, под названием «Шевелев», под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Галиция, август 1920 г.». Повторно: Кр. Н. 1924. № 3. С. 16–19, под тем же названием и с той же датой, под рубрикой «Из книги “Конармия”». Название рассказа было изменено в КЛ-1926, однако в сборниках ИМГ и КСИ сохранено название «Шевелев».

В основе рассказа — дневниковая запись от 9 августа: «Другой рассказ о сестре милосердия Шурке. Ночь, бой, полки строятся, Левка в фаэтоне, сожитель Шуркин тяжело ранен, отдает Левке лошадь, они отвозят раненого, возвращаются к бою. Ах, Шура, раз жить, раз помирать. Ну да ладно. Она была в заведении в Ростове, скачет в строю на лошади, может отпустить пятнадцать. А теперь, Шурка, поедем, отступаем, лошади запутались в проволоке, проскакал 4 версты, село, сидит, рубит проволоку, проходит полк, Шура выезжает из рядов, Левка готовит ужинать, жрать охота, поужинали, поговорили, идем, Шура, еще разок. Ну, ладно. А где? — Ускакала за полком, пошел спать. Если жена приедет — убью».



На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер начдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром, стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, вытянувшемуся на санитарной линейке:

— Работал я, товарищок, в Тюмреке в городе, работал парфорсную езду[1], а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщины утомительный, завидели меня дамочки, стены рушат… Лев Гаврилыч, не откажите принять закуску по карте, не пожалеете безвозвратно потерянного времени… Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем… Гляжу — суется ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой…

«Извиняюсь, — говорит, — какая у вас, между прочим, национальность?»

«По какой причине, — спрашиваю, — вы меня, господин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь в дамском обществе?»

…А он:

«Какой вы, — говорит, — есть атлет… Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию…»

…Ну, однако, еще не рубаю.

«Зачем вы, — не знаю вашего имени-отчества, — такое недоразумение вызываете, что

---

[1] notes: 1.183

Парфорсная езда — от франц. par force (силой), вид цирковой езды стоя на лошади с выполнением прыжков через различные препятствия.

здесь обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть, иначе говоря, лечь до последнего издыхания?» До последнего лечь… — повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью, как нимбом. Неутомимый ветер, чистый ветер ночи поет, наливается звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме как обручальные кольца, они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове.

— Лев, — шепчет ему вдруг Шевелев синими губами, — иди сюда. Золото, какое есть — Сашке, — говорит раненый, — кольца, сбрую, все ей. Жили, как умели… вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство — матери на Терек. Отошли с письмом и напиши в письме: «Кланялся командир, и не плачь. Хата — тебе, старуха, живи. Кто тронет, скачи к Буденному: я — Шевелева матка…» Коня Абрамку жертвую полку, коня жертвую на помин моей души…

— Понял про коня, — бормочет Левка и замахивает руками. — Саш, — кричит он женщине, — слыхала, чего говорит?.. При ем сознавайся — отдашь старухе ейное аль не отдашь?..

— Мать вашу в пять, — отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец.

— Отдашь сиротскую долю? — догоняет ее Левка и хватает за горло. — При ем говори…

— Отдам. Пусти!

И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи.

— Винтовками бьет, гад, — сказал Левка.

— Вот холуйское знатье, — ответил Шевелев. — Пулеметами вскрывает нас на правом фланге…

И, закрыв глаза, торжественно, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку.

— Саш, — сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками, — Саш, как перед богом, все одно в грехах как в репьях…[2] Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью… Век его прошел, Саш, а дней у бога не убыло…

Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обна-

---

[2] notes: 1.184

…в грехах, как в репьях… — Поговорка приведена в наброске (12) как поговорка Конкина.

женном Сашкином колене.

— Греетесь, — пробормотал Шевелев, — а он, гляди, четырнадцатую дивизию погнал…[3]

Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды.

Потом Сашка вернулась на прежнее место. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной.

— К завтрему уйдешь, — сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом. — К завтрему уйдешь, она в кишках у тебя, смерть…

И в это мгновение многоголосый плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады,

---

[3] notes: 1.185

…а он, гляди, четырнадцатую дивизию погнал… — Возможно, подразумеваются события 8 августа, когда «14-я и 6-я кавдивизии вели упорный бой с противником за выход в район Стоянов-Радзихов-Лопатин-Станиславчик. Противник оказывал упорное сопротивление, особенно в районе м. Радзихов, где его части семь раз переходили в атаку против I бригады 14-й кавдивизии» (Клюев. С. 114). Однако не исключено, что Бабель совместил в рассказе бои первой половины августа с событиями конца июля, о которых Л.Л. Клюев писал: «Особенно сильный бой произошел в районе нашей 14-й кавдивизии, где начдив 1-й легионеров по собственной инициативе в ночь на 31 июля повел наступление на части 14-й дивизии, расположившейся в Роговно-Волковые на ночлег, и отбросил их в район Пелча. Во время этого наступления противник совершенно окружил III бригаду, которая после нескольких атак прорвалась и вышла на соединение с главными силами 14-й дивизии» (Клюев. С. 105).

введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буск горел[4], и Левка полетел по лесу в качающемся экипаже начдива шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился о пни лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки.

Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заставленному телегами. Тела санитарок торчали под телегами, несмелая заря билась над солдатскими овчинами. Сапоги спящих были брошены врозь, зрачки заведены к небу, черные ямы ртов перекошены.

Попона нашлась у заведующего; Левка вернулся к Шевелеву, поцеловал его в лоб и покрыл с

---

[4] notes: 1.186

Послушные пожары встали на горизонте, тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буск горел… — Ср. с дневниковыми записями от 14 августа: «Центр операций-взятие Буска и переправа через Буг. Целый день атака на Топоров, нет, отставили. Опять нерешительный день» и от 15 августа: «Бои у Буска. Штаб в Буске. Форсировать Буг. Пожар на той стороне. Буденный в Буске».

головой. Тогда к линейке приблизилась Сашка. Она вывязала себе платок под подбородком и отряхнула платье от соломы.

— Павлик, — сказала она. — Иисус Христос мой, — легла на мертвеца боком, прикрыв его своим непомерным телом.

— Убивается, — сказал тогда Левка, — ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова под всем эскадроном хлопотать. Несладко…

И он проехал дальше в Буск, где расположился штаб шестой кавдивизии.

Там, в десяти верстах от города, шел бой с савинковскими казаками.[5] Предатели сражались под командой есаула Яковлева, передавшегося полякам.[6] Они сражались мужественно. Начдив вторые сутки был с войсками, и Левка, не найдя

---

[5] notes: 1.187

Там, в десяти верстах от города, шел бой с савинковскими казаками. — Савинков Борис Викторович (1879–1925) — политический деятель, террорист, руководитель Боевой организации партии эсеров, участник Белого движения, писатель. Во время советско-польской войны 1920 г. был председателем Русского политического комитета в Варшаве, куда приехал по приглашению Пилсудского, участвовал в подготовке военных отрядов под командованием С.Н. Булак-Балаховича, воевавших на стороне поляков.

[6] notes: 1.188

Предатели сражались под командой есаула Яковлева, передавшегося полякам. — В середине июня 1920 г. есаул Вадим Яковлев организовал бригаду казаков-добровольцев из числа военнопленных и интернированных в польских лагерях. См. также рассказ «После боя» и примем. 2 к нему.

его в штабе, вернулся к себе в хату, почистил лошадей, облил водой колеса экипажа и лег спать в клуне. Сарай был набит свежим сеном, зажигательным, как духи. Левка выспался и сел обедать. Хозяйка сварила ему картошки, залила ее простоквашей. Левка сидел уже у стола, когда на улице раздался траурный вопль труб и топот многих копыт. Эскадрон с трубачами и штандартами проходил по извилистой галицийской улице. Тело Шевелева, положенное на лафет, было перекрыто знаменами. Сашка ехала за гробом на шевелевском жеребце, казацкая песня сочилась из задних рядов.

Эскадрон прошел по главной улице и повернул к реке. Тогда Левка, босой, без шапки, пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводья лошадь командира эскадрона.

Ни начдив, остановившийся у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному.

— Сподники… — донес к нам ветер обрывки слов, — мать на Тереке… — услышали мы Левкины бессвязные крики. Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней

на седло, схватил за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи повели эскадрон дальше, к сияющей линии Буга.

Левка скоро вернулся к нам и закричал, блестя глазами:

— Распатронил ее вчистую… Отошлю, говорит, матери, когда нужно. Евоную память, говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючья кость… А забудешь — мы еще разок напомним. Второй раз забудешь — второй раз напомним.

Замостье[*]

*** comments: ***

Замостье

Впервые: Кр. Н. 1924. № 3. С. 26–28, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Сокаль, сентябрь 1920». Повторно: Рассказы-1925(2). С. 103–108.

Исправлена опечатка, допущенная в КА-1926: «— Вы женат, Лютов?» на «— Вы женаты, Лютов?».

Операция на Замостье нашла отражение в нескольких дневниковых записях Бабеля, отдельные детали использованы в рассказе.

29 августа: «Операция на Замостье. Мы в 10 в(ерстах) от З(амостья) (…) Операция, к(а)к всегда, несложна, обойти с запада и с севера и взять (…) Подходим к Замостью. Страшный день. Дождь-победитель не затихает (ни) на минуту. Лошади едва вытягивают. Описать этот непереносимый дождь. Мотаемся до глубокой ночи. Промокли, устали до жути, красный башлык Апанасенки. Обходим Замостье, части в 3–4 верстах от него. Не подпускают бронепоезда, кроют нас артогнем. Мы сидим на полях, ждем донесений, несутся мутные потоки (…) Ничего не можем сделать с бронепоездами. Выяснилось, что мы не знали, что здесь есть ж(елезная) дорога, на карте не отмечена, конфуз, вот наша разведка. — Мотаемся, все ждем, что возьмут Замостье. Черта с два. Поляки дерутся все лучше. Лошади и люди дрожат».

30 августа: «Операция на Замостье продолжается. Погода по-прежнему ужасная, дождь, слякоть, дороги непроходимы, почти не спали, на полу, на соломе, в сапогах, будь готов (…) Едем к начдиву, он при 1(-й) и 2(-й) бригадах. Все время находимся в виду Замостья, видны его трубы, дома, пытаемся взять его со всех сторон. Подготовляется ночная атака. Мы в 3 верстах от Замостья, ждем взятия города, будем там ночевать. Поле, ночь, дождь, пронизывающий холод, лежим на мокрой земле, лошадям нечего дать, темно, едут с донесениями. Наступление будет вести 1(-я) и 3(-я) бригады (…) Усталость, апатия, неистребимая жажда сна, почти отчаяние. В темноте идет цепь, спешена целая бригада. Возле нас — пушка. Через час — пошла потеха. Наша пушка стреляет беспрерывно, мягкий, лопающийся звук, огни в ночи, поляки пускают ракеты, ожесточеннейшая стрельба, ружейная и пулеметная, ад, мы ждем, 3 часа ночи. Бой затихает. Ничего не вышло. Все чаще и чаще у нас ничего не выходит. Что это? Армия поддается? — Едем на ночлег верст за 10 в Ситанец. Дождь усиливается. Усталость непередаваема.

Одна мечта (-) квартира. Мечта осуществляется. Старый растерянный поляк со старухой. Солдаты, конечно, растаскивают его. Испуг чрезвычайный, все сидели в погребах. Масса молока, масла, лапша, блаженство. Я каждый раз вытаскиваю новую пищу. Замученная хорошая старушка. Восхитительное топленое масло. Вдруг обстрел, пули свистят у конюшен, у ног лошадей. Снимаемся. Отчаяние. Едем в другую (…) окраину села. Три часа сна, прерываемого донесениями, расспросами, тревогой».

31 августа: «Армприказ — оставить (…) Замостье, идти на выручку 14(-й) дивизии, теснимой со стороны Комарова».



Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и начдив ждал

донесений о победе.[1]

Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Звезды были потушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото молотьбы. Снопы пшеницы летали по небу, июльский день переходил в вечер, чащи заката запрокидывались над селом.

Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка

---

[1] notes: 1.189

Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и начдив ждал донесений о победе. — Были изданы оперативные приказы Первой конной армии № 0108 и № 0109 об овладении Замостьем. Но, вероятнее всего, в рассказе содержится своего рода парафраз приказа не по армии, а по 6-й кавалерийской дивизии № 147 от 28 августа 1920 г., подписанного Апанасенко. В одном из параграфов приказа говорилось: «Я (т. е. начдив. — Сост.) буду находиться при 1-й бригаде, куда присылать донесения через каждые два часа». В приказе содержались также указания отдельным бригадам «сосредоточиться на ночлег» в определенных населенных пунктах, хотя Замостье среди них не упоминалось (РГВА. Ф. 245. Оп. 1. Д. 77. Л. 378). Ср. с дневниковой записью от 30 августа: «Мы в 3 верстах от Замостья, ждем взятия города, будем там ночевать».

сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого, движущегося пота, закипели между нашими сосками.

«Марго, — хотел я крикнуть, — земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго…»

Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались.

Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени.

— Иисусе, — сказала она, — прими душу усопшего раба твоего…

Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей, потухающие зрачки медленно повернулись под медяками, я не мог разомкнуть моих рук и… проснулся.

Мужик с свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина лошади

черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху.

— Заснул, земляк, — сказал мужик и улыбнулся ночными, бессонными глазами, — лошадь тебя с полверсты протащила…

Я распутал ремень и встал. По лицу, разодранному бурьяном, лилась кровь.

Тут же, в двух шагах от нас, лежала передовая цепь. Мне видны были трубы Замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвивались над польским лагерем. Они трепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасали.

И в тишине я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас.

— Бьют кого-то, — сказал я. — Кого это бьют?..

— Поляк, тревожится, — ответил мне мужик, — поляк жидов режет…

Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем набок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:

— Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить

с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то?..

Мужик заставил меня прикурить от его огонька.

— Жид всякому виноват, — сказал он, — и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?

— Десяток миллионов, — ответил я и стал взнуздывать коня.

— Их двести тысяч останется, — вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб.

Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним навытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм.

— Прижалась наша гайка, — прошептал начдив и уехал.

Мы последовали за ним по дороге в Ситанец.

Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках.

Мы приехали в Ситанец утром. Я был с Волковым, квартирьером штаба. Он нашел для нас

свободную хату у края деревни.

— Вина, — сказал я хозяйке, — вина, мяса и хлеба!

Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кровать телку.

— Ниц нема, — ответила она равнодушно. — И того времени не упомню, когда было…

Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте.

«Многоуважаемая Валя, — писал он, — *помните ли вы меня?»*

Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его.

— Что ты делаешь, пан? — сказала старуха и отступила в ужасе.

Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо.

— Я спалю тебя, старая, — пробормотал я, засы-

пая, — тебя спалю и твою краденую телку.[2]

— Чекай! — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом.

Мы не успели съесть и половины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того, чтобы узнать, в чем дело.

— Я заседлал твоего коня, — сказал он мне в окошко, — моего прострочили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в ста шагах.

И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас из Ситанца. Я сел в седло, Волков пристроился сзади.

Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. Утро сочилось из нас, как хлороформ сочится на госпитальный стол.

— Ты женаты, Лютов? — сказал вдруг Волков, сидевший сзади.

— Меня бросила жена, — ответил я, задремал

---

[2] notes: 1.190

...тебя спалю и твою краденую телку. — Ср. с более ранней дневниковой записью-от 20 июля: «Опять село, хозяйка длинная, скучно — немае (...) очень чисто, сын был в солдатах, дает нам яиц, молока нет, в хате невыносимо душно (...) Целый день сижу в хате (...) тепло, там дождь за окном. К(а)к скучна и пресна для меня эта жизнь — цыплята, спрятанная корова, грязь, тупость».

на несколько мгновений, и мне приснилось, что я сплю на кровати.

Молчание.

Лошадь наша шатается.

— Кобыла пристанет через две версты, — говорит Волков, сидящий сзади.

Молчание.

— Мы проиграли кампанию[3], — бормочет Волков и всхрапывает.

— Да, — говорю я.

[3] notes: 1.191

— *Мы проиграли кампанию…* — Рейд Первой конной армии на Замостье в конце августа — начале сентября 1920 г. закончился неудачей: армия не смогла взять город и попала в окружение, из которого вырвалась с большими потерями. Сначала она была выведена в резерв, а затем направлена на Южный фронт для сражений против белогвардейских войск генерала Врангеля.

Измена*

«Товарищ следователь Бурденко.[1] На вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два нуля, выданную Никите Балмашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре[2] и палача германской революции Эберта-Носке[3], которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин совместно с

*** comments: ***

Измена

Впервые: Кр. газ. 1926. 13 марта (веч. вып.). С. 2, с редакционным примечанием «Неизданная глава из книги “Конармия”». Повторно: Пролетарий. С. 129–133.

Сохранился целый ряд документов, свидетельствующих о сложной ситуации с ранеными красноармейцами, находившимися на лечении в госпиталях или отправленными в тыл. Так, например, в срочной телеграмме ревтройки города Черкассы Реввоенсовету Первой конной армии от 15 июля 1920 г. говорилось: «Больные и раненые красноармейцы Первой Конной армии, прибывающие в Черкассы, вносят полную дезорганизацию в работу Советвласти, руганью и угрозами оружия терроризируют ответственных работников как в учреждениях, так равно и на улицах, театрах, госпиталях, не считаясь с нашими

заявлениями и угрозами, врываются на фабрики и хозяйственные организации и самовольно берут, делают, что им заблагорассудится. Местная власть не в силах прекратить подобные явления и просит принять надлежащие меры» (РГВА. Ф. 245. Оп. 1. Д.24. Л. 612).

10 августа в Житомире по распоряжению Реввоенсовета Первой конной армии от 9 августа 1920 г. было издано два приказа. Один из них, № 34, адресован войсковым частям и учреждениям Волынского губернского военного комиссариата:

«Несмотря на неоднократные приказы военкомам госпиталей и красноармейцам, находящимся на излечении в госпиталях гор. Житомира, сдать оружие, приказ ни красноармейцами, ни военкомами госпиталей в жизнь не проводился. Считаем такое явление ненормальным, так как каждый боец Красной Армии обязан тотчас исполнять все приказы, ибо всякое неисполнение таковых вносит разруху в строительство рабоче-крестьянской власти.

А потому на основании предыдущих приказов и приказа членов Реввоенсовета Ворошилова и Минина приказываем военкомам и старшим врачам госпиталей предложить всем красноармейцам, находящимся на излечении в госпиталях, в течение 24 часов с момента получения сего приказа сдать имеющееся у них на руках оружие, как холодное, так и огнестрельное, на хранение военкомам госпиталей, и, где таковых нет, старшим врачам, и при выписке красноармейцев на фронт выдавать таковое.

Всем военкомам и старшим врачам разъяснить больным красноармейцам недопустимость неисполнения приказов и хранения при себе оружия. По истечении указанного срока военкомам госпиталей и старшим врачам предлагается донести об исполнении сего, а равно и всех случаях неисполнения. Предупреждаем, что неисполнение настоящего приказа со стороны военкомов, старших врачей госпиталей и красноармейцев повлечет за собою самое строгое наказание,

вплоть до предания суду по законам военного времени» (РГВА. Ф. 245. Оп. 1. Д. 45. Л. 8).

Второй — секретный — приказ по житомирскому гарнизону — о разоружении в ночь с 11 на 12 августа больных и раненых красноармейцев, находящихся на лечении в госпиталях Житомира. Приказом разрабатывались оперативные мероприятия по изъятию оружия, для чего создавались отряды красноармейцев, в каждый из которых входили уполномоченный и пять агентов Чрезвычайной комиссии; в операции должны были участвовать военкомы госпиталей, в случае их отсутствия — главные врачи. В приказе, в частности, говорилось, что отряд, назначенный в определенный госпиталь, «при военкоме госпиталя отправляется к месту назначения в 4 часа утра в боевом порядке и, прибыв на место назначения, окружает здание госпиталя, заняв все входы и выходы. Уполномоченный, агенты, военком госпиталя с незначительной частью из отряда входят в госпиталь и в вежливой форме находящимся там больным предлагают выдать имеющееся у них оружие, как огнестрельное, так и холодное, и, несмотря на сдачу, уполномоченному и имеющимся в его распоряжении агентам произвести тщательный обыск в помещении красноармейцев для изъятия как оружия, так и всего незаконно хранящегося.

В случае неисполнения приказа о сдаче и сопротивления начальник отряда принимает все меры к предотвращению применения оружия и, в крайнем случае, под личной ответственностью как строевого начальника отряда, уполномоченного и военкома госпиталя принять карательные меры по изъятию сопротивляющихся (sic!)» (РГВА. Ф. 245. Оп. 1. Д. 45. Л. 7).

Последний приказ был выполнен, о чем свидетельствует, в частности, «Резолюция раненых бойцов 1-го хирургического госпиталя имени тов. Буденного», направленная в Реввоенсовет (эта резолюция может служить иллюстрацией к рассказу «Измена»):

«Мы, раненые бойцы, просим обратить внимание Реввоенсовета на следующие возмутительные явления, выразившиеся со стороны местных властей. 12 августа с/г в 3 часа ночи вдруг без всякого предупреждения военкома или политрука был оцеплен госпиталь войсками. Выставлены были пулеметы, а также выставлены были часовые у дверей каждой палаты. Во время обстрела госпиталей раненые красноармейцы, не зная, откуда производится стрельба, стали бросаться к дверям. Но часовые силой оружия заставили обратно войти их в палаты. Такой случай был со стороны красного офицера, который также наставлял револьвер к груди раненого красноармейца. Расспрашивая часовых, что это происходит, некоторые из них говорили, что на город Житомир напали бандиты. Спустя несколько минут они стали производить обыск оружия, переворачивая матрацы под ранеными, которые, растревоженные этим, начали стонать от боли ран. А на втором этаже раненые, услышав эти стоны, стали волноваться, думая, что внизу убивают их товарищей. Несмотря на все угрозы часовых, начали бежать на низ (sic!) по направлению к улице, дабы спасти свою жизнь.

Общее собрание ранбольных бойцов признает этот порядок неорганизованным и незаконным, нарушающим спокойствие госпиталя. Подобный поступок мог повести (к) весьма нежелательным результатам, к столкновению обеих сторон.

А потому просим Реввоенсовет 1-й Конной армии произвести строжайшее расследование по поводу этих действий и привлечь виновников произвола к ответственности и что(бы) впредь таких случаев действий над ранеными бойцами не было.

Общее собрание признает, что подобные явления могут отразиться на фронте» (РГВА. Ф. 245. Оп. 19. Д. 4. Л. 1).

[1] notes: 1.192

Товарищ следователь Бурденко. — Вероятно, отсылка к имени знаменитого хирурга Николая Ниловича Бурденко (1876–1946).

[2] notes: 1.193

Пуанкаре (Poincare) Раймон (1860–1931) — французский политический и государственный деятель, в 1913–1920 гг. президент Франции.

[3] notes: 1.194

…палача германской революции Эберта-Носке… — Объединены два имени немецких политических и государственных деятелей: Эберт (Ebert) Фридрих (1871–1925) — один из ведущих деятелей социал-демократической партии Германии, первый рейхсканцлер Германии после Ноябрьской революции 1918 г., первый президент Германии (Веймарская республика, 1919–1920); Носке (Noske) Густав (1868–1946) —

социал-демократ, в 1919–1920 гг. рейхсминистр обороны Германии.

товарищем Троцким не отворотили озверелый мой штык и не указали ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер двадцать четыре два нуля на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный N…ский госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Язейн, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, пер-

воначально поступали на излечение, и с первых слов он заявил нам слишком грубо: вы, бойцы, искупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхгауз[4]... И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своею перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, и также поинтересовался узнать об цейхгаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы. И тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калеченными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно: товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, мы есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого недостает руки, тот опирается на товарище-

---

[4] notes: 1.195

Цейхгауз — «военная кладовая для оружия или амуниции» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 573).

во плечо. Согласно отданного приказания пошли мы в палату, где ожидали увидеть культработу и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на устланных постелях, играющих в шашки, и при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные.

— Отвоевались, ребята? — восклицаю я раненым.

— Отвоевались, — отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба.

— Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть и на горизонте полно туч. — Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана, и заместо всего разговор получился у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже были побеждены. Они растревожили этим Кустова нельзя сказать как, и тот стал обрывать свою

рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас, сонных, одежду или заставляли для культработы играть театральную ролю в женском платье, что не подобает.

Немилосердные сиделки… Не однажды примерялись они к нам ради одежи сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами. И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими, слабосильными старушками с Кубани… И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фулиганит над нами и с ней немилосердные сиделки, которые всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудьями и

несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся! От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась и она, Первая Конная Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах: не отвоевалась она, а только отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор и со двора пустились мы в жару, в синих язвах к гражданину Бойдерману, к предуревкома[5], без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой, возможная вещь, и не существовало бы, то есть без того предуревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Бойдермана, но только, зайдя к предуревкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет, в тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это некрасота смотреть… Гражданин Бойдерман кидает глазами то туда то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами, тем

---

[5] notes: 1.196
Предуревком — председатель уездного революционного комитета.

более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Бойдерману за продовольствием, вперебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости и без волокиты… Так же и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда то сюда, и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищи бойцы, если вы жалеете советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какового потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь, перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни!

В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела…

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому…»

Чесники*

*** comments: ***

Чесники

Впервые: Кр. Н. 1924. № 3. С. 23–26, под рубрикой «Из книги “Конармия”».

Рассказ связан с рейдом на Замостье. Село Чесники упоминается в приказе по 6-й кавалерийской дивизии от 28 августа 1920 г. (см. примеч. 1 к рассказу «Замостье»).

Рассказ основан на дневниковой записи от 31 августа: «Предстоит атака. Бригады накапливаются в лесу — версты 2 от Чесники. — Ворошилов и Буденный все время с нами (…) Ворошилов, коротенький, седеющий, в красных штанах с серебряными лампасами, все время торопит, нервирует, подгоняет Апанасенку, почему не подходит 2(-я) бригада. Ждем подхода 2(-й) бригады. Время тянется мучительно долго. Не торопить меня, т(оваришц) Ворошилов. Ворошилов — все погибло к и м. — Буденный молчит, иногда улыбается, показывая ослепительные белые зубы. Надо сначала пустить бригаду, потом полк. Ворошилову не терпится, он пускает в атаку всех, кто есть под рукой. Полк проходит перед Ворош(иловым) и Буд(енным). Ворош(илов) вытянул огромный револьвер, не давать панам пощады, возглас принимается с удовольствием. Полк выле-тает нестройно. Ура, даешь, один скачет, другой задерживает, третий рысью, кони не идут, котелки и ковры. Наш эскадрон идет в атаку. Скачем версты четыре. Они колоннами ждут нас на холме. Чудо-никто не пошевелился. Выдержка, дисциплина. Офицер с черной бородой. Я под пулями. Мои ощущения. Бегство. Военкомы заворачивают. Ничего не помогает. К счастью(,) они не преследуют, иначе была бы катастрофа. Стараются собрать бригаду для второй атаки, ничего не получается».



Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Чесники, и ждала сигнала к атаке. Но Павличенко, начдив шесть, поджидал вторую бригаду и не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал:

— Волыним, начдив шесть, волыним.

— Вторая бригада, — ответил Павличенко глу-

хо, — согласно вашего приказания идет на рысях к месту происшествия.

— Волыним, начдив шесть, волыним, — сказал Ворошилов и рванул на себе ремни.

Павличенко отступил от него на шаг.

— Во имя совести, — закричал он и стал ломать сырые пальцы, — во имя совести, не торопить меня, товарищ Ворошилов…

— Не торопить, — прошептал Клим Ворошилов, член Реввоенсовета, и закрыл глаза. Он сидел на лошади, глаза его были прикрыты, он молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади.

— Командарм, — закричал он, оборачиваясь к Буденному, — скажи войскам напутственное слово. Вот он стоит на холмике, поляк, стоит, как картинка, и смеется над тобой…

Поляки, в самом деле, были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон.

Иван Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, проехал мимо и толкнул меня стременем.

— Ты в строю, Иван? — сказал я ему. — Ведь у тебя ребер нету…

— Положил я на эти ребра… — ответил Акинфиев, сидевший на лошади бочком. — Дай послухать, что человек рассказывает.

Он проехал вперед и притиснулся к Буденному в упор. Тот вздрогнул и тихо сказал:

— Ребята, — сказал Буденный, — у нас плохая положения, веселей надо, ребята…

— Даешь Варшаву! — закричал казак в лаптях и в котелке, выкатил глаза и рассек саблей воздух.

— Даешь Варшаву! — закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в середину эскадронов.

— Бойцы и командиры! — сказал он со страстью. — В Москве, в древней столице, борется небывалая власть. Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привезти победу.

— Сабли к бою… — отдаленно запел Павличенко за спиной командарма, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красный казакин начдива был оборван, мясистое его лицо искажено. Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову.

— Согласно долгу революционной присяги, — сказал начдив шесть, хрипя и озираясь, — докладаю Реввоенсовету Первой Конной: вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия.

— Делай, — ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, Буденный поехал с ним рядом. Они ехали на длинных рыжих кобылах, рядом, в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними, и бледная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца. Но я не услышал единодушия в казацком вое, и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, в глубь его, к стоянке питпункта[1].

Там лежал в бреду раненый красноармеец, и Степка Дуплищев, вздорный казачонок, чистил скребницей Урагана, кровного жеребца, принадлежавшего начдиву и происходившего от Люлюши, ростовской рекордистки. Раненый скороговоркой вспоминал о Шуе, о нетели[2] и

---

[1] notes: 1.197

Питпункт (пит пункт) Здесь: полевой госпиталь. *(Примечание компилятора.)*

[2] notes: 1.198

Нетель — ни разу не рожавшая самка крупного рогатого скота.

каких-то оческах[3] льна, а Дуплищев, заглушая его жалкое бормотанье, пел песню о денщике и толстой генеральше, пел все громче, взмахивал скребницей и гладил коня. Но его прервала Сашка, опухшая Сашка, дама всех эскадронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю.

— Сделаемся, што ль? — сказала Сашка.

— Отваливай, — ответил Дуплищев, повернулся к ней спиной и стал заплетать ленточки в гриву Урагану.

— Своему слову ты хозяин, Степка, — сказала тогда Сашка, — или ты вакса?

— Отваливай, — ответил Степка, — своему слову я хозяин.

Он вплел все ленточки в гриву и вдруг закричал мне с отчаянием:

— Вот, Кирилл Васильич, обратите маленькое внимание, какое надругание она надо мной делает. Это цельный месяц я от нее вытерпляю несказанно што. Куды ни повернусь — она тут, куды ни кинусь — она загородка путя моего: спусти ей жеребца да спусти ей жеребца. Ну, когда начдив каждодневно мне наказывает: «К тебе, — говорит, — Степка, при таком жеребце

---

[3] notes: 1.199

Очески — остатки, отходы при очесывании льна, хлопка, шерсти и т. п.

много проситься будут, но не моги ты пускать его по четвертому году…»

— Вас небось по пятнадцатому году пускаешь, — пробормотала Сашка и отвернулась. — По пятнадцатому небось, и ничего, молчишь, только пузыри пускаешь…

Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовилась ехать.

Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, чудовищная грудь ее закидывалась за спину.

— Целковый-то я привезла, — сказала Сашка в сторону и поставила туфлю со шпорой в стремя. — Привезла, да вот отвозить надо.

Женщина вынула два новеньких полтинника, поиграла ими на ладони и спрятала опять за пазуху.

— Сделаемся, што ль? — сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца.

Сашка выбрала покатое место на полянке и поставила кобылу.

— Ты один, видно, на земле с жеребцом ходишь, — сказала она Степке и стала направлять Урагана, — да только кобыленка у меня позиционная, два года не покрыта, — дай, думаю, хороших кровей добуду…

Сашка справилась с жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь.

— Вот мы и с начинкой, девочка, — прошептала она, поцеловала свою кобылу в лошадиные пегие мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась о лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топавший по лесу.

— Вторая бригада бежит, — сказала Сашка строго и обернулась ко мне. — Ехать надо, Лютыч…

— Бежит, не бежит, — закричал Дуплищев, а у него перехватило в горле, — ставь, дьякон, деньги на кон…

— С деньгами я вся тут, — пробормотала Сашка и вскочила на кобылу.

Я бросился за ней, и мы двинулись галопом. Вопль Дуплищева раздался за нами и легкий стук выстрела.

— Обратите маленькое внимание! — кричал казачонок и изо всех сил бежал по лесу.

Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц, вторая бригада летела сквозь галицийские дубы, безмятежная пыль канонады восходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку начдива мы пошли в атаку, незабываемую атаку при Чесниках.

После боя*

История распри моей с Акинфиевым такова.

Тридцать первого числа случилась атака при Чесниках.[1] Эскадроны скопились в лесу возле деревни и в шестом часу вечера кинулись на неприятеля. Он ждал нас на возвышенности, до которой было три версты ходу. Мы проскакали три версты на лошадях, беспредельно утомленных, и, вскочив на холм, увидели мертвенную стену из черных мундиров и бледных лиц. Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду есаулом Яковлевым.[2]Построив всадников в каре, есаул ждал нас с шашкой наголо. Во рту его блестел золотой зуб,

---

*** comments: ***

После боя

Впервые: Прожектор. 1924. № 20. С. 12 и 14, с подзаголовком «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Галиция, сентябрь, 1920». Повторно: ОИ. 1924. 2 нояб. С. 3, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Галиция, сентябрь 1920».

[1] notes: 1.200

Тридцать первого числа случилась атака при Чесниках. — См. рассказ «Чесники» и преамбулу к примеч.

[2] notes: 1.201

Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду есаулом Яковлевым. — О есауле Яковлеве см. примеч. 6 к рассказу «Вдова».

Ряд подробностей об этом, в чем-то отличающихся от рассказа «После боя» и дневника Бабеля, есть в дневниковой записи Орловского от 28 августа:

«За Комаровым у Зубовице в этот день Конармия вела бой с “казачьей” бригадой, которой командовал есаул Яковлев. С первого же столкновения бригада была разорвана на части и уничтожена. Остатки разбежались по лесу. У одного из убитых командиров был найден подлинный приказ Яковлева с обозначением соседних частей противника и черновик договора бригады с польским командованием. В этом проекте договора деникинцы уже отказываются от былого лозунга борьбы “за единую и неделимую”, а идут под лозунгом борьбы против большевиков и большевизма. Сам Яковлев живым в плен не отдался и застрелился. В плен взята его жена.

Бригада Яковлева, называвшаяся почему-то казачьей, на самом деле состояла из незначительного количества казаков под командованием одного небезызвестного деникинского орла, генерала Бредова, а большая ее часть сформировалась в Калише из белополяков, впервые брошенных на фронт» (Орловский. С. 95).

О комаровском погроме говорится и в статье Бабеля «Недобитые убийцы», напечатанной в «Красном кавалеристе» 17 сентября 1920 г.

черная борода лежала на груди, как икона на мертвеце. Пулеметы противника палили с двадцати шагов, раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их и ударились об неприятеля, но каре его не дрогнуло, тогда мы бежали.

Так была одержана савинковцами недолговременная победа над шестой дивизией. Она была одержана потому, что атакуемый не отвратил лица перед лавой налетающих эскадронов. Есаул стоял на этот раз, и мы бежали, не обагрив сабель жалкой кровью изменников.

Пять тысяч человек, вся дивизия наша неслась по склонам, никем не преследуемая. Неприятель остался на холме. Он не поверил неправдоподобной своей победе и не решался на погоню. Поэтому мы остались живы и скатились без ущерба в долину, где встретил нас Виноградов, начдив шесть.[3] Виноградов метался на взбесившемся скакуне и возвращал в бой бегущих казаков.

— Лютов, — крикнул он, завидев меня, — заверотти мне бойцов, душа из тебя вон!..

Виноградов колотил рукояткой маузера качав-

---

[3] notes: 1.202

…где встретил нас Виноградов, начподив шесть. — Начподив — начальника политотдела дивизии. В книжной версии рассказа «Берестечко» фамилию Виноградов носит комиссар 6-й дивизии (подлинная фамилия военкома-Винокуров), начальником политотдела дивизии был Яковлев.

шегося жеребца, взвизгивал и сзывал людей. Я освободился от него и подъехал к киргизу Гулимову, скакавшему неподалеку.

— Наверх, Гулимов, — сказал я, — завороти коня…

— Кобылячий хвост завороти, — ответил Гулимов и оглянулся. Он оглянулся воровато, выстрелил и опалил мне волосы над ухом.

— Твоя завороти, — прошептал Гулимов, взял меня за плечи и стал вытаскивать саблю другой рукой. Сабля туго сидела в ножнах, киргиз дрожал и озирался. Он обнимал мое плечо и наклонял голову все ближе.

— Твоя вперед, — повторял он чуть слышно, — моя за тобой следом… — легонько стукнул меня в грудь клинком подавшейся сабли. Мне сделалось тошно от близости смерти и от тесноты ее, я отвел ладонью лицо киргиза, горячее, как камень под солнцем, и расцарапал его так глубоко, как только мог. Теплая кровь зашевелилась под моими ногтями, защекотала их, я отъехал от Гулимова, задыхаясь, как после долгого пути. Истерзанный друг мой, лошадь, шла шагом. Я ехал, не видя пути, я ехал, не оборачиваясь, пока не встретил

Воробьева, командира первого эскадрона.[4] Воробьев искал своих квартирьеров и не находил их. Мы добрались с ним до деревни Чесники и сели там на лавочку вместе с Акинфиевым, бывшим повозочным Ревтрибунала. Мимо нас прошла Сашка, сестра 31-го кавполка, и два командира подсели на лавочку. Командиры эти задремывали и молчали, один из них, контуженный, неудержимо качал головой и подмигивал выкатившимся глазом, Сашка пошла сказать об нем в госпиталь и потом вернулась к нам, таща лошадь на поводу. Кобыла ее упиралась и скользила ногами по мокрой глине.

— Куда паруса надула? — сказал сестре Воробьев. — Посиди с нами, Саш…

— Не сяду я с вами, — ответила Сашка и ударила кобылу в живот, — не сяду…

---

[4] notes: 1.203

…пока не встретил Воробьева, командира первого эскадрона. — Воробьев — реальный человек, служивший в Первой конной. Его имя несколько раз упомянуто в дневнике, в том числе в связи с боем у Чесников. Адамы, 21 августа: «Воробьев принял 2(-й) эскадрон. — Солдаты довольны»; Витков, 23–24 августа: «…бывший комендант Воробьев (…) неизменно веселый и, кажется, глупый человек»; Чесники, 31 августа: «Веселый дураковатый Воробьев, рассказывает о своих подвигах, подскочил, 4 выстрела в упор. Апанас(енко) неожиданно оборачивается, ты сорвал атаку, мерзавец»; Те-ребин, 1 сентября: «Бесконечные разговоры о вчерашней атаке, вранье, искреннее сожаление, бойцы молчат. Дурак Воробьев звонит. Его оборвал Начдив. — Начало конца 1(-й) Конной».

— Что так? — закричал Воробьев, смеясь. — Али ты, Саш, передумала с мужчинами чай пить?..

— С тобой передумала, — обернулась баба к командиру и бросила повод далеко от себя. — Передумала я, Воробьев, с тобой чай пить, потому видала я вас сегодня, герои, и твою некрасоту видала, командир…

— А когда видала, — пробормотал Воробьев, — так и стрелять было впору…

— Стрелять?! — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку.[5] — Этим, что ли, стрелять мне?

И тут придвинулся к нам Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, с которым не сведены были у меня давние счеты.

— Стрелять тебе нечем, Сашок, — сказал он успокоительно, — тебя ефтим никто не виноватит, но только виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает… Ты в атаку шел, — закричал мне вдруг Акинфиев, и судорога облетела его лицо, — ты шел и патронов не залаживал… где тому при-

---

[5] notes: 1.204

— Стрелять, — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку, — этим, что ли, стрелять мне? — Ср. с дневниковой записью от 31 августа: «Рассказ сестры — есть сестры, которые только симпатию устраивают, мы помогаем бойцу, все тяготы с ним, стреляла бы в таких, да чем стрелять будешь, х-м, да и того нет».

чина?

— Отвяжись, Иван, — сказал я Акинфиеву, но он не отставал и подступал все ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер.

— Поляк тебя да, а ты его нет… — бормотал казак, вертясь и ворочая разбитым бедром. — Где тому причина?..

— Поляк меня да, — ответил я дерзко, — а я поляка нет…

— Значит, ты молокан[6]? — прошептал Акинфиев, отступая.

— Значит, молокан, — сказал я громче прежнего. — Чего тебе надо?

— Мне того надо, что ты при сознании, — закричал Иван с диким торжеством. — Ты при сознании, а у меня про молокан есть закон писан: их в расход пускать можно, они бога почитают…

Собирая толпу, казак кричал про молокан не

---

[6] notes: 1.205

Молокане — религиозная христианская секта, признающая служение Богу только «в духе и в истине» и отрицающая церковную иерархию, иконы, обряды богослужения в православии; молокане отказываются от военной службы и ношения оружия. Ср. с рассказом Бабеля «Первая любовь» (1925):

«— На молокан должна быть похожа наша жизнь, — бормотал он и пошатывался на подворачивающихся ногах, — вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без бога этого сталоверского, от него евреям выгода, другому никому…

И Власов с отчаянием закричал о сталоверском боге, пожалевшем одних евреев» (.ИМГ. С. 32).

переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком.

— Ты патронов не залаживал, — с замиранием прошептал Акинфиев над самым моим ухом и завозился, пытаясь большими пальцами разодрать мне рот, — ты бога почитаешь, изменник…

Он дергал и рвал мой рот, я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфиев боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь.

Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом большаке.

— У петухов одна забота, — сказала Сашка, — друг дружке в морду стучаться, а мне от делов от этих от сегодняшних глаза прикрыть хочется…

Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Акинфиева, а я поплелся в деревню Чесники, поскользнувшуюся на неутомимом галицийском дожде.

Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной,

пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека.

Песня*

На постое в сельце Будятичах мне пала на долю злая хозяйка. Она была вдова, она была бедна; я отбил много замков у ее чуланов, но не нашел в них живности.

Мне оставалось исхитриться, и вот однажды, вернувшись рано домой, до сумерек, я увидел, как хозяйка приставляла заслонку к неостывшей печи. В хате пахло щами, и, может быть, в этих щах было мясо. Я услышал мясо в ее щах и положил револьвер на стол, но старуха отпиралась, у нее показались судороги в лице и в черных пальцах, она темнела и смотрела на меня с испугом и удивительной ненавистью. Но ничто не спасло бы ее,

---

*** comments: ***

Песня

Впервые: Кр. Н. 1925. № 3. С. 125–127, под названием «Вечер», под рубрикой «Из дневника»; авторская датировка: «Сокаль, VIII, 1920 г.». Одновременно: Шк. 1925. № 15. С. 14–15, под названием «Вечер». В книге датировки нет.

Исправлена опечатка, допущенная в Кр. Н., Шк. и в КА-1926: «Песня летала…» на «Песня летела…» и опечатка, допущенная в Кр. Н. ив КА-1926: «…отодвинула к стене немного мальчика…» на «…отодвинула к стене немого мальчика…».

Некоторые детали — хозяйский сын с большой головой, поведение самой хозяйки и героя-повествователя — перешли в рассказ из дневниковой записи от 28 июля, сделанной в Хотине: «Я живу в бедной хате, где сын с большой головой играет на скрипке. Терроризирую хозяйку,

›››
она ничего не дает (…) Хозяйка прячет свиней и корову».

я донял бы ее револьвером, кабы мне не помешал в этом Сашка Коняев, или, иначе, Сашка Христос.

Он вошел в избу с гармоникой под мышкой, прекрасные его ноги болтались в растоптанных сапогах.

— Поиграем песни, — сказал он и поднял на меня глаза, заваленные синими сонными льдами. — Поиграем песни, — сказал Сашка, присаживаясь на лавочку, и проиграл вступление.

Задумчивое это вступление шло как бы издалека, казак оборвал его и заскучал синими глазами. Он отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню.

«Звезда полей, — запел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука…»[1]

Я любил эту песню. Сашка знал об этом, потому что мы оба — он и я — услышали ее в первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона и станицы

---

[1] notes: 1.206

«Звезда полей, — запел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука…» — Эта народная песня, возможно, вдохновила Н. М. Рубцова на создание стихотворения «Звезда полей» (1964). А в 1963 г. В. Н. Соколов написал стихотворение с тем же названием, скорее всего, под влиянием рассказа Бабеля.

Кагальницкой.[2]

Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там, в заповедных водах, мечет икру рыба и водятся несметные стаи птиц. Рыба плодится в гирлах в непередаваемом изобилии, ее можно брать ковшами или просто руками, и если поставить в воду весло, то оно будет стоять стоймя, — рыба держит весло и несет его с собой. Мы видели это сами, мы не забудем никогда заповедных вод у Кагальницкой. Все власти запрещали там охоту, — это правильное запрещение, но в девятнадцатом году в гирлах была жестокая война, и охотник Яков, промышлявший у нас на виду неправильный свой промысел, подарил для отвода глаз гармонику эскадронному нашему певцу Сашке Христу. Он научил Сашку своим песням: из них многие были душевного, старинного распева. За это мы все простили лукавому охотнику, потому что песни его были нужны нам: никто не видел тогда конца войне, и один Сашка устилал звоном и слезой утомительные наши пути. Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом. Так

---

[2] notes: 1.207

...он и я — услышали ее в первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона, у станицы Кагальницкой. — Бои у Кагальницкой шли в январе-феврале 1920 г.

было на Кубани и в зеленых походах[3], так было на Уральске и в Кавказских предгорьях, и вот до сегодняшнего дня. Песни нужны нам, никто не видит конца войне, и Сашка Христос, эскадронный певец, не дозрел еще, чтобы умереть…

Вот и в этот вечер, когда я обманулся в хозяйских щах, Сашка смирил меня полузадушенным и качающимся своим голосом.

«Звезда полей, — пел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука…»

И я слушал его, растянувшись в углу на прелой подстилке. Мечта ломала мне кости, мечта трясла подо мной истлевшее сено, сквозь горячий ее ливень я едва различал старуху, подпершую рукой увядшую щеку. Уронив искусанную голову, она стояла у стены не шевелясь и не тронулась с места после того, как Сашка кончил играть. Сашка кончил и отложил гармонику в сторону, он зевнул и засмеялся, как после долгого сна, и потом видя запустение вдовьей нашей хижины, смахнул сор с лавки и притащил ведро воды в хату.

— Вишь, сердце мое, — сказала ему хозяй-

---

[3] notes: 1.208

…и в зеленых походах… — Имеются в виду походы против нерегулярных вооруженных, преимущественно крестьянских и казачьих, формирований, противостоявших и большевикам, и белогвардейцам. «Зеленые повстанцы», или «зеленые партизаны», скрывались в основном в лесах, за что и получили свое название.

ка, поскреблась спиной у двери и показала на меня, — вот начальник твой пришел давеча, накричал на меня, натопал, отнял замки у моего хозяйства и оружию мне выложил… Это грех от бога — мне оружию выкладывать: ведь я женщина…

Она снова поскреблась о дверь и стала набрасывать кожухи[4] на сына. Сын ее храпел под иконой на большой кровати, засыпанной тряпьем. Он был немой мальчик с оплывшей, раздувшейся белой головой и с гигантскими ступнями, как у взрослого мужика. Мать вытерла ему нечистый нос и вернулась к столу.

— Хозяюшка, — сказал ей тогда Сашка и тронул ее плечо, — ежели желаете, я вам внимание окажу…

Но бабка как будто не слыхала его слов.

— Никаких щей я не видала, — сказала она, подпирая щеку, — ушли они, мои щи; мне люди одну оружию показывают, а и попадется хороший человек и посластиться бы с ним в пору, да вот такая тошная стала, что и греху не обрадуюсь…

Она тянула унылые свои жалобы и, бормоча, отодвинула к стене немого мальчика. Сашка лег с

---

[4] notes: 1.209
Кожух — тулуп из овчины.

ней на тряпичную постель, а я попытался заснуть и стал придумывать себе сны, чтобы мне заснуть с хорошими мыслями.

Сын рабби*

*** comments: ***

Сын рабби

Впервые: *ОИ*. 1924. 9 марта. С. 4, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «Бердичев, сентябрь 1920». Одновременно: Кр. Н. 1924. № 1. С. 69–71, под рубрикой «Из книги “Конармия”». В журнале и в книге датировки нет.

Список с подписью автора, местом и датой «Киверцы, сентябрь, 1920» рукой Бабеля, без начала (начинается со слов: «стены. Потом раздвинулась…»): РГАЛИ. Ф. 602. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 6–9.

В рассказе переосмыслена дневниковая запись от 12 сентября, сделанная в Киверцах: «Поезд отправляется быстро, солдаты и обозы бегут, раненые с искаженными лицами скачут к нам в вагон, политработник, задыхающийся, у которого упали штаны, еврей с тонким просвечивающим лицом, м(ожет) б(ыть,) хитрый еврей (…) вскакивают дезертиры с сломанными руками, больные из санлетучки».



...Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?

Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель

IV Интернационала[1], вел нас к рабби Моталэ Брацлавскому на вечернюю молитву. Смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, и старый шут чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодранном кармане…[2]

…Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес[3] истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка[4], и

---

[1] notes: 1.210

Смешной Гедали, основатель IV Интернационала… — Имеется в виду «Интернационал добрых людей» из рассказа «Гедали».

[2] notes: 1.211

…и старый шут чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодранном кармане… — Речь идет о ребе Мордхэ из рассказа «Рабби»; в субботу по религиозному Закону евреям запрещено брать деньги в руки.

[3] notes: 1.212

Талес (*евр.* талит) — специальное покрывало, которое религиозные евреи накидывают поверх одежды во время молитвы.

[4] notes: 1.213

Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки Торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка… — Обернутые в специальные украшенные покрывала

свитки Торы хранятся в синагоге в особом шкафу — Ковчеге Торы (ивр. арон а-кодеш). Обряд субботнего богослужения описан в рассказе неточно — шкаф со свитками Торы в канун субботы не открывается (см.: Бабель И.Э. «Детство» и другие рассказы. С. 390). Тора — в широком смысле совокупность традиционного иудейского религиозного закона, в узком смысле — пятикнижие Моисея.

повисшее над торой безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии…[5]

И вот третьего дня, Василий, полки двенадцатой армии открыли фронт у Ковеля.[6] В городе загремела пренебрежительная канонада победителей. Войска наши дрогнули и перемешались. Поезд политотдела стал уползать по мертвой спине полей. Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти. Оно прыгало на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов. Оно сопело, скреблось, летело вперед и молчало. А на двенадцатой версте, когда у меня не стало картошки, я швырнул в них грудой листовок Троцкого.[7] Но только один из них протянул за листовкой

---

[5] notes: 1.214

…прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии… — О династии у хасидских цадиков см. примеч. 3 к рассказу «Рабби».

[6] notes: 1.215

…полки двенадцатой армии открыли фронт у Ковеля. — Ср. с дневниковой записью от 12 сентября: «Заведение, которое называется 12(-й) армией. На одного бойца-4 тыловика, 2 дамы, 2 сундука с вещами, да и этот единственный боец не дерется. Двенадцатая армия губит фронт и Конармию, открывает наши фланги, заставляет затыкать собой все дыры. У них сдался в плен, открыли фронт…» Клюев так характеризовал обстановку на фронте 12 и 13 сентября:
«С рассветом 12-го противник переправился на восточный берег р. Зап. Буг у д. Выгоданка против г. Грубешова и повел ожесточенные атаки на расположение 4-й и 6-й кавдивизий с целью выйти на Владимир-Волынск.

Ввиду наличия у противника большого количества артиллерии, контратаки 4-й и 6-й кавдивизий успеха не имели (…)

В этот же день под давлением противника малобоеспособные части 12-й армии отходили на г. Ковель (…)

Утром 13 сентября после упорного боя с превосходными силами противника 14-я кавдивизия оставила г. Владимир-Волынск.

В этот же день противник с налета занял г. Ковель, продолжая наседать на части 12-й армии» (Клюев. С. 131–132).

[7] notes: 1.216

…я швырнул в них грудой листовок Троцкого. — Листовки выпускались редакцией газеты «Красный кавалерист», поэтому тиражи листовок могли находиться в поезде Политотдела. Ср. с письмом начальника Политотдела Первой конной в редакцию: «При сем препровождается телеграмма Реввоенсовета Югзапа с отношением Редвоенсовета 1-й Конной № 727 для составления соответствующей листовки и отпечатания листовки тов. Троцкого (щадите пленных)» (РГВА. Ф. 245. Оп. 2. Д. 15. Л. 68).

грязную мертвую руку. И я узнал Илью, сына житомирского рабби. Я узнал его тотчас, Василий. И так томительно было видеть принца, потерявшего штаны, переломанного надвое солдатской котомкой, что мы, переступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые, как у старухи, стукались о ржавое железо ступенек; две толстогрудые машинистки в матросках волочили по полу длинное застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции, на полу. Казаки в красных шароварах поправили на нем упавшую одежду. Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, курчавую мужественность исчахшего семита. А я, видевший его в одну из скитальческих моих ночей, я стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красноармейца Брацлавского.

Здесь все было свалено вместе — мандаты агитатора и памятники еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида[8] лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений

[8] notes: 1.217

Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. — О Маймониде см. примеч. 8 к рассказу «Гедали».

шестого съезда партии[9], и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня — страницы «Песни песней»[10] и револьверные патроны. Печальный дождь заката обмыл пыль моих волос, и я сказал юноше, умиравшему в углу на драном тюфяке:

— Четыре месяца тому назад, в пятницу вечером, старьевщик Гедали привел меня к вашему отцу[11], рабби Моталэ, но вы не были тогда в партии, Брацлавский.

— Я был тогда в партии, — ответил мальчик, царапая грудь и корчась в жару, — но я не мог оставить мою мать…

— А теперь, Илья?

— Мать в революции — эпизод, — прошептал

---

[9] notes: 1.218

Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии… — VI съезд РСДРП(б) проходил с 26 июля (8 августа) по 3 (16) августа 1917 г. в Петрограде. В версии рассказа в *ОИ* [(Литературно-художественное приложение к газете «Известия Одесского Губисполкома, Губкома КП(б)У, и Губпрофсовета».)] речь шла о VII съезде, который состоялся 6–8 марта 1918 г. и на котором Российская социал-демократическая рабочая партия была переименована в Российскую коммунистическую партию. Главным вопросом на съезде был вопрос о войне и мире. Съезд проходил в обстановке строгой конспирации, а его материалы были напечатаны только в 1923 г. Поэтому указание на «книжку постановлений VII-го съезда партии» в *ОИ* по отношению ко времени действия рассказа являлось анахронизмом.

[10] notes: 1.219

Песнь песней — 30-я часть Танаха (Священного Писания на иврите),

4-я книга Ктувим (третьего раздела еврейской Библии), каноническая книга Ветхого Завета; приписывается царю Соломону.

[11] notes: 1.220

— *Четыре месяца тому назад, в пятницу вечером, старьевщик Гедали привел меня к вашему отцу...* — На самом деле между событиями, описанными в рассказах «Рабби» и «Сын рабби», прошло менее двух с половиной месяцев.

он, затихая. — Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фронт…

— И вы попали в Ковель, Илья?

— Я попал в Ковель! — закричал он с отчаянием. — Кулачье открыло фронт. Я принял сводный полк, но поздно. У меня не хватило артиллерии…

Он умер, не доезжая Ровно. Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий[12] и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я — едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата.

---

[12] notes: 1.221

Филактерии, или тфилин — элемент религиозного облачения еврея: две коробочки из выкрашенной черной краской кожи кошерных животных, внутри которых помещены написанные на пергаменте отрывки из Торы; во время утренней молитвы филактерии укрепляются специальными кожаными черными ремешками на лбу и на руке.

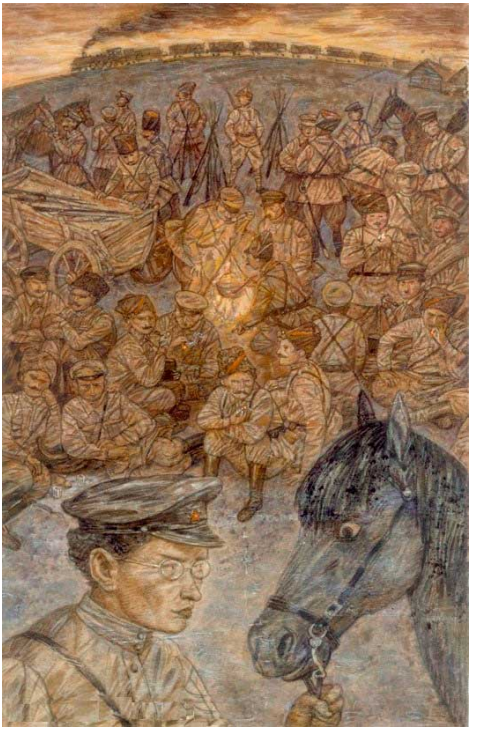
Аргамак*

*** comments: ***

Аргамак

Впервые: Новый мир. 1932. № 3. С. 125–127, с подзаголовком: «Ненапечатанная глава из “Конармии”»; авторская датировка: «1924–1930». Печатается по первой публикации.

Автор включил «Аргамак» в КА-1933 и в последующие издания (Рассказы-1934, Рассказы-1936), соответственно основной корпус «Конармии» в них составил 35 рассказов.



Я решил перейти в строй. Начдив поморщился, услышав об этом.

— Куда ты прешься?.. Развесишь губы — тебя враз уконтрапупят…

Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию — шестую.[1] Меня определили в 4-й эскадрон 23-го кавполка. Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик.[2] Для острастки он запустил себе бороду. Пепельные клоки закручивались у него на подбородке. В двадцать два свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное тысячам Баулиных, вошло важным слагаемым в победу революции. Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Лишения были ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну руку другой, и просыпался так, что незаметен был переход от забытья к бодрствованию.

---

[1] notes: 1.223

Я решил перейти в строй. (…) Выбор мой пал на самую боевую дивизию — шестую. — Рассказ начинается с логической инверсии: сперва упоминается начдив, надо полагать, начдив шесть, а затем сообщается о том, что герой выбрал 6-ю дивизию. Подобная инверсия может быть связана с толкованием Раши и его последователями библейских анахронизмов, о котором Бабель, несомненно, знал (комментарии Раши упоминаются в рассказе «Гедали»): «…главенствующим сюжетным принципом в Торе является переход от общего понятия к частному (…) В Торе нет “ранее” и “позднее” — иными словами, нет хронологической упорядоченности действий (…) установка “от общего к частному” раскрывается в двух аспектах: ахронном, собственно сюжетном (…) и фабульно-хронологическом, когда исходное положение представляет собой как бы нерасчлененный, целостный прообраз последующих событий» (Вайскопф М. Я. О сюжете Пятикнижия // Народ и земля. Иерусалим, 1984. № 1. С. 198). Такого рода инверсия может быть соотнесена

и «с циклическим восприятием времени у Бабеля» в целом, которое, по мнению Вайскопфа, являет «ярчайший пример адаптации религиозного восприятия к литературной работе. Историософия Бабеля циклична, как в Экклезиасте и ахронна, как в Талмуде» (Вайскопф М. Я. Между огненных стен. С. 238–239).

Ср. также с рассуждениями Д. С. Лихачева о древнерусской литературе: «Когда время в произведении течет “открыто” и связано с историческим временем, тогда в произведении легко могут совмещаться несколько временных рядов и последовательность событий может переставляться (сперва может рассказываться более позднее событие, а потом более раннее). Ведь все перестановки и все временные ряды совершаются на фоне исторического времени (…) События имеют некоторую прикрепленность к реальному времени; за последовательностью событий в произведении стоит последовательность историческая. Эта-то последняя и “освобождает” первую» (Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 2-е изд., доп. Л.: Наука, 1967. С. 259).

Из штаба армии Бабель перевелся в 6-ю кавалерийскую дивизию с 24 июня 1920 г.

[2] notes: 1.224

Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик. — Ср. с дневниковой записью от 6 августа: «…обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного рубаку, молодого 23-хлет(него) юношу…»

Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя было. Служба моя началась редким предзнаменованием удачи — мне дали лошадь. Лошадей не было ни в конском запасе, ни у крестьян. Помог случай. Казак Тихомолов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему поручили сопровождать их до штаба бригады, офицеры могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел их до места. Казака решили судить в Ревтрибунале, потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару страшнее трибунала — он забрал у Тихомолова жеребца по прозвищу Аргамак[3], а самого заслал в обоз.

Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не превосходила меру человеческих сил. Тихомолов вел лошадь с Терека, из дому. Она была обучена на казацкую рысь, на особый казацкий карьер — сухой, бешеный, внезапный. Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям. Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов, я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части, попадал в расположение неприятеля, ночевал в оврагах, прибивался к чужим полкам и бывал

[3] notes: 1.225

Аргамак — «рослая и дорогая азиатская лошадь» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. С. 21).

гоним ими. Кавалерийское мое умение ограничивалось тем, что в германскую войну я служил в артдивизионе при пятнадцатой пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, изредка мы ездили в орудийной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жесткой, в раскачку, рыси Аргамака. Тихомолов оставил в наследство коню всех дьяволов своего падения. Я трясся, как мешок, на длинной сухой спине жеребца. Я сбил ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи разъедали эти язвы. Обручи запекшейся черной крови опоясали брюхо лошади. От неумелой ковки Аргамак начал засекаться, задние ноги его распухли в путовом суставе и стали слоновыми. Аргамак отощал. Глаза его налились особым огнем мучимой лошади, огнем истерии и упорства. Он не давался седлать.

— Аннулировал ты коня, четырехглазый, — сказал взводный.

При мне казаки молчали, за моей спиной они готовились, как готовятся хищники, в сонливой и вероломной неподвижности. Даже писем не просили меня писать…

Конная армия овладела Новоград-Волынском. В сутки нам приходилось делать по шестьдесят, по восемьдесят километров. Мы приближались

к Ровно. Дневки были ничтожны. Из ночи в ночь мне снился тот же сон. Я рысью мчусь на Аргамаке. У дороги горят костры. Казаки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не поднимают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смотрят, им не до меня. Что это значит? Равнодушие их обозначает, что ничего особенного нет в моей посадке, я езжу, как все, нечего на меня смотреть. Я скачу своей дорогой и счастлив. Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, от этого снились мне сны.

Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, забитых тряпьем.

Взводный как-то сказал мне:

— Пашка все домогается, каков ты есть…

— А зачем я ему нужен?

— Видно, нужен…

— Он небось думает, что я его обидел?

— А неужели ж нет, не обидел…

Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кровью, привязаны были к моему пути.

— Зачем ты меня врагом наделил? — спросил я Баулина.

Эскадронный проехал мимо и зевнул.

— Это не моя печаль, — ответил он не оборачи-

ваясь, — это твоя печаль…

Спина Аргамака подсыхала, потом открывалась снова. Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильной не было, рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило.

Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии, был земляк Тихомолову, он знал Пашкиного отца там, на Тереке.

— Евоный отец, Пашкин, — сказал мне однажды Бизюков, — коней по охоте разводит… Боевитый ездок, дебелый… В табун приедет — ему сейчас коня выбирать… Приводят. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит… Чего тебе надо?.. А ему вот чего надо: махнет кулачищем, даст раз промежду глаз — коня нету. Ты зачем, Калистрат, животную решил?.. По моей, говорит, страшенной охоте мне на этом коне не ездить… Меня этот конь не заохотил… У меня, говорит, охота, смертельная… Боевитый ездок, это нечего сказать.

И вот Аргамак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила меня от забот.

Конная армия атаковала Ровно. Город был взят.

Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь поляки оттеснили нас.[4] Они дали бой для того, чтобы провести отступающие свои части. Маневр удался. Прикрытием для поляков послужили ураган, секущий дождь, летняя тяжелая гроза, опрокинувшаяся на мир в потоках черной воды. Мы очистили город на сутки. В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрейший из людей.[5] В этом бою дрался и Пашка Тихомолов. Поляки налетели на его обоз. Место было равнинное, без прикрытия. Пашка построил свои телеги боевым порядком, ему одному ведомым. Так, верно, строили римляне свои колесницы. У Пашки оказался пулемет. Надо думать, он украл его и спрятал на случай. Этим пулеметом Тихомолов отбился от нападения, спас имущество и вывел весь обоз, за исключением двух подвод, у которых застрелены были лошади.

---

[4] notes: 1.226

Конная армия атаковала Ровно. Город был взят. Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь поляки оттеснили нас. — Ровно был взят поздно вечером 4 июля, однако ранним утром 9 июля поляки вошли в город, вечером того же дня части 6-й кав-дивизии выбили противника из Ровно.

[5] notes: 1.227

В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрейший из людей. — Дундич (Дундий) Олеко (1896 или 1897–1920) — сербский революционер, участник Первой мировой и Гражданской войн в России. Погиб 7 июля (по другим источникам, 8 июля) 1920 г. в бою под Ровно.

— Ты что бойцов маринуешь, — сказали Баулину в штабе бригады через несколько дней после этого боя.

— Верно, надо, если мариную…

— Смотри, нарвешься…

Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия. Пашка пришел в село Будятичи на площадь перед костелом, где у коновязи поставлены были наши кони. Баулин сидел на ступеньках костела и парил себе в лохани ноги. Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как бывает розовым железо в начале закалки. Клочья юношеских соломенных волос налипли Баулину на лоб. Солнце горело на кирпичах и черепице костела. Бизюков, стоявший рядом с эскадронным, сунул ему в рот папиросу и зажег. Тихомолов, волоча рваную свою мантию, прошел к коновязи. Калоши его шлепали. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину, заржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. На его спине сукровица загибалась кружевом между полосами рваного мяса. Пашка стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на

земле неподвижно.

— Знатьця так, — произнес казак едва слышно. Я выступил вперед.

— Помиримся, Паша. Я рад, что конь идет к тебе. Мне с ним не сладить… Помиримся, что ли?..

— Еще пасхи нет, чтобы мириться, — взводный закручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были распущены, рубаха расстегнута на медной груди, он отдыхал на ступеньках костела.

— Похристосуйся с ним, Пашка, — пробормотал Бизюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата, Пашкиного отца, — ему желательно с тобой христосоваться…

Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться.

Пашка как вкопанный стоял перед лошадью. Аргамак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду.

— Знатьця так, — повторил казак, резко ко мне повернулся и сказал в упор: — Я не стану с тобой мириться.

Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, заметая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко. Баулин

все тер в лохани железную красноватую гниль своих ног.

— Ты меня врагом наделил, — сказал я ему, — а чем я тут виноват?

Эскадронный поднял голову.

— Я тебя вижу, — сказал он, — я тебя всего вижу… Ты без врагов жить норовишь… Ты к этому все ладишь — без врагов…

— Похристосуйся с ним, — пробормотал Бизюков, отворачиваясь.

На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой.

— Ты знаешь, что это получается? — сказал он, не управляясь со своим дыханием, — это скука получается… Пошел от нас к трепаной матери…

Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6-й эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы то ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.

Поцелуй*

В начале августа штаб армии отправил нас для переформирования в Будятичи.[1] Захваченное поляками в начале войны — оно вскоре было отбито нами. Бригада втянулась в местечко на рассвете, я приехал днем. Лучшие квартиры были заняты, мне достался школьный учитель. В низкой комнате, среди кадок с плодоносящими лимонными деревьями, сидел в кресле парализованный старик. На нем была тирольская шляпа с перышком; серая борода спускалась на грудь, осыпанную пеплом. Моргая глазами, он пролепетал какую-то просьбу. Умывшись, я ушел в штаб и вернулся ночью. Мишка Суровцев,

---

*** comments: ***

Поцелуй

Впервые: Кр. Н. 1937. № 7. С. 49–51.

«Поцелуй», тематически связанный с «Конармией», но написанный позднее, стилистически отличается от других конармейских рассказов. Эту разницу почувствовал А.К. Гладков, записавший в своем дневнике 29 августа 1937 г. после прочтения новеллы: «Новый рассказ Бабеля “Поцелуй” примыкает к конармейскому циклу, но менее живописен, суше, реалистически точнее, и внутренний лиризм его спрятан глубоко под поверхностью повествования» (Гладков А. К. Поздние вечера. М.: Сов. писатель, 1986. С. 297).

Нельзя не уловить в этом произведении чеховских интонаций (например, несбыточная мечта о переезде в Москву), а также аллюзии на одноименный рассказ А.П. Чехова.

«Поцелуй» выделяется среди других рассказов о Первой конной повышением «статуса» героя-повествователя: у него есть ординарец — Суровцев. Хотя о достаточно высоком положении Лютова говорится в рассказах «Учение о тачанке» и «Смерть Долгушова», в которых он является «обладателем тачанки» и повозочного к ней. (В реальной жизни у Бабеля-Лютова был даже не один повозочный: Грищука сменил поляк Говинский.)

В селе Будятичи, где разворачивается основное действие рассказа, Бабель, судя по дневнику, находился в начале сентября, однако дневниковые записи, послужившие, возможно, импульсом к написанию «Поцелуя», имеют с содержанием этого произведения мало общего. Ср. 6 сентября: «Будятичи занято 44(-й) див(изией). Столкновения. Они поражены дикой ордой, накинувшейся на них. Орлов — даешь, катись. — Сестра гордая, туповатая, красивая сестра плачет, д(окто)р возмущен тем, что кричат — бей жидов, спасай Россию. Они ошеломлены, начхоза избили нагайкой, лазарет выбрасывают, реквизируют и тянут свиней без всякого учета, а у них есть порядок, всякие уполномоченные с жалобами и Шеко. Вот и буденновцы. — Гордая сестра, каких мы никогда не видали — в белых башмаках и чулках, стройная полная нога, у них организация, уважение человеческого достоинства, быстрая, тщательная работа. — Живем у евреев. — Мысль о доме все настойчивее. Впереди нет исхода»; 7 сентября: «Мы занимаем две комнаты. Кухня полна евреями. Есть беженцы из Крылова, жалкая куча людей с лицами пророков. Спят вповалку. Целый день варят и пекут, еврейка работает, как каторжная, шьет, стирает. Тут же — молятся. Дети, барышни. Хамы — холуи жрут беспрерывно, пьют водку, хохочут, жиреют, икают от желания женщины. — Едим через каждые два часа».

По свидетельству А.Н. Пирожковой, Бабель собирался включить «Поцелуй», опубликованный после выхода однотомника 1936 г., в основной блок книги. В составленном ею двухтомнике этот рассказ завершает конармейский цикл (см.: Бабель И.Э. Соч.: В 2 т. М.: Худож. лит., 1990. С. 136–140, 561).

[1] notes: 1.228

В начале августа штаб армии отправил нас для переформирования в Будятичи. — Переезд в Будятичи Бабель отмечает в дневниковой записи за 3–5 сентября: «Пр(отивни)к наступает. Мы взяли Лотов, отдаем его, он нас отжимает, ни одно наше наступление не удается, отправляем обозы, я еду в Теребин (…) дальше — дождь, слякоть, тоска, переезжаем Буг, Будятичи. Итак, решено отдать линию Буга». Будятичи упоминаются в рассказах «Песня» и «Аргамак».

ординарец, оренбургский казак, доложил мне обстановку: кроме парализованного старика в наличности оказалась дочь его, Томилина Елизавета Алексеевна, и пятилетний сынок Миша, тезка Суровцева; дочь вдовеет после офицера, убитого в германскую войну, ведет себя исправно, но хорошему человеку, по сведениям Суровцева, может себя предоставить.

— Обладаю, — сказал он, удалился на кухню и загремел там посудой; учительская дочка помогала ему. Куховаря, Суровцев рассказал о моей храбрости, о том, как я ссадил в бою двух польских офицеров и как уважает меня советская власть. Ему отвечал сдержанный, негромкий голос Томилиной.

— Ты где отдыхаешь? — спросил ее Суровцев на прощанье. — Ты поближе к нам лягай, мы люди живые…

Он внес в комнату яичницу на гигантской сковороде и поставил ее на стол.

— Согласная, — сказал он, усаживаясь, — только не высказывает…

И в то же мгновенье сдавленный шепот, шуршанье, тяжелая осторожная беготня поднялись в доме. Мы не успели съесть нашего блюда войны, как в дом потянулись старики на костылях,

старухи, с головой закутанные в шали. Кровать маленького Миши перетащили в столовую, в лимонную чащу, рядом с креслом деда. Немощные гости, приготовившиеся защитить честь Елизаветы Алексеевны, сбились в кучу, как овцы в непогоду, и, забаррикадировав дверь, всю ночь бесшумно играли в карты, шепотом называя ремизы[2] и замирая при каждом шорохе. За этой дверью я не мог заснуть от неловкости, от смущения и едва дождался света.

— К вашему сведению, — сказал я, встретив Томилину в коридоре, — к вашему сведению должен сообщить, что я окончил юридический факультет[3] и принадлежу к так называемым интеллигентным людям…

Оцепенев, она стояла, опустив руки, в старомодной тальме, словно вылитой на тонкой ее фигуре. Не мигая, прямо на меня смотрели расширившиеся, сиявшие в слезах, голубые глаза.

Через два дня мы стали друзьями. Страх и

---

[2] notes: 1.229

Ремиз — «в некоторых карточных играх недобор установленного числа взяток, а также штраф за такой недобор» (Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Рус. язык, 1984. С. 588).

[3] notes: 1.230

…к вашему сведению должен сообщить, что я окончил юридический факультет… — Ср. с рассказом «Мой первый гусь», где Лютов представляется: «…кандидат прав Петербургского университета». См. примеч. 5 к рассказу «Мой первый гусь».

неведение, в котором жила семья учителя, семья добрых и слабых людей, были безграничны. Польские чиновники внушили им, что в дыму и варварстве кончилась Россия, как когда-то кончился Рим. Детская боязливая радость овладела ими, когда я рассказал о Ленине, о Москве, в которой бушует будущее, о Художественном театре. По вечерам к нам приходили двадцатидвухлетние большевистские генералы со спутанными рыжеватыми бородами. Мы курили московские папиросы, мы съедали ужин, приготовленный Елизаветой Алексеевной из армейских продуктов, и пели студенческие песни. Перегнувшись в кресле, парализованный слушал с жадностью, и тирольская шляпа тряслась в такт нашей песне. Старик жил все эти дни, отдавшись бурной, внезапной, неясной надежде, и, чтобы ничем не омрачить своего счастья, старался не замечать в нас некоторого щегольства кровожадностью и громогласной простоты, с какой мы решали к тому времени все мировые вопросы.

После победы над поляками — так постановлено было на семейном совете — Томилины переедут в Москву: старика мы вылечим у знаменитого профессора, Елизавета Алексеевна поступит учиться на курсы, а Мишку мы отда-

дим в ту самую школу на Патриарших прудах, где когда-то училась его мать. Будущее казалось никем не оспариваемой нашей собственностью, война — бурной подготовкой к счастью, и самое счастье — свойством нашего характера. Не решенными были только его подробности, и в обсуждении их проходили ночи, могучие ночи, когда огарок свечи отражался в мутной бутыли самогона. Расцветшая Елизавета Алексеевна была безмолвной нашей слушательницей. Никогда не видел я существа более порывистого, свободного и боязливого. По вечерам лукавый Суровцев отвозил нас в реквизированном еще на Кубани плетеном шарабане к холму, где светился в огне заката брошенный дом князей Гонсиоровских. Худые, но длинные и породистые лошади дружно бежали на красных вожжах; беспечная серьга колыхалась в ухе Суровцева, круглые башни вырастали изо рва, заросшего желтой скатертью цветов. Обломанные стены чертили в небе кривую, набухшую рубиновой кровью линию, куст шиповника прятал ягоды, и голубая ступень, остаток лестницы, по которой поднимались когда-то польские короли, блестела в кустарнике. Сидя на ней, я притянул к себе однажды голову Елизаветы Алексеевны и поцеловал ее. Она мед-

ленно отстранилась, выпрямилась и, ухватив руками стену, прислонилась к ней. Она стояла неподвижно, вокруг ослепшей ее головы бурлил огненный пыльный луч, потом, вздрогнув и словно вслушиваясь во что-то, Томилина подняла голову; пальцы ее оттолкнулись от стены; путаясь и ускоряя шаги — она побежала вниз. Я окликнул ее, мне не ответили. Внизу, разбросавшись в плетеном шарабане, спал румяный Суровцев. Ночью, когда все уснули, я прокрался в комнату Елизаветы Алексеевны. Она читала, далеко отставив от себя книгу: упавшая на стол рука казалась неживой. Обернувшись на стук, Елизавета Алексеевна поднялась с места.

— Нет, — сказала она, вглядываясь в меня, — нет, дорогой мой, — и, обхватив мое лицо голыми, длинными руками, поцеловала меня все усиливавшимся, нескончаемым, безмолвным поцелуем. Треск телефона в соседней комнате оттолкнул нас друг от друга. Вызывал адъютант штаба.

— Выступаем, — сказал он в телефон, — приказание явиться к командиру бригады…

Я побежал без шапки, на ходу рассовывая бумаги. Из дворов выводили лошадей, во тьме, крича, мчались всадники. У комбрига, стоя завязывавшего на себе бурку, мы узнали, что поляки

прорвали фронт под Люблиным и что нам поручена обходная операция.[4] Оба полка выступали через час. Разбуженный старик беспокойно следил за мной из-под листвы лимонного дерева.

— Скажите, что вы вернетесь, — повторял он и тряс головой.

Елизавета Алексеевна, накинув полушубок поверх батистовой ночной кофты, вышла провожать нас на улицу. Во мраке бешено промчался невидимый эскадрон. У поворота в поле я оглянулся — Томилина, наклонившись, поправляла куртку на мальчике, стоявшем впереди нее, и прерывистый свет лампы, горевшей на подоконнике, тек по нежному костлявому ее затылку…

Пройдя без дневок сто километров, мы соединились с 14-й кавдивизией и, отбиваясь, стали уходить. Мы спали в седлах. На привалах, сраженные сном, мы падали на землю, и лошади, натягивая повод, тащили нас, спящих, по скошенному полю. Начиналась осень и неслышно сыплющиеся галицийские дожди. Сбившись в молчащее взъерошенное тело, мы петляли и

---

[4] notes: 1.231

…что поляки прорвали фронт под Люблином и что нам поручена обходная операция. — Ср. с дневниковой записью от 18 августа: «Приказ-всей Конармии перейти в распоряжение запфронта. Нас двигают на север — к Люблину».

описывали круги, ныряли в мешок, завязанный поляками, и выходили из него. Сознание времени оставило нас. Располагаясь на ночлег в Тощенской церкви, я и не подумал, что мы находимся в девяти верстах от Будятичей.[5] Напомнил Суровцев, мы переглянулись.

— Главное, что кони пристали, — сказал он весело, — а то съездили бы…

— Нельзя, — ответил я, — хватятся ночью…

И мы поехали. К седлам нашим были приторочены гостинцы — голова сахару, ротонда на рыжем меху и живой двухнедельный козленок. Дорога шла качающимся промокшим лесом, стальная звезда плутала в кронах дубов. Меньше чем в час мы доехали до местечка, выгоревшего в центре, заваленного побелевшими от мучной пыли грузовиками, орудийными упряжками и ломаными дышлами. Не слезая с лошади, я стукнул в знакомое окно — белое облако пронес-

---

[5] notes: 1.232

Располагаясь на ночлег в Гощенской церкви, я и не подумал, что мы находимся в девяти верстах от Будятичей. — В единственной прижизненной публикации рассказа, как и почти во всех последующих публикациях, по-видимому, ошибочно напечатано: «Тощенской церкви», но речь идет скорее всего об одном из церковных зданий на территории Гощи, которая упоминается в дневниковых записях от 5 и 6 июля. Однако Гоща находится в Ровненской области и соответственно восточнее Будятичей Волынской области, а расстояние между ними составляет свыше двухсот километров.

лось по комнате. Все в той же батистовой кофте с обвислым кружевом Томилина выбежала на крыльцо. Горячей рукой она взяла мою руку и ввела в дом. В большой комнате на сломанных лимонных деревьях сушилось мужское белье, незнакомые люди спали на койках, поставленных без промежутков, как в госпитале. Высовывая грязные ступни, с криво окостеневшими ртами, они хрипло кричали со сна и жадно и шумно дышали. Дом был занят нашей трофейной комиссией, Томилины загнаны в одну комнату.

— Когда вы нас увезете отсюда? — стискивая мою руку, спросила Елизавета Алексеевна.

Старик, проснувшись, тряс головой. Маленький Миша, прижимая к себе козленка, заливался счастливым беззвучным смехом. Над ним, надувшись, стоял Суровцев и вытряхивал из карманов казацких шаровар шпоры, пробитые монеты, свисток на желтом витом шнуре. В этом доме, занятом трофейной комиссией, скрыться было негде, и мы ушли с Томилиной в дощатую пристройку, где на зиму складывали картофель и рамки от ульев. Там, в чулане, я увидел, какой неотвратимый губительный путь был путь поцелуя, начатого у замка князей Гонсиоровских…

Незадолго до рассвета к нам постучался Су-

ровцев.

— Когда вы увезете нас? — глядя в сторону, сказала Елизавета Алексеевна.

Промолчав, я направился в дом проститься со стариком.

— Главное, что время нет, — загородил мне дорогу Суровцев, — сидайте, поедем…

Он вытолкал меня на улицу и подвел лошадь. Томилина подала мне похолодевшую руку. Как всегда, она прямо держала, голову. Лошади, отдохнув за ночь, понесли рысью. В черном сплетении дубов поднималось огнистое солнце. Ликование утра переполняло мое существо.

В лесу открылась прогалина, я пустил лошадь и, обернувшись, крикнул Суровцеву:

— Что бы еще побыть… Рано вспугнул…

— И то не рано, — ответил он, подравниваясь и разнимая рукой мокрые, сыплющие искры ветви, — кабы не старик, я и раньше бы вспугнул… А то разговорился старый, разнервничался, крякает и на сторону валиться стал… Я подскочил к нему, смотрю — мертвый, испекся…

Лес кончился. Мы выехали на вспаханное поле без дороги. Привстав, поглядывая по сторонам, подсвистывая, Суровцев вынюхивал правильное направление и, втянув его с воздухом, пригнулся

и поскакал.

Мы приехали вовремя. В эскадроне поднимали людей. Обещая жаркий день, пригревало солнце. В это утро наша бригада прошла бывшую государственную границу Царства Польского.[6]

[6] notes: 1.233

В это утро наша бригада прошла бывшую государственную границу Царства Польского. — Финал носит символический характер, поскольку Царством Польским называлась часть Польши, которая в 1815–1915 гг. входила в состав Российской империи.

Грищук*

Вторая поездка в местечко окончилась худо. Мы отправились добывать фуражу, возвращались к полудню. Спина Грищука мирно тряслась перед моими глазами. Не доезжая села, он аккуратно сложил вожжи, вздохнул и стал сползать с сиденья. Он сполз ко мне на колени и вытянулся поперек брички. Его стынущая голова покачивалась, лошади шли шагом, и желтеющая ткань покоя оседала на лице Грищука, как саван.

— Не емши, — вежливо ответил он на мой испуганный крик и утомленно опустил веки.

Так мы въехали в село, с кучером, растянувшимся во всю длину экипажа.

Дома я накормил его хлебом и картошкой. Он ел вяло, задремывал и раскачивался. Потом вышел на середину двора и, разбросав руки, лег на землю — лицом кверху.

— Ты все молчишь, Грищук, — сказал я ему,

*** comments: ***

Грищук

Впервые: *ОИ*. 1923. 23 февр. С. 6, под рубрикой «Из книги “Конармия”»; авторская датировка: «16.7.20». Републиковано: Звезда Востока. Ташкент, 1967. № 3, публ. Е.А. Краснощековой.

Грищук упоминается в дневнике (впервые в записи от 14 июля), в рассказах «Учение о тачанке» и «Смерть Долгушова».

задыхаясь, — как я пойму тебя, томительный Грищук?..

Он смолчал и отвернулся. И только ночью, когда мы, согревая друг друга, лежали на сене, я узнал одну главу из его немой повести.

Русские пленные работали по укреплению сооружений на берегу Северного моря. На время полевых работ их угнали в глубь Германии. Грищука взял к себе одинокий и умалишенный фермер. Безумие его состояло в том, что он молчал. Побоями и голодовкой он выучил Грищука объясняться с ним знаками. Четыре года они молчали и жили мирно. Грищук не выучился языку потому, что не слышал его. После германской революции[1] он пошел в Россию. Хозяин проводил его до края деревни. У большой дороги они остановились. Немец показал на церковь, на свое сердце, на безграничную и пустую синеву горизонта. Он прислонился своей седой взъерошенной безумной головой к плечу Грищука. Они постояли так в безмолвном объятии. И потом немец, взмахнув руками, быстрым, немощным и путаным шагом побежал назад, к себе.

---

[1] notes: 1.222

После германской революции... — Имеется в виду Ноябрьская революция 1918 г. в Германии, в результате которой установился режим парламентской демократии, известный как Веймарская республика.

Их было девять*

Десяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Когда Голов, взводный командир из сормовских рабочих, убил длинного поляка, я сказал начальнику штаба:

— Пример взводного развращает бойцов. Надо отправить их в штаб для опроса.

Начальник штаба разрешил. Я вынул из сумки карандаш и бумагу и вызвал Голова.

— Ты через очки смотришь на свет, — сказал он, глядя на меня с ненавистью.

— Да, через очки, — ответил я. — А ты как смотришь на свет, Голов?

— Я смотрю через несчастную нашу рабочую

*** comments: ***

Их было девять

Впервые: Новый журнал. Нью-Йорк, 1969. № 95. С. 16–20, публ. Н.И. Бабель-Браун; впервые в СССР: Огонек. 1989. № 4. С. 10–11, публ. А.Н. Пирожковой; авторская датировка: «Гликсталь, 4.8.23». Набросок «Их было десять» впервые: Бабель К3. Петербург 1918 / Под ред. Э. Зихера. Ann Arbor: Ardis, 1989. С. 246–247.

Гликсталь — немецкая колония Тираспольского района Херсонской губернии.

Оба автографа — «Их было девять» и «Их было десять» — сделаны карандашом на полосках, оторванных от бланков фирмы отца писателя, Э.И. Бабеля, в Одессе. В неоконченном наброске рядом с названием «Их было десять» чернилами написано другое название — «Чесники» — и зачеркнуто карандашом.

Рассказ «Их было девять», как и набросок «Их было десять» в разделе «Разночтения в рассказах», печатается по автографу (частное собрание, США).

Основу рассказа составляет запись в дневнике от 30 августа: «Взяли станцию. Едем к полотну ж(елезной) д(ороги). 10 пленных, одного не успеваем спасти. Револьверная рана? Офицер. Кровь идет из рта. Густая красная кровь в комьях, заливает все лицо, оно ужасно, красное, покрыто густым слоем крови. Пленные все раздеты. У командира эскадрона через седло перекинуты штаны. Шеко заставляет отдать. Пленных одевают, ничего не одели. Офицерская фуражка. “Их было девять”. Вокруг них грязные слова. Хотят убить. Лысый хромающий еврей в кальсонах, не поспевающий за лошадью, страшное лицо, наверное, офицер (…) надоедает всем, не может идти, все они в животном страхе, жалкие, несчастные люди, польские пролетарии, другой поляк — статный, спокойный, с бачками, в вязаной фуфайке, держит себя с достоинством, все допытываются — не офицер ли. Их хотят рубить. Над евреем собирается гроза. Неистовый путиловский рабочий (…) рубать их всех надо(,) гадов, еврей прыгает за нами, мы тащим с собой пленных все время, потом отдаем на ответственность конвоиров. Что с ними будет. Ярость путиловского рабочего, пена брызжет, шашка, порубаю гадов и отвечать не буду».

В связи с пленными есть также более ранние записи в дневнике. Совсем кратко Бабель записывает 16 августа: «Еду опрашивать пленных» и 17 августа: «Рубка пленных». Ср. также с записью от 18 августа: «Гремит ура, поляки раздавлены, едем на поле битвы, маленький полячок с полированными ногтями трет себе розовую голову с редкими волосами, отвечает уклончиво, виляя, “мекая” ну, да, Ш(еко) воодушевленный и бледный, отвечай, кто ты — я, мнется — вроде прапорщика, мы отъезжаем, его ведут дальше, парень с хорошим лицом за его спиной заряжает, я кричу — Яков Васильевич, он делает вид, что не слышит, едет дальше, выстрел, полячок в кальсонах падает на лицо и дергается. Жить противно, убийцы, невыносимо, подлость и преступление (…) Гонят пленных, их раздевают, странная картина — они раздеваются страшно быстро, мотают головой, все это на солнце, маленькая неловкость, тут же — командный состав, неловкость, но пустяки, сквозь пальцы. Не забуду я этого “вроде” прапорщика, предательски убитого».

Эпизод расстрела пленных вошел в рассказ «Эскадронный Трунов»; вероятно, поэтому Бабель не стал дорабатывать данный набросок и готовить его к печати.

жизнь, — сказал он и отошел к пленному, держа в руках польский мундир с болтающимися рукавами. Мундир не пришелся по мерке. Рукава едва достигали локтей. Тогда Голов прощупал пальцами егеревские кальсоны пленного.

— Ты офицер, — сказал Голов, закрываясь рукой от солнца.

— Нет, — услышали мы твердый ответ.

— Наш брат таких не носит, — пробормотал Голов и замолчал. Он молчал, вздрагивал, смотрел на пленного, глаза его белели и расширялись.

— Матка вязала, — сказал пленный с твердостью. Я обернулся и взглянул на него. Это был юноша с тонкой талией. На желтых щеках его вились баки.

— Матка вязала, — повторил он и опустил глаза.

— Фабричная у тебя матка, — подхватил Андрюшка Бурак, румяный казачок с шелковыми волосами, тот самый, который стаскивал штаны с умирающего поляка. Штаны эти были переброшены через его седло. Смеясь, Андрюшка подъехал к Голову, осторожно снял у него с руки мундир, кинул к себе на седло поверх штанов и, легонько взмахнув плетью, отъехал от нас.

Солнце вылилось в это мгновение из-за туч.

Оно ослепительно окружило удалявшуюся Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качания ее куцого хвоста. Голов с недоумением посмотрел вслед удалявшемуся казаку. Он обернулся и увидел меня, составлявшего пленным список. Потом он увидел юношу с вьющимися баками. Тот поднял на него спокойные глаза снисходительной юности и улыбнулся его растерянности. Тогда Голов сложил руки трубкой и крикнул: «Республика наша живая еще, Андрей. Рано дележку делать. Скидай барахло!»

Андрей и ухом не повел. Он ехал рысью, и лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена, — прошептал тогда Голов, произнося это слово по буквам, и стал жалок, и оцепенел. Он опустился на колено, взял прицел и выстрелил, и промахнулся. Андрей немедля повернул коня и поскакал к взводному в упор. Румяное и цветущее лицо его было сердито.

— Слышь, земляк, — закричал он звонко и вдруг обрадовался звуку своего сильного голоса, — как бы я не стукнул тебя, взводный, к такой-то свет матери. Тебе десяток шляхты прибрать — ты вон каку суету поднял. По сотне прибирали, тебя в подмогу не звали… Рабочий ты если — так спол-

няй свое дело…

И победоносно поглядев на нас, Андрюшка отъехал галопом. Взводный не поднял на него глаз. Он взялся рукой за лоб. Кровь лилась с него как дождь со скирды. Он лег на живот, пополз к ручью и надолго всунул в пересыхающую воду разбитую свою окровавленную голову…

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Сидя на коне, я составил им список, аккуратно разграфленный. В самой первой графе были номера по порядку, в другой — имя и фамилия и в третьей наименование части. Всего вышло девять номеров. И четвертым из них был Адольф Шульмейстер, лодзинский приказчик, еврей. Он притирался все время к моему коню и гладил мой сапог трепещущими нежащими пальцами. Нога его была перебита прикладом. От нее тянулся тонкий след, как от раненой охромевшей собаки, и на щербатой, оранжевой лысине Шульмейстера закипал сияющий на солнце пот.

— Вы Jude, пане, — шептал он, судорожно лаская мое стремя. — Вы — Jude, — визжал он, брызгая слюной и корчась от радости.

— Стать в ряды, Шульмейстер, — крикнул я еврею, и вдруг, охваченный смертоносной слабостью, я стал ползти с седла и сказал, задыхаясь:

— Почем Вы знаете?

— Еврейский сладкий взгляд, — взвизгнул он, прыгая на одной ноге и волоча за собой собачий тонкий след. — Сладкий взгляд Ваш, пане.

Я едва оторвался от предсмертной его суетливости. Я опоминался медленно, как после контузии.

Начальник штаба приказал мне распорядиться и уехал к частям.

Пулеметы втаскивали на пригорок, как телят, на веревках. Они двигались рядком, как дружное стадо, и успокоительно лязгали. Солнце заиграло на их пыльных дулах. И я увидел радугу на железе. Поляк, юноша с вьющимися баками, смотрел на них с деревенским любопытством. Он подался всем корпусом вперед и открыл мне Голова, выползавшего из канавы, внимательного и бледного, с разбитой головой и винтовкой на отвес. Я протянул к Голову руки и крикнул, но звук задохся и разбух в моей гортани. Голов поспешно выстрелил пленному в затылок и вскочил на ноги. Удивленный поляк повернулся к нему, сделав полный круг, как на ученье. Медленным движением отдающейся женщины поднял он обе руки к затылку, рухнул на землю и умер мгновенно.

Улыбка облегчения и покоя заиграла тогда на

лице Голова. К нему легко вернулся румянец.

— Нашему брату матка таких исподников не вяжет, — сказал он мне лукаво. — Вымарай одного, давай записку на восемь штук…

Я отдал ему записку и произнес с отчаянием:

— Ты за все ответишь, Голов.

— Я отвечу, — закричал он с невыразимым торжеством. — Не тебе, очкастому, а своему брату, сормовскому. Свой брат разберет…

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Сегодня утром я решил отслужить панихиду по убитым. В Конармии некому это сделать, кроме меня. Отряд наш сделал привал в разрушенном фольварке. Я взял дневник и пошел в цветник, еще уцелевший. Там росли гиацинты и голубые розы.

Я стал записывать о взводном и девяти покойниках, но шум, знакомый шум прервал меня тотчас. Черкашин, штабной холуй, шел в поход против ульев. Митя, румяный орловец, следовал за ним с чадящим факелом в руках. Головы их были замотаны шинелями. Щелки их глаз горели. Мириады пчел отбивали победителей и умирали у ульев. И я отложил перо. Я ужаснулся множеству панихид, предстоявших мне.



Одесские рассказы*

*** comments: ***

В оформлении второго раздела fb2-файла* — Одесские рассказы *использованы комментарии к текстам из первого тома собрания сочинений И. Э. Бабеля, изданного в 2006 г. издательством «Время».

В раздел* Одесские рассказы *также включены несколько рассказов из цикла* История моей голубятни *, как укладывающиеся в тему взросления главного героя, одну из двух центральных в цикле* Одесские рассказы*. Вообще, цикл рассказов* История моей голубятни*, по сути своей, переходной. От* Одесских рассказов *— к* Конармии*. И тематически, и хронологически.


Исаак
Бабель
том 1
собрание
сочинений

Цикл из четырех рассказов о старой Одессе сложился у Бабеля в 1921–1924 г. Три рассказа в первой публикации имели соответствующий подзаголовок (см. ниже). Такой же подзаголовок имели еще два рассказа, но они самим автором в цикл не включались. Позднее были опубликованы несколько примыкающих к циклу новелл, появились написанные по его мотивам пьеса и киносценарий. В целом эта работа заняла десятилетие.

Таким образом, четыре короткие новеллы оказались смыслообразующим центром, вокруг которого сложилась разножанровая и разноплановая книга об Одессе.

Вторым ядром этой книги стал так и не собранный, но четко обозначенный цикл о становлении лирического героя «История моей голубятни».

В примечаниях сначала указывается первая публикация текста, потом, в случаях его отличия от первоначального, источник, по которому он опубликован в двухтомнике 1990 г. и воспроизводится в нашем издании. Если составитель настоящего издания избрал в качестве основного иной текст или произвел специальную сверку, указание на источник сопровождается словами «Печатается по…»

Датировки в конце рассказов рассматриваются как часть авторского текста и сохраняются даже в тех случаях, если они не совпадают с датами первых публикаций.

Впервые все бабелевские тексты сопровождаются реальным комментарием. В примечаниях использованы разыскания и наблюдения В. Ковского, Э. Когана, Е. Краснощековой, Ш. Маркиша, Е. Перемышлева, С. Поварцова, Б. Сарнова, У. Спектора, Е. Шаловского, А. Эппеля.

История моей голубятни

Замысел книги о детстве проходит через всю творческую жизнь Бабеля. Неоконченный рассказ «Детство. У бабушки» датирован: Саратов. 12.11.15. «История моей голубятни» (1925) в журнальной публикации «Красной нови» была обозначена в примечании как начало автобиографической повести. Рассказы «Первая любовь» (1925), «Пробуждение» (1930), «В подвале» (1931) имели подзаголовок «Из книги “История моей голубятни”». К одесской части цикла примыкает и новелла «Ди Грассо» (1937).

Другие, более поздние, этапы бабелевской биографии отразились в рассказах «Гюи де Мопассан» (1920–1922), здесь и далее — авторские

датировки), «Мой первый гонорар» (1922–1928), «Дорога» (1920–1930), «Иван-да-Марья» (1920–1928).

Писатель, действительно, с конца 1916 года жил в Петрограде («Гюи де Мопассан»), в начале 1918 года приехал туда же из Киева (финал «Дороги»), осенью этого года участвовал в продовольственных экспедициях на Волге вместе с упомянутым в «Иван-да-Марье» С. В. Малышевым, в 1922 году работал в Тифлисе, где происходит действие «Моего первого гонорара».

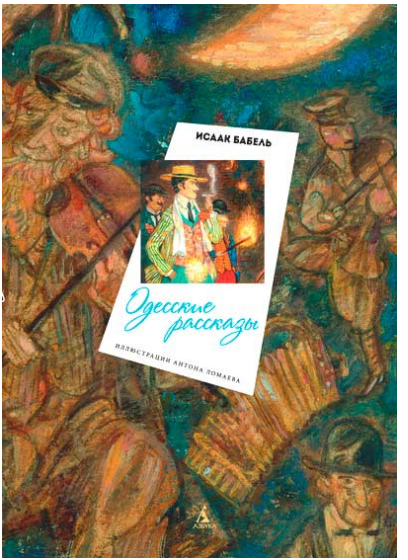
Однако образ меняющегося рассказчика в этом так и не собранном цикле, конечно же, нельзя полностью отождествите с автором. Бабель сочиняет, творит, даже когда он пишет о себе, предпочитает, как герой «Моего первого гонорара», живописную выдумку истине факта.

Кажется, биографически наиболее далек от автора рассказчик «Моего первого гонорара». Во-первых, действие здесь, суда по всему, происходит в дореволюционном Тифлисе, а не в начале двадцатых годов, когда там оказался писатель. Во-вторых, существует мемуарное свидетельство жены об источнике фабулы. «О рассказе «Мой первый гонорар» Бабель сообщил мне, что этот сюжет был ему подсказан еще в Петрограде журналистом П. И. Старицыным. Рассказ Старицына заключался в том, кто однажды, раздевшись у проститутки и взглянув на себя в зеркало, он увидел, что похож “на вздыбленную розовую свинью”, ему стало противно, и он быстро оделся, сказал женщине, что он — мальчик у армян, и ушел. Спустя какое-то время, сидя в вагоне трамвая, он встретился с этой самой проституткой, стоявшей на остановке. Увидев его, она крикнула: “Привет, сестричка!” Вот и всё» (Пирожкова А. Н. Годы, прошедшие радом (1932–1939) // Воспоминания о Бабеле. М., 1989. С. 283).

Однако чёткую фабулу Бабель наполняет совершенно иным смыслом, встраивает ее в персональный сюжет рождения писателя, предпочитающего обычной скучной жизни внезапную выдумку. Ключевой афоризм этой новеллы («Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю») отсылает к началу, безусловно, автобиографического рассказа «В подвале»: "Я был лживый мальчик. Это происходило от отенния. Воображение мое всегда было воспламенено. <…> Воображение мое усиливало драматическсие сцены, переиначивало концы, таинственно завязывало начала».

Бабель предполагал сдать книгу в издательство в 1939 году. Большинство рукописей писателя исчезли вместе с ним после ареста 15 мая 1939 года. Судьба «Истории моей голубятни», степень ее завершенности так и остались загадкой.

В данном разделе тексты расположены не в соответствии с хронологией работы над ними, а в порядке, представляющем пунктирную историю рассказчика, насколько ее можно восстановить.


ИСААК БАБЕЛЬ
Одесские рассказы
ИЛЛЮСТРАЦИИ АНТОНА ЛОМАЕВА

Король*

Венчание кончилось, раввин[1] опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами — заплаты из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти

*** comments: ***

Король

Впервые: Моряк (Одесса), 1921, № 100, 23 июня, подзаголовок: Из одесских рассказов.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Прототипом Бени Крика считается М. Я. Винницкий, одесский налетчик, который во время гражданской войны сформировал свой полк, воевал на стороне красных войск и был убит под Одессой чекистами осенью 1919 года.

[1] notes: 1.257

Раввин — руководитель иудейской общины.

груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток торы, крохотная и горбатая.



Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

— Слушайте, Король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой…

— Ну, хорошо, — ответил Беня Крик, по прозвищу Король, — что это за пара слов?

— В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана…

— Я знал об этом позавчера, — ответил Беня Крик. — Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал участку речь…

— Новая метла чисто метет, — ответил Беня Крик. — Он хочет облаву. Дальше…

— А когда будет облава, вы знаете, Король?

— Она будет завтра.

— Король, она будет сегодня.

— Кто сказал тебе это, мальчик?

— Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

— Я знаю тетю Хану. Дальше.

— …Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика, — сказал он, — потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает

замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву…»

— Дальше.

— …Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал — самолюбие мне дороже…

— Ну, иди, — ответил Король.

— Что сказать тете Хане за облаву.

— Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем

человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо.

«Мосье Эйхбаум, — написал он, — *положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийевскую, 17, — двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король».*

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью — девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, тогда во двор в одних кальсонах выбежал

Эйхбаум и спросил:

— Что с этого будет, Беня?

— Если у меня не будет денег — у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

— Зайди в помещение, Беня.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы, и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, — в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на

двадцать.

— Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему Король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции… И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?.. И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум…

И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами.



Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины

из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш — ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы[2], вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты,

---

[2] notes: 1.258
Шамесы — служки в синагоге.

перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыки, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.


RHUM

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

— Беня, — сказал папаша Крик, старый биндюжник[3], слывший между биндюжниками грубияном, — Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа…

— Папаша, — ответил Король пьяному отцу, — пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей…

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.

— Мине нарушают праздник, — кричал он, полный отчаяния, — дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте…

Но в это время во дворе появился тот самый

---

[3] notes: 1.259

Биндюжник — ломовой извозчик, перевозящий на телеге тяжелые грузы; образовано от биндюг (биндюх) — «рыдван, большая или троичная извозная телега, на которую валят до ста пудов» (Вл. Даль).

молодой человек, который приходил в начале вечера.

— Король, — сказал он, — я имею вам сказать пару слов…

— Ну, говори, — ответил Король, — ты всегда имеешь в запасе пару слов…

— Король, — произнес неизвестный молодой человек и захихикал, — это прямо смешно, участок горит, как свечка…

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

— Маня, вы не на работе, — заметил ей Беня, — холоднокровней, Маня…

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

— Они вышли с участка человек сорок, — рассказывал он, двигая челюстями, — и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось… Побежите смотреть, если хотите…

Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Го-

родовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав — та самая метла, что чисто метет, — стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, — сказал он сочувственно. — Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар…

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

— Ай-ай-ай…

… … … … … … … … …

А когда Беня вернулся домой — во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.

1923

Как это делалось в Одессе*

Начал я.

— Реб Арье-Лейб, — сказал я старику, — поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков — разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене.

*** comments: ***

Как это делалось в Одессе

Впервые: Литературные приложения к «Известиям Одесского тубисполкома..», 1923, № 1025, 5 мал.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Наконец он сказал:

— Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот — забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.

Он — Бенчик — пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:

— Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет

в выигрыше.

Грач спросил его:

— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

— Попробуй меня, Фроим, — ответил Беня, — и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

— Перестанем размазывать кашу[1], — ответил Грач, — я тебя попробую.

И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык.

— Что у него делается под шапкой, у этого Бенчика? — спросил покойный Бык.

И одноглазый Грач сказал свое мнение:

— Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

— Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском.

— Попробуем его на Тартаковском, — решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете

---

[1] notes: 1.260

Размазывать кашу (жарг.) — много и напрасно говорить.

туда, куда я вас поведу.

Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма Левка Бык и компания произвели на его контору не восемь и не десять налетов, а именно девять. На долю Бени, который не был тогда еще Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию

с певчими на Софийской. Он спросил:

— Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел. «Полтора жида» испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте?

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде:

«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой… — и так далее. — *В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам*

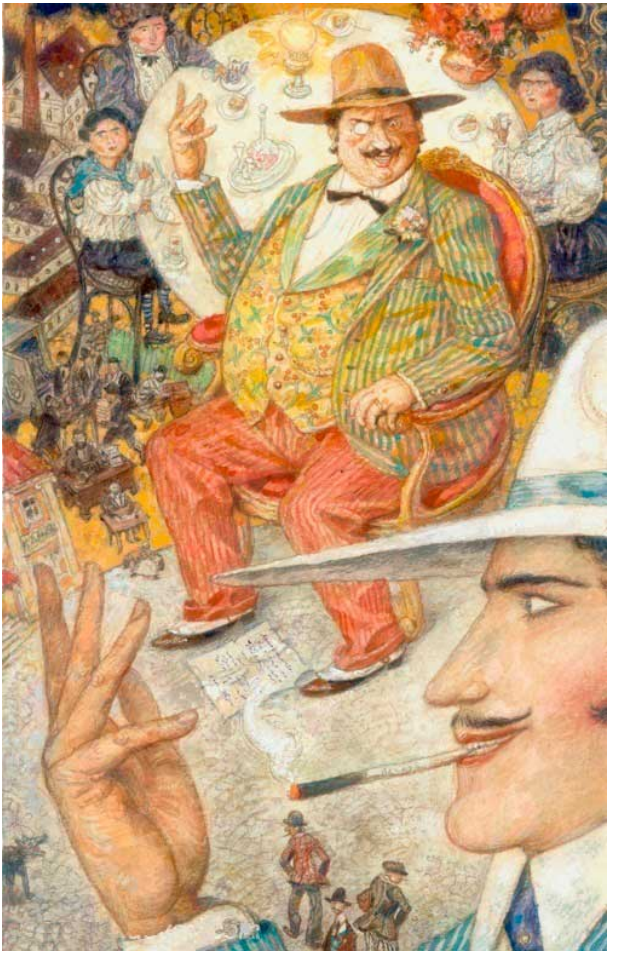
Бенцион Крик*».*

Тартаковский не поленился и ответил без про-

медления.

«Беня! Если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту! Но я тебя за такого не знаю, и упаси боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этой году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина?.. И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь, —

***Рувим Тартаковский**».*



«Полтора жида» сделал свое. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковското. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату.

— Руки вверх! — сказали они и стали махать пистолетами.

— Работай спокойнее, Соломон, — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других, — не имей эту привычку быть нервным на работе, — и, оборотившись к приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его:

— «Полтора жида» в заводе?

— Их нет в заводе, — ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади.

— Кто будет здесь, наконец, за хозяина? — стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

— Я здесь буду за хозяина, — сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава.

— Тогда отчини нам, с божьей помощью, кассу! — приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях.

Нервный Соломон складывал в чемодан день-

ги, бумаги, часы и монограммы; покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа.

— Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Беня о Тартаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня деловое письмо: отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить чем бог послал. Что мешало ему выговорить передо мной душу? «Беня, — пусть бы он сказал, — так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугинштейн, ты меня понял?

— Я вас понял, — сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика.

А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло

образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.

— Го-гу-го, — закричал еврей Савка, — прости меня, Бенчик, я опоздал, и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.

Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, — и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живот человека. Нужны ли тут слова?



— Тикать с конторы, — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцису:

— Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним…

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями.

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов:

— Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай. Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату — давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на всю Одессу.

— Где начинается полиция, — вопил он, — и где

кончается Беня?

— Полиция кончается там, где начинается Беня, — отвечали резонные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя.

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал руками.

— Хулиганская морда, — прокричал он, увидя гостя, — бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял — убивать живых людей…

— Мосье Тартаковский, — ответил ему Беня Крик тихим голосом, — вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, — в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда

я услышал эту новость.

Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.

— Десять тысяч единовременно, — заревел он, — десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль…

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жида» бранился с Беней. Я не был при этой ссоре. Но те, кто были, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно.

— Тетя Песя, — сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу, — если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучались, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже Бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц

до вашей смерти, — живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына…

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей[2] или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками евреями — присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки старого базара, а

---

[2] notes: 1.261

Кошерная птица — кошерными (чистыми) называются продукты, приготовленные в соответствии с иудаистскими религиозными требованиями и разрешенные к употреблению.

с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста.[3] Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор[4] вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел

---

[3] notes: 1.262

…как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. — Имеется в в виду библейский эпизод: Бог говорит с Моисеем из горящего тернового куста, неопалимой купины, о спасении иудейского народа в Египте (Деяния Апостолов. Гл. 7, ст. 30–35).

[4] notes: 1.263

Кантор — певчий в синагоге.

из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков евреев.

Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку.

— Что хотите вы делать, молодой человек? — подбежал к нему Кофман из погребального братства.

— Я хочу сказать речь, — ответил Беня Крик.

И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом.

— Господа и дамы, — сказал Беня Крик, — господа и дамы, — сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. — Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благо-

дарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса…



И, сказав эту речь, Беня сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашеный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида поверьте слову Арье-Лейба, старого старика.

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, — это видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб — так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась.

— Король, — глядя ей вслед, сказал шепелявый Мойсейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?..

1923

Отец*

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: Фроим по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей…

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так.

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель.

— Почтение, Грач, — сказал Иван Пятиру-

*** comments: ***

Отец

Впервые: «Красная новь», 1924, № 5, август — сентябрь, подзаголовок: Из одесских рассказов.
Печатается по: Бабель И. Рассказы. М, 1936.

бель, — какая-то женщина колотится до твоего помещения…

Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

— Папаша, — сказала женщина оглушительным басом, — меня уже черти хватают со скуки. Я жду вас целый день… Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

— Не крутись перед конями, — закричал он в отчаянии, — бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь…

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке.

— У вас невыносимый грязь, папаша, — сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу, — но я выведу этот грязь, — прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чай-

ника и съел зразу, пахнущую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии — они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки.

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня

Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если б она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу.

— Папаша, — сказала она громовым голосом, — посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки…

— Эге, пани Грач, — прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик, — я вижу, дите ваше просится на травку…

— Вот морока на мою голову, — ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать

и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужья их, один за другим приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери, — жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской

неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

— Рыжий вор, — кричала она ему по вечерам, — рыжий вор, идите вечерять…



И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу:

— Каждая девушка, — сказала она ему, — имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни…

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун

сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз — красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусовой бурке и побледнел.

— Добрый день, мосье Грач, — сказал он и отодвинулся. — Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это — редкость…

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей.

— Я простой человек, без хитростей, — сказал Фроим, — я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой, — кому этого мало, пусть тот горит огнем…

— Зачем нам гореть? — ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика. — Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин,

так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре, но… но мадам Каплун… есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам бог не узнает, чего она хочет…

— А я знаю, — прервал лавочника Грач, — я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня…


СКОВАННЫЕ

— Да, я не хочу вас, — прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью, — я не хочу вас, Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, и мы должны держаться нашей бранжи[1]…

— Держитесь вашей бранжи, — ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги.

— Рыжий вор, — сказала девушка шепотом, непохожим на ее шепот, — отчего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?..

— Баська, — произнес Грач, — Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня… Там ищут бакалейщика.

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора…

---

[1] notes: 1.264
Бранжа *(жарг. уст.)* — воровское дело.

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошелем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека,

потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо…


SAMA

— Почтение, Грач, — сказал он, — если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться…

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

— Вот, — сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке, вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от Бога Мухамеда[2] к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач… Халваш, — закричал Евзель умирающему и захохотал, — вот идет доктор лечить тебя…

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино

---

[2] notes: 1.265

Мухамед (Магомет, ок. 570–632) — мусульманский пророк, основатель ислама; дорога от бога Мухамеда — дорога из Мекки.

из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун, — пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

— Говори, — крикнула она Фрейму и в бешенстве скосила глаза.

— Мадам Любка, — ответил ей Фроим и усадил рядом с собой, — вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка, — сначала на Бога, потом на вас.

— Говори, — закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

— В колониях, — сказал он, — немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин

покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт… Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым… Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один бог на небе.

— Беня Крик, — сказала тогда Любка, — ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Беня Крик?

— Беня Крик? — повторил Грач, полный удивления. — И он холостой, мне сдается?

— Он холостой, — сказала Любка, — окрути его с Баськой, дай ему денег, выведи его в люди…

— Беня Крик, — повторил старик, как эхо, как дальнее эхо, — я не подумал о нем…

Он встал, бормоча и заикаясь, Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

— Наш жених у Катюши, — сказала Любка Грачу, — подожди меня в коридоре, — и она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с жен-

щиной по имени Катюша.

— Довольно слюни пускать, — сказала хозяйка молодому человеку, сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу. Бенчик, и потом можно слюни пускать… Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его…

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

— Я подумаю, — ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги, — я подумаю, пусть старик обождет меня.

— Обожди его, — сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре, — обожди его, он подумает…

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла

для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел, не двигаясь, у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

— Человек, — сказал он, — неужели ты смеешься надо мной?

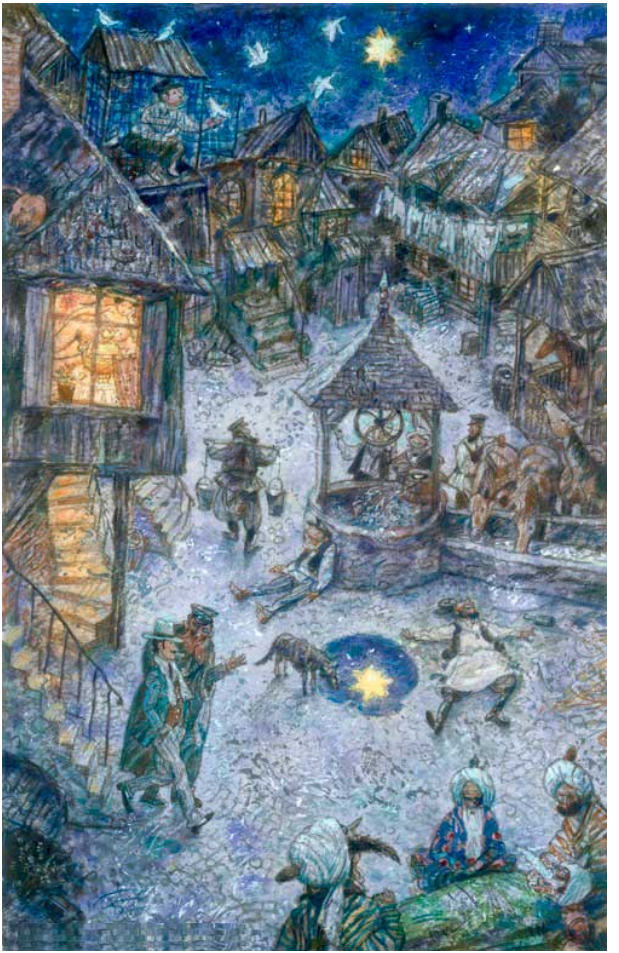
Тогда Беня открыл, наконец, двери Катюшиной комнаты.

— Мосье Грач, — сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней, когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего…

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости — Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Беня Крик решил взять на себя

задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

— Я возьму это на себя, папаша, — сказал он будущему своему тестю, бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков…



Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже, — и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это — судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи — решилась в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.

1924

Любка казак*

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В ее доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер сорок шесть на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак, и только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа на Любкином дворе живет еще Песя-Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего — Бен Зхарью. О Цудечкисе я знаю много историй. Первая из них — история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки, про-

---

*** comments: ***

Любка Казак

Впервые: «Красная новь», 1924, № 5, подзаголовок: Из одесских рассказов.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М, 1936.

званной Казак.

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по имени Настя. Помещик переночевал, и наутро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

— Вот, — сказал Евзель, — вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку, так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Теперь вынимайте два рубля за закуску и четыре рубля за барышню. Видно, вы тертый старик.

Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ.

— Вот, — сказал сторож, — ты будешь здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и с божьей помощью выймет из тебя душу. Аминь.

— Каторжанин, — ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате, — ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а

я верю еще в бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев — сначала из Египта и потом из пустыни…

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема[1]». Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын, Давидка, и плакал.

— Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине, — сказал Цудечкис Песе-Миндл, — вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску…

— Дайте вы ему соску, — ответила Песя-Миндл, не отрываясь от книжки, если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока, и мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге…

---

[1] notes: 1.266

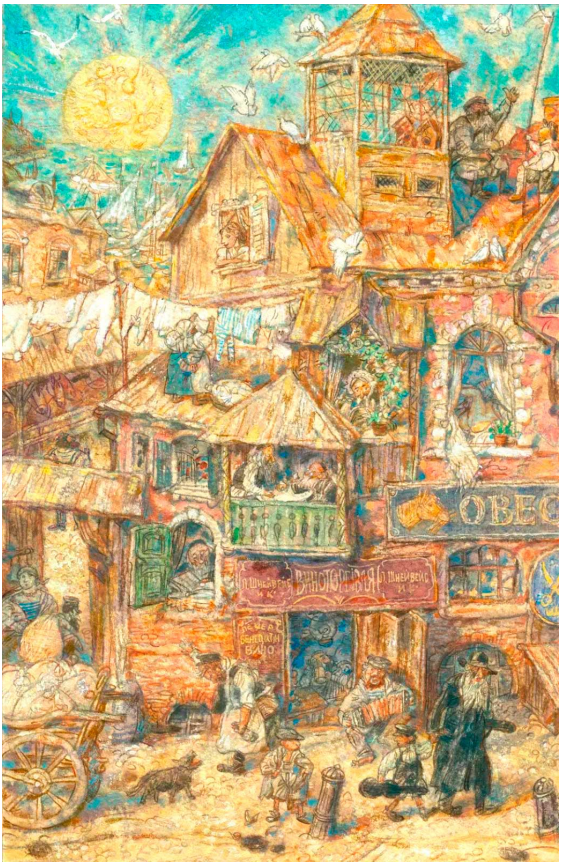
Баал-Шем (Израиль Бешт, 1700–1760) — основатель хасидизма, одного из модернистских направлений в иудаизме.

— Да, — сказал тогда самому себе маленький маклер, — ты у фараона в руках, Цудечкис, — и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту, а старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню.

— А-а-а, — запел он, — вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал и днем и в ночи… А-а-а, вот всем детям кулаки…

Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким заливистым сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него, в холодке,

уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, исполинское море накатывалось вдали на Пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива.


ОВЕС

День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру, только в пятом часу, вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения:

— Почтение вам, мадам Шнейвейс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка…

— Цыть, мурло, — ответила Любка старику и слезла с седла, — кто это разевает там рот в моем окне?

— Это Цудечкис, тертый старик, — ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил.

— Какая нахальства, — завизжал он и швырнул вниз ермолку, — какая нахальства набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года… Идите дайте ему цицю…

— Вот я иду к тебе, аферист, — пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты.

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой.

— Вы все хотите захватить себе, жадная Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дите ваше, такое дите, как звездочка, должно захлянуть[2] без молока…

— Какое там молоко, — закричала женщина и надавила грудь, — когда сегодня прибыл в гавань «Плутарх» и я сделала пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели длинную песню, старый еврей, — отдайте лучше шесть рублей…

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть.

---

[2] notes: 1.2

Штаб выступил из Крапивно… — На Украине существует несколько сел с таким названием; в рассказе речь идет о селе Крапивна, или Крапивня (укр. Кропивна, или Кропивня) в Новоград-Волынском районе Житомирской обл.; оно упоминается в девятой главе мемуаров Буденного «Даешь Новоград-Волынский!» (см.: Буденный 2. С. 140–167) и в ряде документов Первой конной. Например, в донесении К. К. Жолнеркевича, начальника штаба 6-й кавалерийской дивизии, отправленном начдиву шесть Тимошенко в 22 часа 23 июня 1920 г., за несколько дней до овладения Новоградом, сообщается, что полевой штаб «переходит (в) Крапивна» (РГВА. Ф. 7675. Оп. 1. Д. 14. Л. 362).

— Дависъ, арестантка, — сказал он и плюнул в угол.

Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку.



— Прочь, галета! — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию. Они сели там за стол, Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди.

Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

— Смотрите, какой хорошо грамотный, — сказала о нем Любка мистеру Троттибэрну, — последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко…

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, почувствовав,

что говорят о нем, и закричал с отчаянием.

— Ратуйте, люди! — закричал он и помахал руками.

— Цыть, мурло! — захохотала Любка. — Цыть.

Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно.

— Мисс Любка, — сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги, — много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка…

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди с «Плутарха» — они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им видно было мо-

ре, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда; она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за нею ворота, Евзель принес хозяйке дневную выручку, и ока отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя-Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую люльку.

— Как вы замучили нас, бессовестная Любка, — сказал он и взял ребенка из люльки, — но вот учитесь у меня, паскудная мать…

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски.

— Что вы колдуете надо мной, старый плут? — пробормотала Любка засыпая.

— Молчать, паскудная мать! — ответил ей Цудечкис. — Молчать и учитесь, чтоб вы пропали…

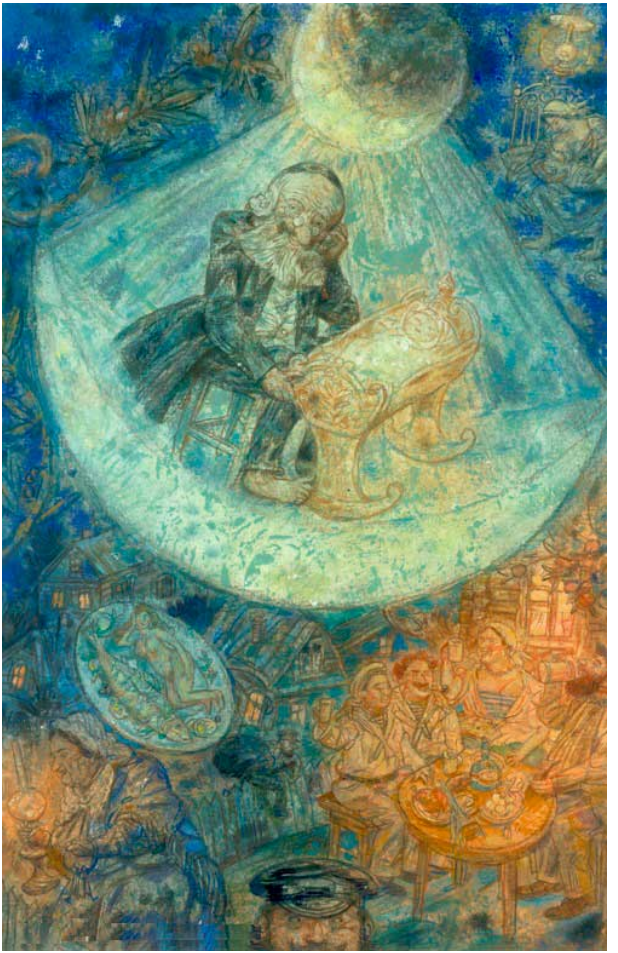
Дитя опять укололось о гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее.

— Вот, — сказал Цудечкис и засмеялся, — я от-

лучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали…

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок.

— Ну, хорошо, — сказала тогда Любка, — открой Цудечкису дверь, Песя-Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку…



И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин наш Бен Зхарья. Цудечкис был новым управляющим.

Он пробыл в своей новой должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И, если сумею, я расскажу их по порядку, потому что это очень интересные истории.

1924

Справедливость в скобках*

Первое дело я имел с Беней Криком, второе — с Любкой Шнейвейс. Можете вы понять такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти? На этом пути смерти недоставало Сережки Уточкина[1]. Я не встретил его на этот раз, и поэтому я жив. Как медный памятник стоит он над городом, он — Уточкин, рыжий и сероглазый. Все люди должны будут пробежать между его медных ног.

…Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать даже и в том случае, когда на боковых улицах цветет акация и поспевает каштан. Сначала о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И все скажут: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

…Я стал маклером. Сделавшись одесским маклером — я покрылся зеленью и пустил побеги. Обремененный побегами — я почувствовал себя

*** comments: ***

Справедливость в скобках

Впервые: На помощь! (Одесса), 1921, 15 августа, однодневная газета, подзаголовок: Из одесских рассказов.

[1] notes: 1.268

Сергей Уточкин, известный русский авиатор, владелец одного из первых автомобилей в Одессе; имеется в виду опасность попасть под автомобиль

несчастным. В чем причина? Причина в конкуренции. Иначе я бы на эту справедливость даже не высморкался. В моих руках не спрятано ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем, красивый и пустой воздух. Побеги хотят кушать. У меня их семь, и моя жена восьмой побег. Я не высморкался на справедливость. Нет. Справедливость высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции.

Кооператив назывался «Справедливость». Ничего худого о нем сказать нельзя. Грех возьмет на себя тот, кто станет говорить о нем дурно. Его держали шесть компаньонов, «primo de primo»[2], к тому же специалисты по своей бранже. Лавка у них была полна товару, а постовым милиционером поставили туда Мотю с Головковской. Чего еще надо? Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне бухгалтер из «Справедливости». Честное дело, верное дело, спокойное дело. Я почистил мое тело платяной щеткой и переслал его Бене. Король сделал вид, что не заметил моего тела. Тогда я кашлянул и сказал:

— Так и так, Беня.

Король закусывал. Графинчик с водочкой, жир-

---

[2] notes: 1.269
Первые из первых *(лат.)*

ная сигара, жена с животиком, седьмой месяц или восьмой, верно не скажу. Вокруг террасы природа и дикий виноград.

— Так и так, Беня, — говорю я.

— Когда? — спрашивает он меня.

— Коль раз вы меня спрашиваете, — отвечаю я королю, — так я должен высказать свое мнение. По-моему, лучше всего с субботы на воскресенье. На посту, между прочим, стоит никто иной, как Мотя с Головковской. Можно и в будний день, но зачем, чтобы из спокойного дела вышло неспокойное?

Такое у меня было мнение. И жена короля с ним согласилась.

— Детка, — сказал ей тогда Беня, — я хочу, чтобы ты пошла отдохнуть на кушетке.

Потом он медленными пальцами сорвал золотой ободок с сигары и обернулся к Фроиму Штерну:

— Скажи мне, Грач, мы заняты в субботу, или мы не заняты в субботу?

Но Фроим Штерн человек себе на уме. Он рыжий человек с одним только глазом на голове. Ответить с открытой душой Фроим Штерн не может.

— В субботу, — говорит он, — вы обещали зайти

в общество взаимного кредита…

Грач делает вид, что ему больше нечего сказать, и он беспечно втыкает свой единственный глаз в самый дальний угол террасы.

— Отлично, — подхватывает Беня Крик, — напомнишь мне в субботу за Цудечкиса, запиши это себе, Грач. Идите к своему семейству, Цудечкис, — обращается ко мне король, — в субботу вечерком, по всей вероятности, я зайду в «Справедливость». Возьмите с собой мои слова, Цудечкис, и начинайте идти.

Король говорит мало, и он говорит вежливо. Это пугает людей так сильно, что они никогда его не переспрашивают. Я пошел со двора, пустился идти по Госпитальной, завернул на Стеновую, потом остановился, чтобы рассмотреть Бенины слова. Я попробовал их на ощупь и на вес, я подержал их между моими передними зубами и увидел, что это совсем не те слова, которые мне нужны.

— По всей вероятности, — сказал король, снимая медленными пальцами золотой ободок с сигары. Король говорит мало, и он говорит вежливо. Кто вникает в смысл немногих слов короля? По всей вероятности, зайду, или, по всей вероятности, не зайду? Между да и нет лежат пять тысяч

комиссионных. Не считая двух коров, которых я держу для своей надобности, у меня девять ртов, готовых есть. Кто дал мне право рисковать? После того, как бухгалтер из «Справедливости» был у меня, не пошел ли он к Бунцельману? И Бунцельман, в свою очередь, не побежал ли он к Коле Штифту, а Коля парень горячий до невозможности. Слова короля каменной глыбой легли на том пути, по которому рыскал голод, умноженный на девять голов. Говоря проще, я предупредил Бунцельмана на полголоса. Он входил к Коле в ту минуту, когда я выходил от Коли. Было жарко, и он вспотел. «Удержитесь, Бунцельман, сказал я ему, — вы торопитесь напрасно, и вы потеете напрасно. Здесь я кушаю. Und damit Punktum[3], как говорят немцы».

И был день пятый. И был день шестой. Суббота прошлась по молдаванским улицам. Мотя уже стал на посту, я уже спал на моей постели, Коля трудился в «Справедливости». Он нагрузил полбиндюга, и его цель была нагрузить еще полбиндюга. В это время в переулке послышался шум, загрохотали колеса, обитые железом; Мотя с Головковской взялся за телеграфный столб и

---

[3] notes: 1.270
И на этом точка *(нем.)*.

спросил: «Пусть он упадет?» Коля ответил: «Еще не время». (Дело в том, что этот столб в случае нужды мог упасть.)

Телега шагом въехала в переулок и приблизилась к лавке. Коля понял, что это приехала милиция, и у него стало разрываться сердце на части, потому что ему было жалко бросать свою работу.

— Мотя, — сказал он, — когда я выстрелю, столб упадет.

— Безусловно, — ответил Мотя.

Штифт вернулся в лавку, и все его помощники пошли с ним. Они стали вдоль стены и вытащили револьверы. Десять глаз и пять револьверов были устремлены на дверь, все это не считая подпиленного столба. Молодежь была полна нетерпения.

— Тикай, милиция, — прошептал кто-то невоздержанный, — тикай, бо задавим…

— Молчать, — произнес Беня Крик, прыгая с антресолей. — Где ты видишь милицию, мурло? Король идет.

Еще немного, и произошло бы несчастье. Беня сбил Штифта с ног и выхватил у него револьвер. С антресолей начали падать люди, как дождь. В темноте ничего нельзя было разобрать.

— Ну вот, — прокричал тогда Колька, — Беня

хочет меня убить, это довольно интересно…

В первый раз в жизни короля приняли за пристава. Это было достойно смеха. Налетчики хохотали во все горло. Они зажгли свои фонарики, они надрывали свои животики, они катались по полу, задушенные смехом.

Один король не смеялся.

— В Одессе скажут, — начал он дельным голосом, — в Одессе скажут: король польстился на заработок своего товарища.

— Это скажут один раз, — ответил ему Штифт. — Никто не скажет ему этого два раза.

— Коля, — торжественно и тихим голосом продолжал король, — веришь ли ты мне, Коля?

И тут налетчики перестали смеяться. У каждого из них горел в руке фонарик, но смех выполз из кооператива «Справедливость».

— В чем я должен тебе верить, король?

— Веришь ли ты мне, Коля, что я здесь ни при чем?

И он сел на стул, этот присмиревший король, он закрыл пыльным рукавом глаза и заплакал. Такова была гордость этого человека, чтоб ему гореть огнем. И все налетчики, все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их король.

Потом они стали друг перед другом. Беня стоял, и Штифт стоял. Они начали здоровкаться за руку, они извинялись, они целовали друг друга в губы, и каждый из них тряс руку своего товарища с такой силой, как будто он хотел ее оторвать. Уже рассвет начал хлопать своими подслеповатыми глазами, уже Мотя ушел в участок сменяться, уже два полных биндюга увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость», а король и Коля все еще горевали, все еще кланялись и, закинув друг другу руки за шею, целовались нежно, как пьяные.

Кого искала судьба в это утро? Она искала меня, Цудечкиса, и она меня нашла.

— Коля, — спросил наконец король, — кто тебе указал на «Справедливость»?

— Цудечкис. А тебе, Беня, кто указал?

— И мне Цудечкис.

— Беня, — восклицает тогда Коля, — неужели же он останется у нас живой?

— Безусловно, что нет, — обращается Беня к одноглазому Штерну, который стоит в сторонке и хихикает, потому что он со мной в контрах, — закажешь, Фроим, глазетовый гроб, а я иду до Цудечкиса. Ты же, Коля, раз ты кое-что начал, то ты обязан это кончить, и очень прошу тебя от

моего имени и от имени моей супруги зайти ко мне утром и закусить в кругу моей семьи.

Часов в пять утра или нет, часа в четыре утра, а еще, может быть, и четырех не было, король зашел в мою спальню, взял меня, извините, за спину, снял с кровати, положил на пол и поставил свою ногу на мой нос. Услышав разные звуки и тому подобное, моя супруга спрыгнула и спросила Беню:

— Мосье Крик, за что вы обижаетесь на моего Цудечкиса?

— Как за что, — ответил Беня, не снимая ноги с моей переносицы, и слезы закапали у него из глаз, — он бросил тень на мое имя, он опозорил меня перед товарищами, можете проститься с ним, мадам Цудечкис, потому что моя честь дороже мне счастья и он не может оставаться живой…

Продолжая плакать, он топтал меня ногами. Моя супруга, видя, что я сильно волнуюсь, закричала. Это случилось в половине пятого, кончила она к восьми часам. Но она же ему задала, ох, как она ему задала! Это была роскошь!

— За что серчать на моего Цудечкиса, — кричала она, стоя на кровати, и я, корчась на полу, смотрел на нее с восхищением, — за что бить мо-

его Цудечкиса? За то ли, что он хотел накормить девять голодных птенчиков? Вы, такой-сякой, вы — Король, вы зять богача и сами богач, и ваш отец богач. Вы человек, перед которым открыто все и вся, что значит для Бенчика, одно неудачное дело, когда следующая неделя принесет вам семь удачных? Не сметь бить моего Цудечкиса! Не сметь!

Она спасла мне жизнь.

Когда проснулись дети, они начали кричать совместно с моей супругой. Беня все-таки испортил мне столько здоровья, сколько он понимал, что мне нужно испортить. Он оставил двести рублей на лечение и ушел. Меня отвезли в Еврейскую больницу. В воскресенье я умирал, в понедельник я поправлялся, а во вторник у меня был кризис.

Вот моя первая история. Кто виноват, и где причина? Неужели Беня виноват? Нечего нам друг другу глаза замазывать. Другого такого, как Беня Король — нет. Истребляя ложь, он ищет справедливость, и ту справедливость, которая в скобках и которая без скобок. Но ведь все другие невозмутимы, как холодец, они не любят искать, они не будут искать, и это хуже.

Я выздоровел. И это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала я о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И

всякий скажет: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

Ты проморгал, капитан!

В Одесский порт пришел пароход «Галифакс». Он пришел из Лондона за русской пшеницей.

Двадцать седьмого января, в день похорон Ленина, цветная команда парохода — три китайца, два негра и один малаец — вызвала капитана на палубу. В городе гремели оркестры и мела метель.

— Капитан О'Нирн, — сказали негры, — сегодня нет погрузки, отпустите нас в город до вечера.

— Оставайтесь на местах, — ответил О'Нирн, — шторм имеет девять баллов, и он усиливается: возле Санжейки замерз во льдах «Биконсфильд», барометр показывает то, чего ему лучше не показывать. В такую погоду команда должна быть на судне. Оставаться на местах.

И, сказав, это, капитан О'Нирн отошел ко второму помощнику. Они пересмеивались со вторым помощником, курили сигары и показывали пальцами на город, где в неудержимом горе мела метель и завывали оркестры.

Два негра и три китайца слонялись без толку по палубе. Они дули в озябшие ладони, притопывали резиновыми сапогами и заглядывали в

приотворенную дверь капитанской каюты. Оттуда тек в девятибалльный шторм бархат диванов, обогретый коньяком и тонким дымом.

— Боцман! — закричал О'Нирн, увидев матросов. — Палуба не бульвар, загоните-ка этих ребят в трюм.

— Есть, сэр, — ответил боцман, колонна из красного мяса, поросшая красным волосом, — есть сэр, — и он взял за шиворот взъерошенного малайца. Он поставил его к борту, выходившему в открытое море, и выбросил на веревочную лестницу. Малаец скатился вниз и побежал по льду. Три китайца и два негра побежали за ним следом.

— Вы загнали людей в трюм? — спросил капитан из каюты, обогретой коньяком и тонким дымом.

— Я загнал их, сэр, — ответил боцман, колонна из красного мяса, и стал у трапа, как часовой в бурю.

Ветер дул с моря — девять баллов, как девять ядер, пущенных из промерзших батарей моря. Белый снег бесился над глыбами льдов. И по окаменелым волнам, не помня себя, летели к берегу, к причалам, пять скорчившихся запятых с обуглившимися лицами и в развевающихся

пиджаках. Обдирая руки, они вскарабкались на берег по обледенелым сваям, пробежали в порт и влетели в город, дрожавший на ветру.

Отряд грузчиков с черными знаменами шел на площадь, к месту закладки памятника Ленину. Два негра и китайцы пошли с грузчиками рядом. Они задыхались, жали чьи-то руки и ликовали ликованием убежавших каторжников.

В эту минуту в Москве, на Красной площади, опускали в склеп труп Ленина. У нас, в Одессе, выли гудки, мела метель и шли толпы, построившись в ряды. И только на пароходе «Галифакс» непроницаемый боцман стоял у трапа, как часовой в бурю. Под его двусмысленной защитой капитан О'Нирн пил коньяк в своей прокуренной каюте.

Он положился на боцмана, О'Нирн, и он проморгал — капитан.

История моей голубятни*

М. Горькому

В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району.

Мне было всего девять лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам по русскому и по арифметике — мне нельзя было получить мень-

---

*** comments: ***

История моей голубятни

Впервые: Красная газета. Л., 1925, 18, 19, 20 мая, вечерний выпуск.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Авторская датировка: 1925 г.

В примечании к журнальной публикации (Красная новь, 1925, № 4) утверждалось, что рассказ является началом автобиографической повести.

ше пяти. Процентная норма[1] была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро; никого не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный, детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти, и в гимназию на мое место приняли маленького Эфрусси. Отец очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его в отчаяние. Он хотел побить Эфрусси или

---

[1] notes: 1.271

Процентная норма — существовавшее в дореволюционной России законодательное ограничение числа евреев, имевших возможность поступать в гимназии и университеты.

подкупить двух грузчиков, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. Родные тайком от меня подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс приготовительного и первого классов сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцыковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые пять с крестом.

Караваев этот был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, сидела бородавка у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом

и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихов Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи, человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотанья. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина.

— Какая нация, — прошептал старик, — жидки ваши, в них дьявол сидит.

И когда я замолчал, он сказал:

— Хорошо, ступай, мой дружок…

Я вышел из класса в коридор и там, прислонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судороги моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку под пролетом казенной лестницы, сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня

или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.

— Дети, — сказал он гимназистам, — не трогайте этого мальчика, — и положил жирную, нежную руку на мое плечо.

— Дружок мой, — обернулся Пятницкий, — передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту

минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что бог нас покарает и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом и скудно прожил еще сорок лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе[2], в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анжелос, бросил ее там и умер в дурном доме, среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после смерти наследство из Лос-Анжелоса

---

[2] notes: 1.272
Ешибет — еврейская духовная семинария.

— большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряди женских волос, дедовский талес[3], хлысты с золочеными набалдашниками и цветочный чай в шкатулках, отделанных дешевыми жемчугами. Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет злобная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что семья наша станет когда-либо сильнее и богаче других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, боялась купить форменную блузу раньше времени и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета.

---

[3] notes: 1.273
Талес — одежда молитвы.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался от обыкновенных людей еще и лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года.[4] В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире; он видел, как солдаты Николая Первого расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов[5]. Может быть, он и не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты, они были хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером плясал и топал на нашем нищем балу.

---

[4] notes: 1.274

Польское восстание 1861 года — волнения в 1861–1863 годах в Королевстве Польском, бывшем частью Российской империи, борьба за независимость Польши.

[5] notes: 1.275

Инсургент — участник восстания, повстанец.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих — торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Вояжеры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изо всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать пасху у хасидов или кто бывал на Волыни в их шумных синагогах. Кроме вояжеров, к нам пришел старый Либерман, обучавший меня торе и древнееврейскому языку. Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо, шелковые традиционные шнурки вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь иудейский,

победил Голиафа[6], и подобно тому как я восторжествовал над Голиафом, так народ наш силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, плача, выпил еще вина и закричал: «виват!» Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадриль, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать пригубила вина, хоть она и не любила водки и не понимала, как можно ее любить; всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями.

Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда по утрам до ухода в гимназию она стала приготовлять для меня бутерброды, когда мы ходили по лавкам и покупали елочное мое хозяйство пенал, копилку, ранец, новые книги в картонных переплетах и тетради в глянцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое

---

[6] notes: 1.276

Давид, **Голиаф** — персонажи ветхозаветного мифа; Давид, в будущем царь иудейский, во время войны с филистимлянами вызвал на поединок и победил великана Голиафа (Первая книга Царств. Гл. 17).

потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственничества над новыми вещами передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец; мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях.

У меня все было припасено для них — рубль пятьдесят копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, разные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье двадцатого октября и собрался на Охотницкую, но на пути стали неожиданные препятствия.

История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходила осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась

стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра в день двадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице напомаженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать, из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу задворками и добежал до Охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом.

На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика,

как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, и все вышло худо.

В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

— Иван Никодимыч, — сказал он, проходя мимо охотника, — складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили.

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

— Напрасно, — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед, — напрасно, — закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне

крюковских голубей за сорок копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе, он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, я бросился к нему в переулок.

— Макаренко, — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого, — не видал ты Шойла?

Калека не ответил, грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице, жена его, Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле.

— Чего насчитала? — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему

наперед невыносим был ее ответ.

— Камашей четырнадцать штук, — сказала Катюша, не разгибаясь, пододеяльников шесть, теперь чепцы рассчитываю…

— Чепцы, — закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает, — видно, меня, Катерина, бог сыскал, что я за всех ответить должен… Люди полотно целыми штуками носят, у людей все, как у людей, а у нас чепцы…

И в самом деле по переулку пробежала женщина с распалившимся красивым лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней, колеса его гремели, он изо всех сил вертел рычажки.

— Мадамочка, — оглушительно кричал он, — где брали сарпинку[7], мадамочка?

Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стоймя в телеге.

— Куда люди побегли? — спросил парень и под-

---

[7] notes: 1.277

Сарпинка — тонкая, но плотная льняная ткань с орнаментом в виде полосок или клеток.

нял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах.

— Люди все на Соборной, — умоляюще сказал Макаренко, — там все люди, душа-человек; чего наберешь, — все мне тащи, все покупаю…

Парень изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желт и пустынен; тогда безногий перевел на меня погасшие глаза.

— Меня, што ль, бог сыскал, — сказал он безжизненно, — я вам, штоль, сын человеческий…

И Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой[8].

— Чего у тебя в торбе? — сказал он и взял мешок, согревший мое сердце.

Толстой рукой калека растормошил турманов и вытащил на свет голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони.

— Голуби, — сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне, голуби, — повторил он и ударил меня по щеке.

Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимав-

---

[8] notes: 1.278

Проказа (лепра) — хроническая инфекционная болезнь, сопровождающаяся возникновением многочисленных кожных язв; больных проказой лечат в изолированных лепрозориях.

шей птицу. Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели.

— Семя ихнее разорить надо, — сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами, — семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездила беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье,

истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, дворняжка бежала впереди, в переулке сбоку молодой мужик в жилете разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил только затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, воспламененные старухи летели вперед. Мужик

в жилетке, увидев шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мертвого Шойла.

— Ветер тебя носит, как дурную щепку, — сказал старик, увидев меня, убег на целые веки… Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнул…

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался.

— Деда нашего тюкнули, никого больше, — сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке, — он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный… Ты бы ему пятаков на глаза нанес…

Но тогда, десяти лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.

— Кузьма, — сказал я шепотом, — спаси нас…

И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за этой спины. Шойл лежал в опилках

с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и остыл, только расчесав бороду мертвецу.

— Всех изматерил, — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью, кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки, кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю…

Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

— Идем к отцу, — пробормотал он, сжимая меня все крепче, — отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер…

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.

1925

Первая любовь*

Десяти лет от роду я полюбил женщину по имени Галина Аполлоновна. Фамилия ее была Рубцова. Муж ее, офицер, уехал на японскую войну и вернулся в октябре тысяча девятьсот пятого года. Он привез с собой много сундуков. В этих сундуках были китайские вещи: ширмы, драгоценное оружие, всего тридцать пудов. Кузьма говорил нам, что Рубцов купил эти вещи на деньги, которые он нажил на военной службе в инженерном управлении Маньчжурской армии. Кроме Кузьмы, другие люди говорили то же. Людям трудно было не судачить о Рубцовых, потому что Рубцовы были счастливы. Дом их прилегал к нашему владению, стеклянная их терраса захватывала часть нашей земли, но отец не бранился с ними из-за этого. Рубцов, податной инспектор, слыл в нашем городе справедливым человеком, он водил знакомство с евреями. И когда с японской войны приехал офицер, сын старика, все мы

*** comments: ***

Первая любовь

Впервые: Красная газета. Л" 1925, 24 и 25 мал, вечерний выпуск.
Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.
Авторская датировка: 1925 г.

увидели, как дружно и счастливо они зажили. Галина Аполлоновна по целым дням держала мужа за руки. Она не сводила с него глаз, потому что не видела мужа полтора года, но я ужасался ее взгляда, отворачивался и трепетал. Я видел в них удивительную постыдную жизнь всех людей на земле, я хотел заснуть необыкновенным сном, чтобы мне забыть об этой жизни, превосходящей мечты. Галина Аполлоновна ходила, бывало, по комнате с распущенной косой, в красных башмаках и китайском халате. Под кружевами ее рубашки, вырезанной низко, видно было углубление и начало белых, вздутых, отдавленных книзу грудей, а на халате розовыми шелками вышиты были драконы, птицы, дуплистые деревья.

Весь день она слонялась с неясной улыбкой на мокрых губах и наталкивалась на нераспакованные сундуки, на гимнастические лестницы, разбросанные по полу. У Галины делались ссадины от этого, она подымала халат выше колена и говорила мужу:

— Поцелуй ваву…

И офицер, сгибая длинные ноги, одетые в драгунские чикчиры, в шпоры, в лайковые обтянутые сапоги, становился на грязный пол, и, улыбаясь, двигая ногами и подползая на коленях,

он целовал ушибленное место, то место, где была пухлая складка от подвязки. Из моего окна я видел эти поцелуи. Они причиняли мне страдания, но об этом не стоит рассказывать, потому что любовь и ревность десятилетних мальчиков во всем похожи на любовь и ревность взрослых мужчин. Две недели я не подходил к окну и избегал Галины, пока случай не свел меня с нею. Случай этот был еврейский погром, разразившийся в пятом году в Николаеве и в других городах еврейской черты оседлости. Толпа наемных убийц разграбила лавку отца и убила деда моего Шойла. Все это случилось без меня, я покупал в то утро голубей у охотника Ивана Никодимыча. Пять лет из прожитых мною десяти я всею силою души мечтал о голубях, и вот когда я купил их, калека Макаренко разбил голубей на моем виске. Тогда Кузьма отвел меня к Рубцовым. У Рубцовых на калитке был мелом нарисован крест, их не трогали, они спрятали у себя моих родителей. Кузьма привел меня на стеклянную террасу. Там сидела мать в зеленой ротонде и Галина.

— Нам надо умыться, — сказала мне Галина, — нам надо умыться, маленький раввин… У нас все лицо в перьях, и перья-то — в крови…

Она обняла меня и повела по коридору, резко

пахнувшему. Голова моя лежала на бедре Галины, бедро двигалось и дышало. Мы пришли на кухню, и Рубцова поставила меня под кран. Гусь жарился на кафельной плите, пылающая посуда висела по стенам, и рядом с посудой, в кухаркином углу, висел царь Николай, убранный бумажными цветами. Галина смыла остатки голубя, присохшие к моим щекам.

— Жених будешь, мой гарнесенький, — сказала она, поцеловав меня в губы запухшим ртом, и отвернулась.

— Ты видишь, — прошептала она вдруг, — у папки твоего неприятности, он весь день ходит по улицам без дела, позови папку домой…

И я увидел из окна пустую улицу с громадным небом над ней и рыжего моего отца, шедшего по мостовой. Он шел без шапки, весь в легких поднявшихся рыжих волосах, с бумажной манишкой, свороченной набок и застегнутой на какую-то пуговицу, но не на ту, на которую следовало. Власов, испитой рабочий в солдатских ваточных лохмотьях, неотступно шел за отцом.

— Так, — говорил он душевным хриплым голосом и обеими руками ласково трогал отца, — не надо нам свободы, чтобы жидам было свободно торговать… Ты подай светлость жизни рабочему

человеку за труды за его, за ужасную эту громадность… Ты подай ему, друг, слышь, подай…

Рабочий молил о чем-то отца и трогал его, полосы чистого пьяного вдохновения сменялись на его лице унынием и сонливостью.

— На молокан должна быть похожа наша жизнь, — бормотал он и пошатывался на подворачивающихся ногах, — вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без бога этого сталоверского, от него евреям выгода, другому никому…

И Власов с отчаянием закричал о сталоверском боге, пожалевшем одних евреев. Власов вопил, спотыкался и догонял неведомого своего бога, но в эту минуту казачий разъезд перерезал ему путь. Офицер в лампасах, в серебряном парадном поясе ехал впереди отряда, высокий картуз был поставлен на его голове. Офицер ехал медленно и не смотрел по сторонам. Он ехал как бы в ущелье, где смотреть можно только вперед.

— Капитан, — прошептал отец, когда казак поравнялся с ним, — капитан, — сжимая голову, сказал отец и стал коленями в грязь.

— Чем могу, — ответил офицер, глядя по-прежнему вперед, и поднес к козырьку руку в замшевой лимонной перчатке.

Впереди, на углу Рыбной улицы, громилы разбивали нашу лавку и выкидывали из нее ящики с гвоздями, машинами и новый мой портрет в гимназической форме.

— Вот, — сказал отец и не встал с колен, — они разбивают кровное, капитан, за что…

Офицер что-то пробормотал, приложил к козырьку лимонную перчатку и тронул повод, но лошадь не пошла. Отец ползал перед ней на коленях, притирался к коротким ее, добрым, чуть взлохмаченным ногам.

— Слушаю-с, — сказал капитан, дернул повод и уехал, за ним двинулись казаки. Они бесстрастно сидели в высоких седлах, ехали в воображаемом ущелье и скрылись в повороте на Соборную улицу.

Тогда Галина опять подтолкнула меня к окну.

— Позови папку домой, — сказала она, — он с утра ничего не ел.

И я высунулся из окна.

Отец обернулся, услышав мой голос.

— Сыночка моя, — пролепетал он с невыразимой нежностью.

И вместе с ним мы пошли на террасу к Рубцовым, где лежала мать в зеленой ротонде. Рядом с ее кроватью валялись гантели и гимнастический

аппарат.

— Паршивые копейки, — сказала мать нам навстречу, — человеческую жизнь и детей, и несчастное наше счастье — ты все им отдал… Паршивые копейки, — закричала она хриплым, не своим голосом, дернулась на кровати и затихла.

И тогда в тишине стала слышна моя икота. Я стоял у стены в нахлобученном картузе и не мог унять икоты.

— Стыдно так, мой гарнесенький, — улыбнулась Галина пренебрежительной своей улыбкой и ударила меня негнущимся халатом. Она прошла в красных башмаках к окну и стала навешивать китайские занавески на диковинный карниз. Обнаженные ее руки утопали в шелку, живая коса шевелилась на ее бедре, я смотрел на нее с восторгом.

Ученый мальчик, я смотрел на нее, как на далекую сцену, освещенную многими софитами. И тут же я вообразил себя Мироном, сыном угольщика, торговавшего на нашем углу. Я вообразил себя в еврейской самообороне, и вот, как и Мирон, я хожу в рваных башмаках, подвязанных веревкой. На плече, на зеленом шнурке, у меня висит негодное ружье, я стою на коленях у старого дощатого забора и отстреливаюсь от убийц. За забором

моим тянется пустырь, на нем свалены груды запылившегося угля, старое ружье стреляет дурно, убийцы, в бородах, с белыми зубами, все ближе подступают ко мне; я испытываю гордое чувство близкой смерти и вижу в высоте, в синеве мира, Галину. Я вижу бойницу, прорезанную в стене гигантского дома, выложенного мириадами кирпичей. Пурпурный этот дом попирает переулок, в котором плохо убита серая земля, в верхней бойнице его стоит Галина. Пренебрежительной своей улыбкой она улыбается из недосягаемого окна, муж, полуодетый офицер, стоит за спиной и целует ее в шею…

Пытаясь унять икоту, я вообразил себе все это затем, чтобы мне горше, горячей, безнадежней любить Рубцову, и, может быть, потому, что мера скорби велика для десятилетнего человека. Глупые мечты помогли мне забыть смерть голубей и смерть Шойла, я позабыл бы, пожалуй, об этих убийствах, если бы в ту минуту на террасу не взошел Кузьма с ужасным этим евреем Абой.

Были сумерки, когда они пришли. На террасе горела скудная лампа, покривившаяся в каком-то боку, — мигающая лампа, спутник несчастий.

— Я деда обрядил, — сказал Кузьма, входя, — теперь очень красивые лежат, — вот и служку

привел, пускай поговорит чего-нибудь над стариком…

И Кузьма показал на шамеса Абу.

— Пускай поскулит, — проговорил дворник дружелюбно, — служке кишку напихать — служка цельную ночь богу надоедать будет…

Он стоял на пороге — Кузьма — с добрым своим перебитым носом, повернутым во все стороны, и хотел рассказать как можно душевнее о том, как он подвязывал челюсти мертвецу, но отец прервал старика:

— Прошу вас, реб Аба, — сказал отец, — помолитесь над покойником, я заплачу вам…

— А я опасываюсь, что вы не заплатите, — скучным голосом ответил Аба и положил на скатерть бородатое брезгливое лицо, — я опасываюсь, что вы заберете мой карбач[1] и уедете с ним в Аргентину, в Буэнос-Айрес, и откроете там оптовое дело на мой карбач… Оптовое дело, — сказал Аба, пожевал презрительными губами и потянул к себе газету «Сын Отечества», лежавшую на столе. В газете этой было напечатано о царском манифесте 17-го октября и о свободе.

— «…Граждане свободной России, — читал Аба

---

[1] notes: 1.280

Карбач *(жарг.)* — процент от сделки, деньги.

газету по складам и разжевывал бороду, которой он набрал полон рот, — граждане свободной России, с светлым вас христовым воскресением…»

Газета стояла боком перед старым шамесом и колыхалась: он читал ее сонливо, нараспев и делал удивительные ударения на незнакомых ему русских словах. Ударения Абы были похожи на глухую речь негра, прибывшего с родины в русский порт. Они рассмешили даже мать мою.

— Я делаю грех, — вскричала она, высовываясь из-под ротонды, — я смеюсь, Аба… Скажите лучше, как вы поживаете и как семья ваша?

— Спросите меня о чем-нибудь другом, — пробурчал Аба, не выпуская бороды из зубов и продолжая читать газету.

— Спроси его о чем-нибудь другом, — вслед за Абой сказал отец и вышел на середину комнаты. Глаза его, улыбавшиеся нам в слезах, повернулись вдруг в орбитах и уставились в точку, никому не видную.

— Ой, Шойл, — произнес отец ровным, лживым, приготовляющимся голосом, ой, Шойл, дорогой человек…

Мы увидели, что он закричит сейчас, но мать предупредила нас.

— Манус, — закричала она, растрепавшись

мгновенно, и стала обрывать мужу грудь, — смотри, как худо нашему ребенку, отчего ты не слышишь его икотки, отчего это, Манус?..

Отец умолк.

— Рахиль, — сказал он боязливо, — нельзя передать тебе, как я жалею Шойла…

Он ушел в кухню и вернулся оттуда со стаканом воды.

— Пей, артист, — сказал Аба, подходя ко мне, — пей эту воду, которая поможет тебе, как мертвому кадило…

И правда, вода не помогла мне. Я икал все сильнее. Рычание вырывалось из моей груди. Опухоль, приятная на ощупь, вздулась у меня на горле. Опухоль дышала, надувалась, перекрывала глотку и вываливалась из воротника. В ней клокотало разорванное мое дыхание. Оно клокотало, как закипевшая вода. И когда к ночи я не был уже больше лопоухий мальчик, каким я был во всю мою прежнюю жизнь, а стал извивающимся клубком, тогда мать, закутавшись в шаль и ставшая выше ростом и стройнее, подошла к помертвевшей Рубцовой.

— Милая Галина, — сказала мать певучим, сильным голосом, — как мы беспокоим вас и милую Надежду Ивановну и всех ваших… Как

мне стыдно, милая Галина…

С пылающими щеками мать теснила Галину к выходу, потом она кинулась ко мне и сунула шаль мне в рот, чтобы подавить мой стон.

— Потерпи, сынок, — шептала мать, — потерпи для мамы…

Но хоть бы и можно терпеть, я не стал бы этого делать, потому что не испытывал больше стыда…

Так началась моя болезнь. Мне было тогда десять лет. Наутро меня повели к доктору. Погром продолжался, но нас не тронули. Доктор, толстый человек, нашел у меня нервную болезнь.

Он велел поскорее ехать в Одессу, к профессорам, и дожидаться там тепла и морских купаний.

Мы так и сделали. Через несколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Лейви-Ицхоку и к дяде Симону. Мы выехали утром на пароходе, и уже к полдню бурые воды Буга сменились тяжелой зеленой волной моря. Передо мною открывалась жизнь у безумного деда Лейви-Ицхока, и я навсегда простился с Николаевым, где прошли десять лет моего детства.

1925

Детство. У бабушки*

По субботам я возвращался домой поздно, после шести уроков. Хождение по улице не казалось мне пустым занятием. Во время ходьбы удивительно хорошо мечталось и все, все было родное. Я знал вывески, камни домов, витрины магазинов. Я их знал особенно, только для себя и твердо был уверен, что вижу в них главное, таинственное, то, что мы, взрослые, называем сущностью вещей. Все мне крепко ложилось на душу. Если говорили при мне о лавке, я вспоминал вывеску, золотые потертые буквы, царапину в левом углу ее, барышню-кассиршу с высокой прической и вспоминал воздух, который живет воале этой лавки и не живет ни у какой другой. А из лавок, людей, воздуха, театральных афиш я составлял мой родной город. Я до сих пор помню, чувствую и люблю его; чувствую так, как мы чувствуем запах матери, запах ласки, слов и улыбки; люблю потому, что в нем я рос, был счастлив, грустен и

*** comments: ***

Детство. У бабушки

Впервые: Литературное наследство. Т. 74. Из творческого наследия советских писателей. М., 1965.

Авторская датировка: Саратов, 12.11.15.

мечтателен, страстно неповторимо мечтателен.

Шел я всегда по главной улице, там было больше всего людей.

Та суббота, о которой мне хочется рассказать, приходилась на начало весны. В эту пору у нас в воздухе нет тихой нежности, так сладостной в средней России, над мирной речкой, над скромной долиной. У нас блестящая, легкая прохлада, неглубокая, веющая холодком страстность. Я был совсем пузырем в то время и ничего не понимал, но весну чувствовал и от холодка цвел и румянился.

Ходьба занимала у меня много времени. Я долго рассматривал бриллианты в окне ювелира, прочитывал театральные афиши от а до ижицы, а однажды осматривал в магазине мадам Розали бледно-розовые корсеты с длинными волнистыми подвязками. Собираясь идти дальше, я наткнулся тогда на высокого студента с большими черными усами.

Он улыбался и спросил меня: «Изучаете?» Я смутился. Тогда он важно похлопал меня по плечу и покровительственно сказал: «Продолжайте в том же духе, коллега. Хвалю. Всех благ!» Расхохотался, повернулся и ушел. Я был очень сконфужен, поплелся домой и на витрины мадам Розали уже

не заглядывался.

Этот субботний день полагалось проводить у бабушки. У нее была отдельная комната, в самом конце квартиры, за кухней. В углу комнаты стояла печь: бабушка всегда зябла. В комнате было жарко, душно, и от этого мне всегда бывало тоскливо, хотелось вырваться, хотелось на волю.

Я перетащил к бабушке мои принадлежности, книги, пюпитр и скрипку. Стол для меня был уже накрыт. Бабушка села в углу. Я ел. Мы молчали. Дверь была заперта. Мы были одни. На обед была холодная фаршированная рыба с хреном (блюдо, ради которого стоит принять иудейство), жирный, вкусный суп, жареное мясо с луком, салат, компот, кофе, пирог и яблоки. Я съел все. Я был мечтателем, это правда, но с большим аппетитом. Бабушка убрала посуду. В комнате сделалось чисто. На окошке стояли чахленькие цветы. Из всего живущего бабушка любила своего сына, внука, собаку Мимку и цветы. Пришла и Мимка, свернулась калачиком на диване и заснула тотчас. Она была ужасная соня, но славная собака, добрая, разумная, небольшая и красивая. Мимка была мопсом. Шерсть у нее была светлая. До старости она не обрюзгла, не отяжелела, а осталась стройной и тонкой. Она у нас долго жила, от рождения

до смерти, весь свой пятнадцатилетний собачий век, и любила нас, — это так понятно, а больше всех суровую и ко всему безжалостную бабушку. О том, какие друзья, молчаливые и скрытные, они были, я расскажу в другой раз. Это очень хорошая, трогательная и ласковая история.

Итак, нас было трое — я, бабушка и Мими. Мими спала. Бабушка, добрая, в праздничном шелковом платье, сидела в углу, а я должен был заниматься. Тот день был тяжелым для меня. В гимназии было 6 уроков, а должен был прийти г. Сор[окин], учитель музыки, и г. Л., учитель еврейского языка, отдавать пропущенный урок и пот[ом], м[ожет] б[ыть], Peysson[1], учитель французского языка, и уроки приходилось приготовлять. С Л. я справился бы, мы были старые знакомые, но музыка, гаммы — какая тоска! Сначала я принялся за уроки. Рааложил тетради, стал тщательно решать задачи. Бабушка не прерывала меня, боже сохрани. От напряжения, от благоговения к моей работе у нее сделалось тупое лицо. Глаза ее, круглые, желтые, прозрачные, не отрывались от меня. Я перелистывал страницу — они медленно передвигались вслед за моей рукой. Другому от

---

[1] notes: 1.281
Пейссон (фр.).

неотлучно наблюдающего, неотрывного взгляда было бы очень тяжело, но я привык.

Потом бабушка меня выслушивала. По-русски, надо сказать, она говорила скверно, слова коверкала на свой, особенный, лад, смешивая русские с польскими и еврейскими. Грамотна по-русски, конечно, не была и книгу держала вниз головой. Но это не мешало мне рассказать ей урок с начала до конца. Бабушка слушала, ничего не понимала, но музыка слов для нее была сладка, она благоговела перед наукой, верила мне, верила в меня и хотела, чтобы из меня вышел «богатырь» — так называла она богатого человека. Уроки я кончил и принялся за чтение книги, я тогда читал «Первую любовь» Тургенева. Мне все в ней нравилось, ясные слова, описания, разговоры, но в необыкновенный трепет меня приводила та сцена, когда отец Владимира бьет Зинаиду хлыстом по щеке. Я слышал свист хлыста, его гибкое кожаное тело остро, больно, мгновенно впивалось в меня. Меня охватывало неизъяснимое волнение. На этом месте я должен был бросить чтение, пройтись по комнате. А бабушка сидела недвижима, и даже жаркий одуряющий воздух стоял не шевелясь, точно чувствовал, что я занимаюсь, нельзя мне мешать. Жару в комнате

все прибавлялось. Стала похрапывать Мимка. А раньше было тихо, призрачно тихо, не доносилось ни звука. Все мне было необыкновенно в тот миг и от всего хотелось бежать и навсегда хотелось остаться. Темнеющая комната, желтые глаза бабушки, ее фигурка, закутанная в шаль, скрюченная и молчащая в углу, жаркий воздух., закрытая дверь, и удар хлыстом, и этот пронзительный свист — только теперь я понимаю, как это было странно, как много означало для меня. Из этого тревожного состояния меня вывел звонок. Пришел Сор[окин]. Я ненавидел его в ту минуту, ненавидел гаммы, эту непонятную, ненужную визгливую музыку. Надо признать, этот Сор[окин] был славный малый, носил черные волосы ежиком, имел большие красные руки и красивые полные губы. В тот день под бабушкиным оком он должен был работать целый час, даже больше, должен был стараться изо всех сил. Все это не находило никакого признания. Глаза старухи холодно и цепко передвигались вслед за его движениями, оставались к нему безразличными и чужими. Бабушке были не интересны посторонние люди. Она требовала, чтобы они исполняли свои обязательства по отношению к нам, и только. Начали мы заниматься. Я-то

бабушку не боялся, но битый час приходилось испытывать на себе усердие не в меру моего бедного Сорокина. Он чувствовал себя очень необычно в этой отдаленной комнате, перед мирно спящей собакой и враждебной, холодно следящей старухой. Наконец он стал прощаться. Бабушка безучастно подала ему твердую, морщинистую большую руку и даже не шевельнула ею. Уходя, он зацепился за стул.

Я выдержал и следующий час — урок господина Л., дождался минуты, когда и за ним закрылась дверь.

Наступил вечер. Зажглись в небе далекие золотые точки. Наш двор — глубокую клетку — ослепила луна. У соседей женский голос запел романс «Отчего я безумно люблю». Наши ушли в театр. Мне сделалось грустно. Я устал. Я так много читал, так много занимался, так много смотрел. Бабушка зажгла лампу. Ее комната сразу сделалась тихой; темная, тяжелая мебель мягко осветилась. Проснулась Мими, прошлась по комнатам, пришла снова к нам и стала дождаться ужина. Прислуга внесла самовар. Бабушка была любительница чаю. Для меня был припасен пряник. Мы пили помногу. В глубоких и резких бабушкиных морщинах заблестел пот. «Хочешь

спать?» — спросила она. Я ответил: «Нет». Мы стали разговаривать. И вновь я услышал бабушкины истории. Давно, много лет тому назад один еврей держал корчму. Он был беден, женат, обременен детьми и торговал безакцизной водкой. Приезжал к нему комиссар и мучил его. Ему стало трудно жить. Он пошел к цадику и сказал: «Рабби, мне досаждает комиссар до смерти. Просите за меня бога». — «Иди с миром, — сказал ему цадик. — Комиссар успокоится». Еврей ушел. На пороге своей корчмы он застал комиссара. Тот лежал мертвым с батровым лицом.

Бабушка замолчала. Самовар гудел. Соседка все пела. Луна все слепила. Мими помахала хвостом. Она была голодна.

— В старину люди верили, — промолвила бабушка. — Было проще жить на свете. Когда я была девушкой — взбунтовались поляки. Возле нас был графский майонтек. К графу приезжал сам царь. У него гуляли по семеро суток. Я ночью бегала к графскому замку и смотрела в освещенные окиа. У графа была дочь и лучшие в мире жемчуга. Потом было восстание. Пришли солдаты и выволокли его на площадь. Мы все стояли вокруг и плакали. Солдаты вырыли яму. Старику хотели завязать глаза. Он сказал «не надо», стал против

солдат и скомандовал: «пали». Граф был высокого роста, седой мужчина. Мужики его любили. Когда его стали закапывать, быстро приехал гонец. Он привез от царя помилование.

Самовар потухал. Бабушка выпила последний, холодный уже стакан чаю, пососала беззубым ртом кусочек сахару.

— Твой дед, — заговорила она, — знал много историй, но он ни во что не верил, только верил в людей. Он отдал все свои деньги друзьям, а когда пришел к ним, то его сбросили с лестницы, и он тронулся умом.

И бабушка рассказывает мне о моем деде, высоком, насмешливом, страстном и деспотичном человеке. Он играл на скрипке, писал по ночам сочинения и знал все языки. Им владела неугасимая жажда к знанию и жизни. В их старшего сына влюбилась генеральская дочь, он много скитался, играл в карты и умер в Канаде 37 лет. У бабушки остался один только сын и я. Все прошло. День склоняется к вечеру, и смерть приближается медленно. Бабушка замолкает, склоняет голову и плачет.

— Учись, — вдруг говорит она с силой, — учись, ты добьешься всего — богатства и славы. Ты должен знать всё. Все будут падать и унижаться

перед тобой. Тебе должны завидовать все. Не верь людям. Не имей друзей. Не отдавай им денег. Не отдавай им сердца.

Бабушка не рассказывает больше. Тишина. Бабушка думает о прошедших годах и печалях, думает о моей судьбе, и суровый завет ее тяжко — навеки — ложится на детские слабые мои плечи. В темном углу пышет зноем накалившаяся чугунная печь. Мне душно, мне нечем дышать, надо бежать на воздух, на волю, но нет сил поднять никнущую (голову?).

В кухне гремят посудой. Бабушка идет туда. Мы собираемся ужинать. Скоро я слышу ее металлический и гневный голос. Она кричит на прислугу. Мне странно и больно. Ведь так недавно она дышала миром и печалью. Прислуга огрызается. «Пошла вон, наймичка, — гремит нестерпимо высокий голос с неудержимой яростью. — Я здесь хозяйка. Ты добро уничтожаешь. Вон». Я не могу вынести этого оглушающего железного крика. Через приоткрытую дверь я вижу бабушку. Ее лицо напряжено, губа мелко и беспощадно вздрагивает, глотка вздулась, точно вспухла. Прислуга что-то возражает. «Уйди», — сказала бабушка. Сделалось тихо. Прислуга согнулась и неслышно, точно боясь оскорбить тишину, выползла из

комнаты.

Мы ужинаем в молчании. Едим сытно, обильно и долго. Прозрачные бабушкины глаза неподвижны, и куда они смотрят — я не знаю. После ужина она…[2]

Больше я не вижу ничего, потому что сплю очень крепко, сплю молодо за семью печатями в бабушкиной жаркой комнате.

Саратов, 12.11.15

---

[2] notes: 1.282

Фраза обрывается. Заключительный абзац написан на отдельном листке.

Карл Янкель*

В пору моего детства на Пересыпи была кузница Иойны Брутмана. В ней собирались барышники лошадьми, ломовые извозчики — в Одессе они называются биндюжниками — и мясники с городских скотобоен. Кузница стояла у Балтской дороги. Избрав ее наблюдательным пунктом, можно было перехватить мужиков, возивших в город овес и бессарабское вино. Иойна был пугливый, маленький человек, но к вину он был приучен, в нем жила душа одесского еврея.

В мою пору у него росли три сына. Отец доходил им до пояса. На пересыпском берегу я впервые задумался о могуществе сил, тайно живущих в природе. Три раскормленных бугая с багровыми плечами и ступнями лопатой — они сносили сухонького Иойну в воду, как сносят младенца. И все-таки родил их он и никто другой. Тут не было сомнений. Жена кузнеца ходила в синагогу два раза в неделю — в пятницу вечером и в субботу

*** comments: ***

Карл-Янкель

Впервые: Звезда, 1931, № 7.
Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

утром; синагога была хасидская, там доплясывались на пасху до исступления, как дервиши[1]. Жена Иойны платила дань эмиссарам, которых рассылали по южным губерниям галицийские цадики. Кузнец не вмешивался в отношения жены своей к богу после работы он уходил в погребок возле скотобойни и там, потягивая дешевое розовое вино, кротко слушал, о чем говорили люди, — о ценах на скот и политике.

Ростом и силой сыновья походили на мать. Двое из них, подросши, ушли в партизаны. Старшего убили под Вознесенском, другой Брутман, Семен, перешел к Примакову[2] — в дивизию червонного казачества. Его выбрали командиром казачьего полка. С него и еще нескольких местечковых юношей началась эта неожиданная порода еврейских рубак, наездников и партизанов.

Третий сын стал кузнецом по наследству. Он работает на плужном заводе Гена на старых местах. Он не женился и никого не родил.

Дети Семена кочевали вместе с его дивизией. Старухе нужен был внук, которому она могла бы

---

[1] notes: 1.283

Дервиши — странствующие мусульманские проповедники.

[2] notes: 1.284

Примаков Виталий Маркович (1897–1937) — советский военачальник, в гражданскую войну командовал дивизией Червонного казачества.

рассказать о Баал-Шеме. Внука она дождалась от младшей дочери Поли. Одна во всей семье девочка пошла в маленького Иойну. Она была пуглива, близорука, с нежной кожей. К ней присватывались многие. Поля выбрала Овсея Белоцерковского. Мы не поняли этого выбора. Еще удивительнее было известие о том, что молодые живут счастливо. У женщин свое хозяйство: постороннему не видно, как бьются горшки. Но тут горшки разбил Овсей Белоцерковский. Через год после женитьбы он подал в суд на тещу свою Брану Брутман. Воспользовавшись тем, что Овсей был в командировке, а Поля ушла в больницу лечиться от грудницы, старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к малому оператору Нафтуле Герчику, и там в присутствии десяти развалин, десяти древних и нищих стариков, завсегдатаев хасидской синагоги, над младенцем был совершен обряд обрезания.

Новость эту Овсей Белоцерковский узнал после приезда. Овсей был записан кандидатом в партию. Он решил посоветоваться с секретарем ячейки Госторга Бычачем.

— Тебя морально запачкали, — сказал ему Бычач, — ты должен двинуть это дело…

Одесская прокуратура решила устроить пока-

зательный суд на фабрике имени Петровского. Малый оператор Нафтула Герчик и Брана Брутман, шестидесяти двух лет, очутились на скамье подсудимых.

Нафтула был в Одессе такое же городское имущество, как памятник дюку де Ришелье[3]. Он проходил мимо наших окон на Дальницкой с трепаной, засаленной акушерской сумкой в руках. В этой сумке хранились немудрящие его инструменты. Он вытаскивал оттуда то ножик, то бутылку водки с медовым пряником. Он нюхал пряник, прежде чем выпить, и, выпив, затягивал молитвы. Он был рыж, Нафтула, как первый рыжий человек на земле. Отрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший. Медвежьи глазки его сияли весельем. Рыжий, как первый рыжий человек на земле, он гнусавил благословение над вином. Одной рукой Нафтула опрокидывал в заросшую

---

[3] notes: 1.285

Ришелье Арман Эммануэль дю Плесси (1766–1822) — герцог, французский эмигрант, в 1805–1814 годах генерал-губернатор Новороссии и градоначальник Одессы; памятник Ришелье стоит в центре Одессы (скульптор И. Мартос).

кривую, огнедышащую яму своего рта водку, в другой руке у него была тарелка. На ней лежал ножик, обагренный младенческой кровью, и кусок марли. Собирая деньги, Нафтула обходил с этой тарелкой гостей, он толкался между женщинами, валился на них, хватал за груди и орал на всю улицу.

— Толстые мамы, — орал старик, сверкая коралловыми глазками, — печатайте мальчиков для Нафтулы, молотите пшеницу на ваших животах, старайтесь для Нафтулы… Печатайте мальчиков, толстые мамы…

Мужья бросали деньги в его тарелку. Жены вытирали салфетками кровь с его бороды. Дворы Глухой и Госпитальной не оскудевали. Они кишели детьми, как устья рек икрой. Нафтула плелся со своим мешком, как сборщик подати. Прокурор Орлов остановил Нафтулу в его обходе.

Прокурор гремел с кафедры, стремясь доказать, что малый оператор является служителем культа.

— Верите ли вы в бога? — спросил он Нафтулу.

— Пусть в бога верит тот, кто выиграл двести тысяч, — ответил старик.

— Вас не удивил приход гражданки Брутман в поздний час, в дождь, с новорожденным на

руках?..

— Я удивляюсь, — сказал Нафтула, — когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки — я не удивляюсь...

Ответы эти не удовлетворили прокурора. Речь шла о стеклянной трубочке. Прокурор доказывал, что, высасывая кровь губами, подсудимый подвергал детей опасности заражения. Голова Нафтулы — кудлатый орешек его головы болталась где-то у самого пола. Он вздыхал, закрывал глаза и вытирал кулачком провалившийся рот.

— Что вы бормочете, гражданин Герчик? — спросил его председатель.

Нафтула устремил потухший взгляд на прокурора Орлова.

— У покойного мосье Зусмана, — сказал он, вздыхая, — у покойного вашего папаши была такая голова, что во всем свете не найти другую такую. И, слава богу, у него не было апоплексии, когда он тридцать лет тому назад позвал меня на ваш брис[4]. И вот мы видим, что вы выросли большой человек у советской власти и что Нафтула не захватил вместе с этим куском пустяков

---

[4] notes: 1.286
Брис — обряд обрезания.

ничего такого, что бы вам потом пригодилось…

Он заморгал медвежьими глазками, покачал рыжим своим орешком и замолчал. Ему ответили орудия смеха, громовые залпы хохота. Орлов, урожденный Зусман, размахивая руками, кричал что-то, чего в канонаде нельзя было расслышать. Он требовал занесения в протокол… Саша Светлов, фельетонист «Одесских известий», послал ему из ложи прессы записку: «Ты баран, Сема, — значилось в записке, — убей его иронией, убивает исключительно смешное… Твой Саша».

Зал притих, когда ввели свидетеля Белоцерковского.

Свидетель повторил письменное свое заявление. Он был долговяз, в галифе и кавалерийских ботфортах. По словам Овсея, Тираспольский и Балтский укомы партии оказывали ему полное содействие в работе по заготовке жмыхов. В разгаре заготовок он получил телеграмму о рождении сына. Посоветовавшись с заворгом Балтского укома, он решил, не срывая заготовок, ограничиться посылкой поздравительной телеграммы, приехал же он только через две недели. Всего было собрано по району 64 тысячи пудов жмыха. На квартире, кроме свидетельницы Харченко, соседки, по профессии прачки, и сына, он никого

не застал. Супруга его отлучилась в лечебницу, а свидетельница Харченко, раскачивая люльку, что является устарелым, пела над ним песенку. Зная свидетельницу Харченко как алкоголика, он не счел нужным вникать в слова ее пения, но только удивился тому, что она называет мальчика Яшей, в то время как он указал назвать сына Карлом, в честь учителя Карла Маркса. Распеленав ребенка, он убедился в своем несчастье.

Несколько вопросов задал прокурор. Защита объявила, что у нее вопросов нет. Судебный пристав ввел свидетельницу Полину Белоцерковскую. Шатаясь, она подошла к барьеру. Голубоватая судорога недавнего материнства кривила ее лицо, на лбу стояли капли пота. Она обвела взглядом маленького кузнеца, вырядившегося точно в праздник — в бант и новые штиблеты, и медное, в седых усах, лицо матери. Свидетельница Белоцерковская не ответила на вопрос о том, что ей известно по данном делу. Она сказала, что отец ее был бедным человеком, сорок лет проработал он в кузнице на Балтской дороге. Мать родила шестерых детей, из них трое умерли, один является красным командиром, другой работает на заводе Гена…

— Мать очень набожна, это все видят, она все-

гда страдала от того, что ее дети неверующие, и не могла перенести мысли о том, что внуки ее не будут евреями. Надо принять во внимание — в какой семье мать выросла… Местечко Меджибож всем известно, женщины там до сих пор носят парики…

— Скажите, свидетельница, — прервал ее резкий голос. Полина замолкла, капли пота окрасились на ее лбу, кровь, казалось, просачивается сквозь тонкую кожу. — Скажите, свидетельница, — повторил голос, принадлежавший бывшему присяжному поверенному Самуилу Линингу…

Если бы синедрион[5] существовал в наши дни, — Лининг был бы его главой. Но синедриона нет, и Лининг, в двадцать пять лет обучившийся русской грамоте, стал на четвертом десятке писать в сенат кассационные жалобы, ничем не отличавшиеся от трактатов Талмуда…

Старик проспал весь процесс. Пиджак его был засыпан пеплом. Он проснулся при виде Поли Белоцерковской.

— Скажите, свидетельница, — рыбий ряд синих выпадающих его зубов затрещал, — вам известно

---

[5] notes: 1.287

Синедрион — совет старейшин Иерусалима, позднее — верховный суд Иудеи (111 в. до н. э. — 1 в. н. э.).

было о решении мужа назвать сына Карлом?

— Да.

— Как назвала его ваша мать?

— Янкелем.

— А вы, свидетельница, как вы называли вашего сына?

— Я называла его «дусенькой».

— Почему именно дусенькой?..

— Я всех детей называю дусеньками…

— Идем дальше, — сказал Линингг, зубы его выпали, он подхватил их нижней губой и опять сунул в челюсть, — идем далее… Вечером, когда ребенок был унесен к подсудимому Герчику, вас не было дома, вы были в лечебнице… Я правильно излагаю?

— Я была в лечебнице.

— В какой лечебнице вас пользовали?

— На Нежинской улице, у доктора Дризо…

— Пользовали у доктора Дризо…

— Да.

— Вы хорошо это помните?..

— Как могу я не помнить…

— Имею представить суду справку, — безжизненное лицо Линингга приподнялось над столом, — из этой справки суд усмотрит, что в период времени, о котором идет речь, доктор

Дризо отсутствовал и находился на конгрессе педиаторов в Харькове…

Прокурор не возражал против приобщения справки.

— Идем далее, — треща зубами, сказал Линин г.

Свидетельница всем телом налегла на барьер. Шепот ее был едва слышен.

— Может быть, это не был доктор Дризо, — сказала она, лежа на барьере, — я не могу всего запомнить, я измучена…

Линин г чесал карандашом в желтой бороде, он терся сутулой спиной о скамью и двигал вставными зубами.

На просьбу предъявить бюллетень из страхкассы Белоцерковская ответила, что она потеряла его…

— Идем далее, — сказал старик.

Полина провела ладонью по лбу. Муж ее сидел на краю скамьи, отдельно от других свидетелей. Он сидел выпрямившись, подобрав под себя длинные ноги в кавалерийских ботфортах… Солнце падало на его лицо, набитое переклади нами мелких и злых костей.

— Я найду бюллетень, — прошептала Полина, и руки ее соскользнули с барьера.

Детский плач раздался в это мгновенье. За две-

рью плакал и кряхтел ребенок.

— О чем ты думаешь, Поля, — густым голосом прокричала старуха, — ребенок с утра не кормленный, ребенок захлял[6] от крика…

Красноармейцы, вздрогнув, подобрали винтовки. Полина скользила все ниже, голова ее закинулась и легла на пол. Руки взлетели, задвигались в воздухе и обрушились.

— Перерыв, — закричал председатель.

Грохот взорвался в зале. Блестя зелеными впадинами, Белоцерковский журавлиными шагами подошел к жене.

— Ребенка покормить, — приставив руки рупором, крикнули из задних рядов.

— Покормят, — ответил издалека женский голос, — тебя дожидались…

— Припутана дочка, — сказал рабочий, сидевший рядом со мной, — дочка в доле…

— Семья, брат, — произнес его сосед, — ночное дело, темное… Ночью запутают, днем не распутаешь…

Солнце косыми лучами рассекало зал. Толпа туго ворочалась, дышала огнем и потом. Работая локтями, я пробрался в коридор. Дверь из красно-

---

[6] notes: 1.288

Захлянуть *(укр.)* — Ослабеть от голода или недуга, обессилеть. *(Примечание компилятора)*

го уголка была приоткрыта. Оттуда доносилось кряхтенье и чавканье Карл-Янкеля. В красном уголке висел портрет Ленина, тот, где он говорит с броневика на площади Финляндского вокзала; портрет окружали цветные диаграммы выработки фабрики имени Петровского. Вдоль стены стояли знамена и ружья в деревянных станках. Работница с лицом киргизки, наклонив голову, кормила Карл-Янкеля. Это был пухлый человек пяти месяцев от роду в вязаных носках и с белым хохлом на голове. Присосавшись к киргизке, он урчал и стиснутым кулачком колотил свою кормилицу по груди.

— Галас[7] какой подняли… — сказала киргизка, — найдется кому покормить…

В комнате вертелась еще девчонка лет семнадцати, в красном платочке и с щеками, торчавшими как шишки. Она вытирала досуху клеенку Карл-Янкеля.

— Он военный будет, — сказала девочка, — ишь дерется…

Киргизка, легонько потягивая, вынула сосок изо рта Карл-Янкеля. Он заворчал и в отчаянии запрокинул голову — с белым хохолком… Женщи-

---

[7] notes: 1.289
Галас *(укр.)* — шум; гам; галдёж. *(Примечание компилятора)*

на высвободила другую грудь и дала ее мальчику. Он посмотрел на сосок мутными глазенками, что-то сверкнуло в них. Киргизка смотрела на Карл-Янкеля сверху, скосив черный глаз.

— Зачем военный, — сказала она, поправляя мальчику чепец, — он авиатор у нас будет, он под небом летать будет…

В зале возобновилось заседание.

Бой шел теперь между прокурором и экспертами, давшими уклончивое заключение. Общественный обвинитель, приподнявшись, стучал кулаком по пюпитру. Мне видны были и первые ряды публики — галицийские цадики, положившие на колени бобровые свои шапки. Они приехали на процесс, где, по словам варшавских газет, собирались судить еврейскую религию. Лица раввинов, сидевших в первом ряду, повисли в бурном пыльном сиянии солнца.

— Долой, — крикнул комсомолец, пробравшись к самой сцене.

Бой разгорался жарче.

Карл-Янкель, бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизки.



Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью, Пушкинская тянулась к вокзалу, Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.

Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня.

— Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель… Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня…

В подвале*

Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью — под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего — бегство с уроков в порт, начало биллиардной игры в кофейнях на Греческой улице, плаванье на Ланжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком?..

Однажды в руках первого нашего ученика, Марка Боргмана, я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружившим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотание, — то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме,

---

*** comments: ***

В подвале

Впервые: Новый мир, 1931, № 10, подзаголовок: Из книги «История моей голубятни».

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М. 1936.

Авторская датировка: 1929 г.

о сумраке гетто, о философах — гранильщиках алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начала. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион[1] вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я припутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс[2] стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца.

Мои однокашники, разинув рты, слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял меня под руку, мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени — мы сговорились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги.

---

[1] notes: 1.290

Синедрион — см. прим. к новелле «Карл-Янкель».

[2] notes: 1.291

Рубенс Питер Пауль (1577–1640) — фламандский живописец, умерший раньше философа Бенедикта Спинозы (1632–1677) и поэтому никак не могущий снимать с его лица маску.

Эту книгу он искал с жадностью. Двенадцатилетними несмышленышами мы знали уже, что ему предстоит ученая, необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особенности перевирать все вещи в мире, такие вещи, проще которых и выдумать нельзя было.

В тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я так был странен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решились выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором Русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех, кто делал из Одессы Марсель или Неаполь. В нем жила закваска старого одесского негоцианта. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски; он объяснялся на грубоватом обрывистом языке ливерпульских капитанов. Когда в апреле к нам приехала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. Одутловатый банкир, последний из одесских негоциантов — завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной. Она увозила

с собой воспоминания, не отягчавшие совести, и колье, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого.

Старик состоял аргентинским консулом и председателем биржевого комитета. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка — по имени Бобка разгласила об этом по всему двору. Она приодела меня, как могла. Я поехал на паровичке к 16-й станции Большого фонтана. Дача стояла на невысоком красном обрыве у самого берега. На обрыве был разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи.

Я происходил из нищей и бестолковой семьи. Обстановка боргмановской дачи поразила меня. В аллеях, укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада.

Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого края обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Manchester guardian». Гости, одесские дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из слоновой кости.

Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы с надушенным бельем и большими боками — женщины хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщин. Искры заката входили в бриллианты — бриллианты, навешанные всюду: в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах.

Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь. Море чернее накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером. Есть слух о том, что отца назначат представителем Русского для внешней торговли банка в Лондон, — Марк сможет получить образование в Англии.

В нашем доме, доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Марку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Лейви-Ицхок и мой дядька объездили

весь свет и испытали тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило меня, я провел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну — в Александрию, в Египет…

Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на погнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинаций, он пообещал прийти ко мне в следующее воскресенье. Запасшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой, к Бобке.

Всю неделю после моего визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. Назавтра должен был прийти в гости маленький Боргман. Ничего из того, что я рассказал ему, — не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал, но двенадцати лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Лейви-Ицхок, раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Браницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек сумасшедший.

Дядьку Симон-Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон-Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями-барышниками пить чай в трактир «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем, можно было рассчитывать, что Симон-Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, у нас соблазняли генеральских дочерей и, не довезши до границы, бросали, у нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма.

Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон-Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные три рубля. Прожить три рубля — это нескоро

делается, Симон-Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь, но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон-Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать.

В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее, добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тиснеными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на Судный день[3] и на Рош-Гашоно[4]. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбатому полу коридора. В сенях стояла кадка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа; когда будильник отсчитывал

---

[3] notes: 1.292

Судный день — Йом-Киппу́р (*ивр.* [illegible]; «День искупления»; «день Всепрощения») — в иудаизме самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов. *(Примечание компилятора)*

[4] notes: 1.293

Рош-Гашоно — Новый год по еврейскому календарю, один из главных еврейских праздников, приходящийся на сентябрь — октябрь.

половинку или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Лейви-Ицхока; он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, на желтых квадратных листках, громадных, как географические карты. Рукопись называлась «Человек без головы». В ней описывались все соседи Лейви-Ицхока за семьдесят лет его жизни — сначала в Сквире и Белой Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварихи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию, — вот герои Лейви-Ицхока. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами.

Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой, доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала: «Очень приятно», — протянула вспотевшие, неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло хорошо, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда. Я выволакивал его сокровища одно за другим: грамматики на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда. Марка ослепил бочонок

с ваксой, мудреный будильник и гора Талмуда, все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме.

Мы выпили по два стакана чаю со штруделем, — Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришел в радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу:

О римляне, сограждане, друзья,[5]
Меня своим вниманьем удостойте.
Не восхвалять я Цезаря пришел,
Но лишь ему последний долг отдать.

Так начинает игру Антоний. Я задохся и прижал руки к груди.

Мне Цезарь другом был, и верным другом,
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек…
Он пленных приводил толпами в Рим,

---

[5] notes: 1.294

О римляне, сограждане, друзья. — Здесь и далее цитаты из трагедии У. Шекспира «Юлий Цезарь» (1599) в переводе И. Козлова.

Их выкупом казну обогащая.
Не это ли считать за властолюбье?
При виде нищеты он слезы лил,
Так мягко властолюбье не бывает.
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек…
Вы видели во время Луперкалий,
Я трижды подносил ему венец,
И трижды от него он отказался.
Ужель и это властолюбье?..
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек…

Перед моими глазами — в дыму вселенной — висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку, глаза Боргмана покорно двинулись за ней, — сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку… и увидел в окне дядьку Симон-Вольфа, шедшего по двору в сопровождении маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей, Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками.

— Серденько мое, он опять купил мебель…

Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридоре раздался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон-Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были навеселе.

— Бобка, — закричал Симон-Вольф, — попробуй угадать, сколько я отдал за эти рога?!

Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон-Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной, бессмысленной мебелью.

Бобка молчала. Лейках пропищал что-то Симон-Вольфу. Чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония:

Еще вчера повелевал вселенной
Могучий Цезарь; он теперь во прахе,
И всякий нищий им пренебрегает.
Когда б хотел я возбудить к восстанью,
К отмщению сердца и души ваши,
Я повредил бы Кассию и Бруту,

Но ведь они почтеннейшие люди…

На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она, верно, сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симон-Вольфа законопачивал все щели вселенной.

— Вы тянете из меня клей, — громовым голосом кричал мой дядька, — вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты… Работа отбила у меня душу. У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног… Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее…

Проклиная меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут, что дети наши еще во чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем поспевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащат в братскую могилу.

Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон-Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах, я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое

отчаяние и свершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно. Я был мертв, и я кричал. Хрипение поднималось со дна моего существа.

Коль слезы есть у вас, обильным током
Они теперь из ваших глаз польются.
Всем этот плащ знаком. Я помню даже,
Где в первый раз его накинул Цезарь:
То было летним вечером, в палатке,
Где находился он, разбив неврийцев.
Сюда проник нож Кассия; вот рана
Завистливого Каски; здесь в него
Вонзил кинжал его любимец Брут.
Как хлынула потоком алым кровь,
Когда кинжал из раны он извлек…

Ничто не в силах было заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейках двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел прийти мне на помощь. Он вырвался от Апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того, верно, чтобы посторонним

людям не слышна была брань Симон-Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела клочьями и колебалась в окне. Марк бежал.

— Это ничего, — пробормотал он, вырываясь на волю, — это, право, ничего…

Во дворе мелькнули его мундирчик и картуз с поднятыми краями.

С уходом Марка улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист (он описывал Апельхотов, у которых по моей милости провел весь день), улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатанной рубахе. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла кадка с водой. Я опустился в нее. Вода разрезала меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху, с полки, сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус

рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова не хватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел.

— Мой внук, — он выговорил эти слова презрительно и внятно, — я иду принять касторку, чтобы мне было что принесть на твою могилу…

Я закричал, не помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал, — и мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз.

Я очнулся на постели, закутанный в одеяла. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди.

— Как он дрожит, наш дурачок, — сказала Бобка, — и где дитя находит силы так дрожать…

Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон-Вольф. Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался.

1930

Пробуждение*

Все люди нашего круга — маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах — учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда — в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец.[1]

Когда мальчику исполнялось четыре или пять лет — мать вела крохотное, хилое это существо к господину Загурскому[2]. Загурский содержал

*** comments: ***

Пробуждение

Впервые: Молодая гвардия, 1931, № 17–18, подзаголовок: Из книги «История моей голубятни».

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Авторская датировка: 1930 г.

[1] notes: 1.295

Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец. — **Эльман** Михаил, **Цимбалист** Ефрем (1889–1985), **Габрилович** Осип Соломонович (1878-?), **Хейфец** Иосиф Робертович (1901–1987), известные американские музыканты, преимущественно скрипачи, евреи, уроженцы Одессы, ученики Л. Ауэра.

[2] notes: 1.296

Загурский — прототипом этого персонажа был одесский учитель музыки Петр Соломонович Столярский (1871–1944).

фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах Старого базара. Загурский давал первое направление, потом дети отправлялись к профессору Ауэру[3] в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. И вот — отец мой решил угнаться за ними. Хоть я и вышел из возраста вундеркиндов — мне шел четырнадцатый год, но по росту и хилости меня можно было сбыть за восьмилетнего. На это была вся надежда.

Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок — дешевая плата. Дед мой Лейви-Ицхок был посмешище города и украшение его. Он расхаживал по улицам в цилиндре и в опорках и разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера[4], как готовится искусственный шелк, что такое

---

[3] notes: 1.297

Ауэр Леонид Семенович (1845–1930) — скрипач, дирижер, профессор Петербургской консерватории, с 1918 года жил в США.

[4] notes: 1.298

Робеспьер Максимильен (1758–1794) — французский революционер, один из вождей якобинцев, казнен термидорианцами во время переворота.

кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мною, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не отставал. Дома только и было разговора о Мише Эльмане, самим царем освобожденном от военной службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингэмском дворце; родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему.

— Не может быть, — нашептывали люди, обедавшие за его счет, — не может быть, чтобы внук такого деда…

У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пюпитре книги Тургенева или Дюма, — и, пиликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Лейви-Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал

повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него.

Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую Дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингэмском дворце.

Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель с бантом, в рыжих кудрях, с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи — он населял Молдаванку и черные тупики Старого рынка призраками пиччикато[5] и кантилены[6]. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр.

---

[5] notes: 1.299

Пиччикато (пиццикато) — прием извлечения звука щипком пальцами на струнном музыкальном инструменте.

[6] notes: 1.300

Кантилена — певучая протяжная мелодия.

В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал другое внушение.

Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и двенадцатью рублями денег — платой за месяц ученья. Я шел по Нежинской улице, мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому, вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне три часа пролетели в Практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С однокашником моим Немановым мы повадились на пароход «Кенсингтон» к старому одному матросу по имени мистер Троттибэрн. Неманов был на год моложе меня, он с восьми лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнил все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors Co, компании столь же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Троттибэрна трубки, провозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого

матроса.

— Джентльмены, — говорил нам мистер Троттибэрн, — помяните мое слово, детей надо делать собственноручно… Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клистир… Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини[7]?.. Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими… Мы не можем не согласиться с ним, джентльмены…

Неманов продавал трубки Троттибэрна директорам банка, иностранным консулам, богатым грекам. Он наживал на них сто на сто.

Трубки линкольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была уложена мысль, капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок, футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Троттибэрн, последний мастер трубок, противящийся ходу вещей.

— Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать собственноручно…

Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все

---

[7] notes: 1.301

Челини Бенвенуто (1500–1571) — итальянский скульптор, ювелир, писатель.

больше от нашего дома, пропахшего луком и еврейской судьбой. С Практической гавани я перекочевал за волнорез. Там на клочке песчаной отмели обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами и эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы.

Мечтой моей сделалось уменье плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до десяти лет не видел моря, а в четырнадцать не умел плавать.

Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам! В детстве, пригвожденный к Гемаре[8], я вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям.

Уменье плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков испанских раввинов и франкфуртских менял — тянула меня ко дну. Вода

---

[8] notes: 1.302

Гемара́ (*арам.* ‏גמרא‏ — «изучение; воспринятое от учителя» или от *ивр.* ‏גמר‏ — «завершение; совершенство») — свод дискуссий и анализов текста Мишны (Мишна́ (*ивр.* ‏משנה‏ — букв. «повторение») — древнееврейский религиозно-юридический сборник; древнейший после Библии сборник законов; первый письменный текст, содержащий в себе основополагающие религиозные предписания ортодоксального иудаизма. Один из разделов талмуда. *(Прим. комп.)*

меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег — к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест — корректор «Одесских новостей» Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от историй Никитича помирали со смеху, они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящерицы.

За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться, — он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами — его веселое сердце, никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось… С

медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми, чуть кривыми ногами, — он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных, керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать.

Он сказал мне:

— Ты не суетись… Ты укрепи свои нервы. Плаванье придет само собой… Как это так — вода тебя не держит… С чего бы ей не держать тебя?

Видя, как я тянусь, — Никитич для меня одного из всех своих учеников сделал исключение, позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках, показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию.

— Я так и знал, что ты пописываешь, — сказал Никитич, — у тебя и взгляд такой… Ты все больше никуда не смотришь…

Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку.

— Надо думать, — произнес он врастяжку, замолкая после каждого слова, — что в тебе есть

искра божия…

Мы вышли на улицу. Старик остановился, с силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня.

— Чего тебе не хватает?.. Молодость не беда, с годами пройдет… Тебе не хватает чувства природы.

Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной.

— Это что за дерево?

Я не знал.

— Что растет на этом кусте?

Я и этого не знал. Мы шли с ним скверик Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья, он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица, и заставлял слушать отдельные голоса.

— Какая это птица поет?

Я ничего не мог ответить. Названия деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса — все это было мне неизвестно.

— И ты осмеливаешься писать?.. Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк… Твои пейзажи похожи на

описание декораций. Черт меня побери, — о чем думали четырнадцать лет твои родители?..

О чем они думали?.. О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана… Я не сказал об этом Никитичу, я смолчал.

Дома — за обедом — я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло.

«Чувство природы, — думал я. — Бог мой, почему это не пришло мне в голову… Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев?.. Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень, и то когда она цветет. Сирень и акацию, Дерибасовская и Греческая улицы обсажены акациями…»

За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфеце. Не доходя до Робина, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает восемьсот рублей за выход. Посчитайте — сколько это выходит при пятнадцати концертах в месяц.

Я сосчитал — получилось двенадцать тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке, с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загур-

ский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза…

Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу — его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Бобка терлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни.

— Я офицер, — сказал мой отец, — у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне…

Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной, отец бился об нее всем телом, он налетал с разбегу.

— Я офицер, — вопил он, — я езжу на охоту… Я убью его… Конец…

Крючок соскочил с двери, там была еще задвижка, она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу, они хватали отца за ноги; обезумев, он вырывался. На шум подоспела старуха — мать отца.

— Дитя мое, — сказала она ему по-еврейски, — наше горе велико. Оно не имеет краев. Только крови недоставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме…

Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде.

В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была дальняя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия… Невидимая птица издала свист и угасла, может быть, заснула… Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам?.. Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце?..

Мы шли по Почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.

1930

Конец богадельни*

В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. Купец суконным товаром Кофман когда-то воздвиг в память жены своей Изабеллы богадельню рядом с кладбищенской стеной. Над этим соседством много потешались в кафе Фанкони[1]. Но прав оказался Кофман. После революции призреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, канторов, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом и серебряными кистями и давали его напрокат бедным людям.

Тес в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде; в могилу

*** comments: ***

Конец богадельни

Впервые: 30 дней, 1932, № 1, подзаголовок: Из одесских рассказов.
Бабель И. Рассказы. М., 1932.
Авторская датировка: 1920–1929.

[1] notes: 1.303

Кафе Фанкони — кафе, открытое в 1872 г. в Одессе уроженцем итальянского кантона Швейцарии Яковом Доминиковичем Фанкони и ставшее излюбленным местом деловых встреч и отдыха одесситов. Упоминается также в «Закате» и «Бене Крике».

же его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон.

Мудрецы учили, что не следует мешать червям соединиться с падалью, она нечиста. «Из земли ты произошел и в землю обратишься».

Оттого, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, который никому в те годы не снился. По вечерам они пьянствовали в погребке Залмана Криворучки и подавали соседям объедки.



Благополучие их не нарушалось до тех пор, пока не случилось восстание в немецких колониях. Немцы убили в бою коменданта гарнизона, Герша Лугового.

Его хоронили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пулеметами на тачанках. У раскрытой могилы были произнесены речи и даны клятвы.

— Товарищ Герш, — кричал, напрягаясь, Ленька Бройтман, начальник дивизии, — вступил в РСДРП большевиков в 1911 году, где проводил работу пропагандиста и агента связи. Репрессиям товарищ Герш начал подвергаться вместе с Соней Яновской, Иваном Соколовым и Моносзоном в 1913 году в городе Николаеве…

Арье-Лейб, староста богадельни, держался со своими товарищами наготове. Ленька не успел кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Ленька незаметно толкнул Арье-Лейба шпорой.

— Отскочь, — сказал он, — отскочь отсюда… Герш заслужил у Республики…

На глазах оцепеневших стариков Луговой был зарыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были

вытканы щиты Давида[2] и стих из древнееврейской заупокойной молитвы.

— Мы мертвые люди, — сказал Арье-Лейб своим товарищам после похорон, — мы у фараона в руках…

И он бросился к заведующему кладбищем Бройдину с просьбой о выдаче досок для нового гроба и сукна для покрывала. Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В его планы не входило обогащение стариков. Он сказал в конторе:

— Мне больше сердце болит за безработных коммунальников, чем за этих спекулянтов…

Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В погребке Залмана Криворучки на его голову и на головы членов союза коммунальников сыпались талмудические проклятия. Старики закляли мозг в костях Бройдина и членов союза, свежее семя в утробе их жен и пожелали каждому из них особый вид паралича и язвы.

Доход их уменьшился. Паек состоял теперь из синей похлебки с рыбьими костями. На второе подавалась ячневая каша, ничем не подмасленная.

Старик из Одессы может есть всякую похлебку, из чего бы она ни была сварена, если только в нее

---

[2] notes: 1.304

Давид — библейский персонаж, иудейский царь, победитель великана Голиафа.

положены лавровый лист, чеснок и перец. Тут ничего этого не было.

Богадельня имени Изабеллы Кофман разделила общую участь. Ярость изголодавшихся стариков возрастала. Она обрушилась на голову человека, который меньше всего ждал этого. Этим человеком оказалась докторша Юдифь Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу.

Губисполком издал распоряжение об обязательном оспопрививании. Юдифь Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку. Перед окнами стояли изумрудные стены кладбищенских кустов. Голубой язычок пламени мешался с июньскими молниями.

Ближе всего к Юдифи стоял Меер Бесконечный, тощий старик. Он угрюмо следил за ее приготовлениями.

— Разрешите вас уколоть, — сказала Юдифь и взмахнула пинцетом. Она стала вытягивать из тряпья голубую плеть его руки.

Старик отдернул руку:

— Меня не во что колоть…

— Больно не будет, — вскричала Юдифь, — в мякоть не больно…

— У меня нет мякоти, — сказал Меер Бесконечный, — меня не во что колоть…

Из угла комнаты ему ответили глухим рыданием. Это рыдала Доба-Лея, бывшая повариха на обрезаниях. Меер искривил истлевшие щеки.

— Жизнь — смитьё[3], — пробормотал он, — свет — бордель, люди аферисты…

Пенсне на носике Юдифи закачалось, грудь ее вышла из накрахмаленного халата. Она открыла рот для того, чтобы объяснить пользу оспопрививания, но ее остановил Арье-Лейб, староста богадельни.

— Барышня, — сказал он, — нас родила мама так же, как и вас. Эта женщина, наша мама, родила нас для того, чтобы мы жили, а не мучались. Она хотела, чтобы мы жили хорошо, и она была права, как может быть права мать. Человек, которому хватает того, что Бройдин ему отпускает, — этот человек недостоин материала, который пошел на него. Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы прививать оспу, и вы, с божьей помощью, прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели.

Доба-Лея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она

---

[3] notes: 1.305
Смитье, сметьё *(жарг.)* — дерьмо, мусор.

зарыдала басом.

— Жизнь, — смитьё, — повторил Меер Бесконечный, — люди — аферисты…

Парализованный Симон-Вольф схватился за руль своей тележки и, визжа и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой, раздутой его головы.

Вслед за Симоном-Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все тридцать стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы.

Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями трав и остановились в изумлении.

На шум вышел бородатый Бройдин, в крагах и кепи велосипедиста и в кургузом пиджачке.

— Аферист, — закричал ему Симон-Вольф, — нас не во что колоть… У нас на руках нет мяса…

Доба-Лея оскалилась и зарычала. Тележкой парализованного она стала наезжать на Бройдина. Арье-Лейб начал, как всегда, с иносказаний, с притч, крадущихся издалека и к цели, не всем видимой.

Он начал с притчи о рабби Осии, отдавшем свое имущество детям, сердце жене, страх — богу, по-

дать — цезарю и оставившему себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше всего. От рабби Осии Арье-Лейб перешел к доскам для нового гроба и к пайку.

Бройдин расставил ноги в крагах и слушал, не поднимая глаз. Коричневое заграждение его бороды лежало неподвижно на новом френче; он, казалось, отдается печальным и мирным мыслям.

— Ты простишь меня, Арье-Лейб, — Бройдин вздохнул, обращаясь к кладбищенскому мудрецу, — ты простишь меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задней мысли и политического элемента… За твоей спиной я не могу не видеть, Арье-Лейб, тех, кто знает, что они делают, точно так же, как и ты знаешь, что ты делаешь…

Тут Бройдин поднял глаза. Они мгновенно залились белой водой бешенства. Трясущиеся холмы его зрачков уперлись в стариков.

— Арье-Лейб, — сказал Бройдин сильным своим голосом, — прочитай телеграммы из Татреспублики, где крупные количества татар голодают, как безумные… Прочитай воззвание питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая, у своих станков…

— Мне некогда ждать, — прервал заведующего

Арье-Лейб, — у меня нет времени…

— Есть люди, — ничего не слыша, гремел Бройдин, — которые живут хуже тебя, и есть тысячи людей, которые живут хуже тех, кто живет хуже тебя… Ты сеешь неприятности, Арье-Лейб, ты получишь завирюху. Вы будете мертвыми людьми, если я отвернусь от вас. Вы умрете, если я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Арье-Лейб. Ты умрешь, Симон-Вольф. Ты умрешь, Меер Бесконечный. Но перед тем, как вам умереть, скажите мне, — я интересуюсь это знать, — есть у нас советская власть или, может быть, ее нет у нас? Если ее нет у нас и я ошибся, — тогда отведите меня к господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни… Скажи мне, что я ошибся, Арье-Лейб…

И заведующий кладбищем вплотную подошел к калекам. Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. Краги Бройдина трещали, пот кипел на изрытом лице, он все ближе подступал к Арье-Лейбу и требовал ответа — не ошибся ли он, считая, что советская власть уже наступила…

Арье-Лейб молчал. Молчание это могло бы

стать его гибелью, если бы в конце аллеи не показался босой Федька Степун в матросской рубахе.

Федьку контузили когда-то под Ростовом, он жил на излечении в хибарке рядом с кладбищем, носил на оранжевом полицейском шнуре свисток и наган без кобуры.

Федька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. Под завитками кривилось судорогой скуластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенной увядшими венками.

— Где ты был, Луговой, — сказал Федька покойнику, — когда я Ростов брал?..

Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Вороненое дуло револьвера осветилось.

— Подавили царей, — закричал Федька, — нету царей… Всем без гробов лежать…

Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена. На ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и дракон, голова которого загибалась к соску.

Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Федьки. Женщины, обмывавшие покойников, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добой-Леей. Во-

ющие волны бились о запертые кладбищенские ворота.

Родственники, привезшие покойников на тачках, требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки.

— Подавили царей. — Матрос выстрелил в небо.

Люди прыжками понеслись по аллее. Бройдин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку, согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозваные канторы пронзительными фальцетами запели «Эл молей рахим»[4] над разрытыми могилами. Вечером они отпраздновали свою победу у Криворучки. Федьке поднесли три кварты бессарабского вина.

— «Гэвэл гаволим»[5], — чокаясь с матросом, сказал Арье-Лейб, — ты душа-человек, с тобой можно жить… «Кулой гэвэл»…[6]

---

[4] notes: 1.306
Заупокойная еврейская молитва.

[5] notes: 1.307
суета сует *(евр.)*

[6] notes: 1.308
и всяческая суета… *(евр.)*

Хозяйка, жена Криворучки, перемывала за стенкой стаканы.

— Если у русского человека попадается хороший характер, — заметила мадам Криворучка, — так это действительно роскошь…

Федьку вывели во втором часу ночи.

— Гэвэл гаволим, — бормотал он губительные непонятные слова, пробираясь по Степовой улице, — кулой гэвэл…

На следующий день старикам в богадельне выдали по четыре куска пиленого сахару и мясо к борщу. Вечером их повезли в Городской театр на спектакль, устроенный Соцобесом. Шла «Кармен»[7]. Впервые в жизни инвалидцы и уродцы увидели золоченые ярусы одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем роздали бутерброды с ливерной колбасой.

На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой путь по замерзшим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами. Они отрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки.

---

[7] notes: 1.309

«Кармен» (1874) — опера французского композитора Жоржа Бизе (1838–1875) по одноименной новелле Проспера Мериме (1845).

Утром Арье-Лейб встал раньше других. Он обратился к востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление. В бумажке этой Бройдин извещал, что богадельня закрывается для ремонта и все призреваемые имеют сего числа явиться в Губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку.

Солнце всплыло над верхушками зеленой кладбищенской рощи. Арье-Лейб поднес пальцы к глазам. Из потухших впадин выдавилась слеза.

Каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой. Каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах. Незнакомая женщина в шали, туго подхватывавшей грудь, хозяйничала в мертвецкой. Там все было переделано наново — стены украшены елками, столы выскоблены. Женщина обмывала младенца. Она ловко ворочала его с боку на бок: вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся, пятнистой спинке.

Бройдин в крагах сидел на ступеньках мертвецкой. У него был вид отдыхающего человека. Он снял свое кепи и вытирал лоб желтым платком.

— В союзе я так и сказала товарищу Андрейчику, — голос незнакомой женщины был певуч, — мы работы не бежим… О нас пусть спросят

в Екатеринославе… Екатеринослав знает нашу работу…

— Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь, — мирно сказал Бройдин, пряча в карман желтый платок, — со мной можно ладить… Со мной можно ладить, — повторил он и обратил сверкающие глаза к Арье-Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу, — не надо только плевать мне в кашу…

Бройдин не окончил своей речи: у ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадью. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бройдин подхватил его и повел к кладбищу.

Старый портняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоящуюся под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негоциантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей. Они лежали тут — лицом к воротам — Ашкенази, Гессены и Эфрусси, — лощеные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из Лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акаций от

плебса, жавшегося к стенам.

— Они не давали жить при жизни, — Бройдин стучал по памятнику сапогом, — они не давали умереть после смерти…

Воодушевившись, он рассказал заведующему комхозом свою программу переустройства кладбища и план кампании против погребального братства.

— И вот этих убрать, — заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот.

— Делается, — ответил Бройдин, — понемножку все делается…

— Ну, двигай, — сказал заведующий Майоров, — у тебя, отец, порядочек… Двигай…

Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке.

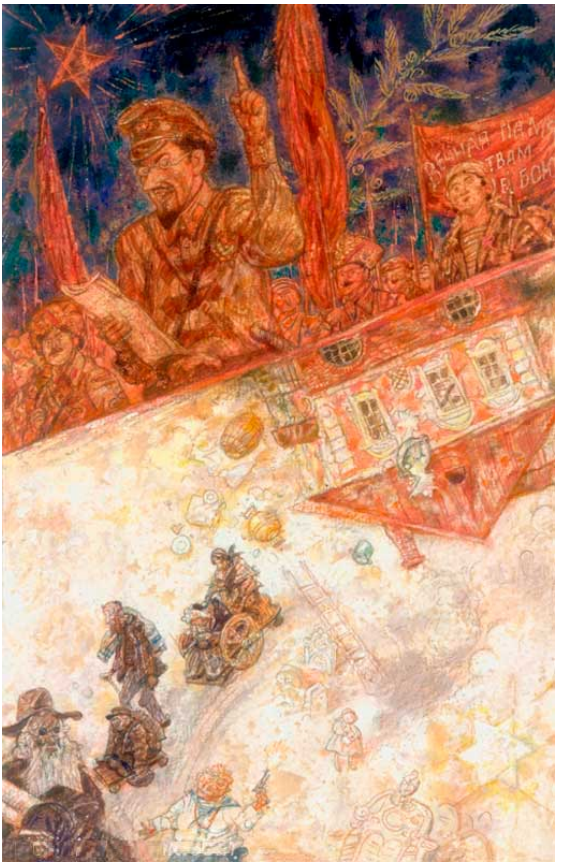
— Это что за петрушка была?..

— Контуженый парень, — опустив глаза, сказал Бройдин, — и бывает невыдержанный… Но теперь ему объяснили, и он извиняется…

— Варит котелок, — сказал Майоров своему спутнику, отъезжая, — ворочает как надо…

Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись

под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.



Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.

1920–1929 гг.

Ди Грассо*

Мне было четырнадцать лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импресарио не выписал на гастроли Ансельми[1] и Тито Руффо[2] и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина[3], но Шаляпин запросил три тысячи за выход. Вместо него приехал сицилиан-

---

*** comments: ***

Ди Грассо

Впервые: Огонек, 1937, № 23.

[1] notes: 1.310

Анселми Джузеппе (1876–1929) — итальянский оперный певец и композитор.

[2] notes: 1.311

Руффо Тито (1877–1953) — итальянский оперный певец.

[3] notes: 1.312

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) — знаменитый русский певец.

ский трагик ди Грассо[4] с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал:

— Дети, это не товар…

Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером — с другой кошелкой — он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли пятьдесят человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось.

Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка невпопад хихикала и невпопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развевающихся штанах и, возвращаясь, озирался.

— Мертвое дело, — сказал в антракте Коля

---

[4] notes: 1.313

Грассо Джованни (1873–1930) — итальянский актер, которого называют стихийным, «первобытным трагиком», гениальным исполнителем кровавых мелодрам; гастролировал в Одессе; в записной книжке Бабеля сохранилась отметка о посещении спектакля «Семья преступника» 6 декабря 1909 года.

Шварц, — это товар для Кременчуга…

Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии — она была нетерпима, рассеянна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нищей и раскрашенной статуе святой девы и на сицилианском своем наречии сказал:

— Синьора, — сказал он низким своим голосом и отвернулся, — святая дева хочет, чтобы вы выслушали меня… Джованни, приехавшему из города, святая дева даст столько женщин, сколько он захочет; мне же никто не нужен, кроме вас, синьора… Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, синьора…

Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле — о, горе нам! — нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновенья, когда решается ее судьба… Она остается одна в эти мгновения, одна, без девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее…

В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на

авансцене сильные мужские ноги; под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча, среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух — играл его ди Грассо — стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес, — грозно, бесшумно сдвигаясь, — скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в Театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех несся Коля Шварц. На рассвете «Одесские новости» сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актера столетия.

Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас «Ко-

роля Лира», «Отелло»[5], «Гражданскую смерть», тургеневского «Нахлебника»[6], каждым словом и движением своим утверждая, что в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира.

На эти спектакли билеты шли в пять раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире — горланящих, багровых, извергающих безвредное кощунство.

Струя пыльного розового зноя была впущена в Театральный переулок. Лавочники в войлочных шлепанцах вынесли на улицу зеленые бутыли вина и бочонки с маслинами. В чанах, перед лавками, кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в далеких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными, расчесанными бородами подъезжали к Северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками — актрис из труппы ди Грассо. Все были счастливы в Театральном переулке, кроме одного человека, и этот человек

---

[5] notes: 1.314
«Король Лир» (1606), **«Отелло»** (1604) — трагедии У. Шекспира.

[6] notes: 1.315
«Нахлебник» (1848) — драма И. С. Тургенева.

был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть к золотым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода «Duke of Kent»[7], но перед тем как выйти в море, я решил проститься с ди Грассо. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в никому невидимую точку, и длиннорукий Уточкин. И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком

---

[7] notes: 1.316
«Граф Кентский» *(англ.)*

на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес.

— Босяк, — выходя из театра, сказала она Коле, — теперь ты видишь, что такое любовь…

Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице; из рыбьих глаз ее текли слезы, на толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно, на всю улицу, высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями.

— Циленька — называют эти мужья своих жен — золотко, деточка…

Присмиревший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновенье, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась.

— Босяк, — вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу, — пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы…

Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы.

— Что я имею от него, — безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц, — сегодня животные штуки, завтра жи-

вотные штуки… Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?..

Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, — затихшим и невыразимо прекрасным.

Фроим Грач*

В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского Совета три дня «мирного восстания», но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на Общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, вла-

---

*** comments: ***

Фроим Грач

Впервые: Воздушные пути. Кн. 3. Нью-Йорк, 1963.

Машинопись: ЦГАЛИ, ф. 622, оп. 1, ед. хр. 26.

Рассказ датируется 1933 г.

Вместе с рассказами «Нефть», «Улица Данте» и «Мой первый гонорар» «Фроим Грач» был рекомендован Горьким в альманах «Год XVI», но отвергнут редколегией. Сохранилась резолюция А. Фадеева: «Рассказы, по-моему, неудачны, и лучше будет для самого Бабеля, если мы их не напечатаем» (см.: Ковский В. Судьба текстов в контексте судьбы // Вопросы литературы. 1995. Вып. 1. С. 34).

делец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской — установлено не было. На квартире Пескина стоял станок — длинная машина с покоробленным свинцовым валом; на полу валялись опилки и картон для переплетов.

Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую.

— Арон, — сказал гость Пескину, — на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию… Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы…

Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера; в сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь.

— Приветствую, — сказал Миша, снимая шляпу, — мы бесподобно провели время. Воздух — это что-то небывалое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем… Он имеет надоедливый характер.

— Вы нашли кому рассказывать, — произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее

во все стороны. — Где он, этот авантюрист?

— Он отдыхает в палисаднике.

Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол, и скалил зубы.

— Авантюрист, — сказала ему мадам Пескина, — ты еще смеешься… У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову… Пойди, имей беседу с твоей дочерью…

Пескин молчал и все скалил зубы.

— Бонабак, — начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала.

Соседи сбежались на ее крик.

— Он не живой, — сказала им мадам Пескина. — Он мертвый.

Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Не кто другой, как доктор Зильберберг, сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось — он умер под ножом. В ту же ночь Чека арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу

моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло прежде, чем на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот охватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.

— Ты — чепуха… — сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом.

К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой.

— Фроим, — произнесла старуха, — я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью… Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце… Ты молчишь, Фроим, — прибавил Миша Яблочко, — ребята ждут, что ты перестанешь молчать…

Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.

— Барышни, — сказал им Миша Яблочко, — я не угощу вас чаем с семитатью…

Он насыпал им в карман платьиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.

Фроим Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь Толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрице и вошел в здание Чека.

— Я Фроим, — сказал он коменданту, — мне

надо до хозяина.

Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроим а, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе.

— Это грандиозный парень, — ответил Боровой, — тут вся Одесса пройдет перед вами…

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.

— Хозяин, — сказал вошедший, — кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..[1]

Симен сделал движение и приоткрыл ящик стола.

— Я пусто, — сказал тогда Фроим, — в руках у меня ничего нет, и в чеботах у меня ничего нет, и за воротами на улице я никого не оставил… Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену…

---

[1] notes: 1.317
Смитьё, сметьё *(жарг. уст.)* — дерьмо, мусор.


www.lomaevart.com

Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы.

— Я покажу вам одного парня, — сказал он, — это эпопея, второго нет…

И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик, был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика — разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападения на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтоб поговорить с ним. Фроим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.

— Чисто медведь, — сказал старший, увидев Борового, — это сила непомерная… Такого старика не убить, ему б износу не было… В нем десять зарядов сидит, а он все лезет…

Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился набок.

— Мелешь больше пуду, — прервал его другой

конвоир, — помер и помер, все одинакие…

— Ан не все, — вскричал старший, — один просится, кричит, другой слова не скажет… Как это так можно, чтобы все одинакие…

— У меня они все одинакие, — упрямо повторил красноармеец помоложе, — все на одно лицо, я их не разбираю…

Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика.

Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симен делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтоб следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным Главным управлением в Москве.

Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симен подошел к нему после собрания и взял за руку.

— Ты сердишься на меня, я знаю, — сказал он, — но только мы власть, Саша, мы — государственная власть, это надо помнить…

— Я не сержусь, — ответил Боровой и отвернул-

ся, — вы не одессит, вы не можете этого знать, тут целая история с этим стариком…

Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двадцать три года, со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.

— Ответь мне как чекист, — сказал он после молчания, — ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе?

— Не знаю, — Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой, — наверное, не нужен…

Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фрейма Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое…

Закат*

Однажды Левка, младший из Криков, увидел Любкину дочь Табл. Табл по-русски значит голубка. Он увидел ее и ушел на трое суток из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Через трое суток Левка вернулся домой и застал отца своего в палисаднике. Отец его вечерял. Мадам Горобчик сидела рядом с мужем и озиралась, как убийца.

— Уходи, грубый сын, — сказал папаша Крик, завидев Левку.

— Папаша, — ответил Левка, — возьмите камертон и настройте ваши уши.

— В чем суть?

— Есть одна девушка, — сказал сын. — Она имеет блондинный волос. Ее зовут Табл. Табл по-русски значит голубка. Я положил глаз на эту девушку.

— Ты положил глаз на помойницу, — сказал

*** comments: ***

Закат

Впервые: Литературная Россия, 1964, 20 ноября. Последняя страница утеряна.

Автограф, частный архив.

Рассказ датируют 1924–1925 гг.

папаша Крик, — а мать ее бандерша.

Услышав отцовские слова, Левка засучил рукава и поднял на отца богохульственную руку. Но мадам Горобчик вскочила со своего места и встала между ними.

— Мендель, — завизжала она, — набей Левке вывеску! Он скушал у меня одиннадцать котлет…

— Ты скушал у матери одиннадцать котлет! — закричал Мендель и подступил к сыну, но тот вывернулся и побежал со двора, и Бенчик, его старший брат, увязался за ним следом. Они до ночи кружили по улицам, они задыхались, как дрожжи, на которых всходит мщение, и под конец Левка сказал брату своему Бене, которому через несколько месяцев суждено было стать Беней Королем:

— Бенчик, — сказал он, — возьмем это на себя, и люди придут целовать нам ноги. Убьем папашу, которого Молдава не называет уже Мендель Крик. Молдава называет его Мендель Погром. Убьем папашу, потому что можем ли мы ждать дальше?

— Еще не время, — ответил Бенчик, — но время идет. Слушай его шаги и дай ему дорогу. Посторонись, Левка.

И Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. Оно тронулось в путь время, древний кассир, — и повстречалось в пути с Двойрой, сестрой Короля, с Манассе, кучером, и с русской девушкой Марусей Евтушенко.

Еще десять лет тому назад я знал людей, которые хотели иметь Двойру, дочь Менделя Погрома, но теперь у Двойры болтается зоб под подбородком и глаза ее вываливаются из орбит. Никто не хочет иметь Двойру. И вот отыскался недавно пожилой вдовец с взрослыми дочерьми. Ему понадобилась полуторная площадка и пара коней. Узнав об этом, Двойра выстирала свое зеленое платье и развесила его во дворе. Она собралась идти к вдовцу, чтобы узнать, насколько он пожилой, какие кони ему нужны и может ли она его получить. Но папаша Крик не хотел вдовцов. Он взял зеленое платье, спрятал его в свой биндюг и уехал на работу. Двойра развела утюг, чтобы выгладить платье, но она не нашла его. Тогда Двойра упала на землю и получила припадок. Братья подтащили ее к водопроводному крану и облили водой. Узнаете ли вы, люди, руку отца их, прозванного Погромом?

Теперь о Манассе, старом кучере, ездящем на Фрейлине и Соломоне Мудром. На погибель свою

он узнал, что кони старого Буциса, и Фроима Грача, и Хаима Дронга подкованы резиной. Глядя на них, Манассе пошел к Пятирубелю и подбил резиной Соломона Мудрого. Манассе любил Соломона Мудрого, но папаша Крик сказал ему:

— Я не Хаим Дронг и не Николай Второй, чтобы кони мои работали на резине.

И он взял Манассе за воротник, поднял его к себе на биндюг и поехал со двора. На протянутой его руке Манассе висел, как на виселице. Закат варился в небе, густой закат, как варенье, колокола стонали на Алексеевской церкви, солнце садилось за Ближними Мельницами, и Левка, хозяйский сын, шел за биндюгом, как собака за хозяином.

Несметная толпа бежала за Криками, как будто они были карета скорой помощи, и Манассе неутомимо висел на железной руке.

— Папаша, — сказал тогда отцу Левка, — в вашей протянутой руке вы сжимаете мне сердце. Бросьте его, и пусть оно катится в пыли.

Но Мендель Крик даже не обернулся. Лошади несли вскачь, колеса гремели, и у людей был готовый цирк. Биндюг выехал на Дальницкую к кузнице Ивана Пятирубеля. Мендель потер кучера Манассе об стенку и бросил его в кузню

на груду железа. Тогда Левка побежал за ведром воды и вылил его на старого кучера Манассе. Узнаете ли вы теперь, люди, руку Менделя, отца Криков, прозванного Погромом?

— Время идет, — сказал однажды Бенчик, и брат его Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. И так стоял Левка в сторонке, пока не занеслась Маруся Евтушенко.

— Маруся занеслась, — стали шушукаться люди, и папаша Крик смеялся, слушая их.

— Маруся занеслась, — говорил он и смеялся, как дитя, — горе всему Израилю, кто эта Маруся?

В эту минуту Бенчик вышел из конюшни и положил папаше руку на плечо.

— Я любитель женщин, — сказал Бенчик строго и передал папаше двадцать пять рублей, потому что он хотел, чтобы вычистка была сделана доктором и в лечебнице, а не у Маруси на дому.

— Я отдам ей эти деньги, — сказал папаша, — и она сделает себе вычистку, иначе пусть не дожить мне до радости.

И на следующее утро, в обычный час, он выехал на Налетчике и Любезной Супруге, а в обед на двор к Крикам явилась Маруся Евтушенко.

— Бенчик, — сказала она, — я любила тебя, будь ты проклят.

И швырнула ему в лицо десять рублей. Две бумажки по пяти — это никогда, не было больше десяти.

— Убьем папашу, — сказал тогда Бенчик брату своему Льву, и они сели на лавочку у ворот, и рядом с ними сел Семен, сын дворника Анисима, человек семи лет. И вот, кто бы сказал, что такое семилетнее ничто уже умеет любить и что оно умеет ненавидеть. Кто знал, что оно любит Менделя Крика, а оно любило.

Братья сидели на лавочке и высчитывали, сколько лет может быть папаше и какой хвост тянется за шестьюдесятью его годами, и Семен, сын дворника Анисима, сидел с ними рядом.

В тот час солнце не дошло еще до Ближних Мельниц. Оно лилось в тучи, как кровь из распоротого кабана, и на улицах громыхали площадки старого Буциса, возвращавшиеся с работы. Скотницы доили уже коров в третий раз, и работницы мадам Парабелюм таскали ей на крыльцо ведра вечернего молока. И мадам Парабелюм стояла на крыльце, хлопала в ладоши.

— Бабы, — кричала она, — свои бабы и чужие бабы, Берта Ивановна, мороженщики и кефирщики! Подходите за вечерним молоком.

Берта Ивановна, учительница немецкого язы-

ка, которая получала за урок две кварты молока, первая получила свою порцию. За ней подошла Двойра Крик для того, чтобы посмотреть, сколько воды налила мадам Парабелюм в свое молоко и сколько соды она всыпала в него.

Но Бенчик отозвал сестру в сторону.

— Сегодня вечером, — сказал он, — когда ты увидишь, что старик убил нас, подойди к нему и провали ему голову друшляком. И пусть настанет конец фирме Мендель Крик и сыновья.

— Аминь, в добрый час, — ответила Двойра и вышла за ворота. И она увидела, что Семена, сына Анисима, нет больше во дворе и что вся Молдаванка идет к Крикам в гости.

Молдаванка шла толпами, как будто во дворе у Криков были перекидки. Жители шли, как идут на Ярмарочную площадь во второй день Пасхи. Кузнечный мастер Иван Пятирубель прихватил беременную невестку и внучат. Старый Буцис привел племянницу, приехавшую на лиман из Каменец-Подольска. Табл пришла с русским человеком. Она опиралась на его руку и играла лентой от косы. Позже всех прискакала Любка на чалом жеребце. И только Фроим Грач пришел совсем один, рыжий, как ржавчина, одноглазый и в парусиновой бурке.

Люди расселись в палисаднике и вынули угощение. Мастеровые разулись, послали детей за пивом и положили головы на животы своих жен. И тогда Левка сказал Бенчику, своему брату:

— Мендель Погром нам отец, — сказал он, — а мадам Горобчик нам мать, а люди — псы, Бенчик. Мы работаем для псов.

— Надо подумать, — ответил Бенчик, но не успел он произнести этих слов, как гром грянул на Головковской. Солнце взлетело кверху и завертелось, как красная чаша на острие копья. Биндюг старика мчался к воротам. Любезная Супруга была в мыле. Налетчик рвал упряжку. Старик взвил кнут над взбесившимися конями. Растопыренные ноги его были громадны, малиновый пот кипел на его лице, и он пел песни пьяным голосом. И тут-то Семен, сын Анисима, скользнул, как змея, мимо чьих-то ног, выскочил на улицу и закричал изо всех сил:

— Заворачивайте биндюг, дяденька Крик, бо сыны ваши хочут лупцовать вас…

Но было поздно. Папаша Крик на взмыленных конях влетел во двор. Он поднял кнут, он открыл рот и… умолк. Люди, рассевшиеся в палисаднике, пучили на него глаза. Бенчик стоял на левом фланге у голубятни. Левка стоял на правом флан-

ге у дворницкой.

— Люди и хозяева! — сказал Мендель Крик чуть слышно и опустил кнут. Вот смотрите на мою кровь, которая заносит на меня руку.



И, соскочив с биндюга, старик кинулся к Бене и размозжил ему кулаком переносье. Тут подоспел Левка и сделал что мог. Он перетасовал лицо своему отцу, как новую колоду. Но старик был сшит из чертовой кожи, и петли этой кожи были заметаны чугуном. Старик вывернул Левке руки и кинул на землю рядом с братом. Он сел Левке на грудь, и женщины закрыли глаза, чтобы не видеть выломанных зубов старика и лица, залитого кровью. И в это мгновение жители неописуемой Молдавы услышали быстрые шаги Двойры и ее голос:

— За Левку, — сказала она, — за Бенчика, за меня, Двойру, и за всех людей, — и провалила папаше голову друшляком. Люди вскочили на ноги и побежали к ним, размахивая руками. Они оттащили старика к водопроводу, как когда-то Двойру, и открыли кран. Кровь текла по желобу, как вода, и вода текла, как кровь. Мадам Горобчик протискалась боком сквозь толпу и приблизилась, подпрыгивая, как воробей.

— Не молчи, Мендель, — сказала она шепотом, — кричи что-нибудь, Мендель…

Но, услышав тишину во дворе и увидев, что старик приехал с работы и кони не распряжены и никто не льет воды на разогревшиеся колеса, она

кинулась прочь и побежала по двору, как собака о трех ногах. И тогда почетные хозяева подошли ближе. Папаша Крик лежал бородою кверху.

— Каюк, — сказал Фроим Грач и отвернулся.

— Крышка, — сказал Хаим Дронг, но кузнечный мастер Иван Пятирубель помахал указательным пальцем перед самым его носом.

— Трое на одного, — сказал Пятирубель, — позор для всей Молдавы, но еще не вечер. Не видел я еще того хлопца, который кончит старого Крика…

— Уже вечер, — прервал его Арье-Лейб, неведомо откуда взявшийся, — уже вечер, Иван Пятирубель. Не говори «нет», русский человек, когда жизнь шумит тебе «да».

И, усевшись возле папаши, Арье-Лейб вытер ему платком губы, поцеловал его в лоб и рассказал ему о царе Давиде, о царе над евреями, имевшем много жен, много земель и сокровищ и умевшем плакать вовремя.

— Не скули, Арье-Лейб, — закричал ему Хаим Дронг и стал толкать Арье-Лейба в спину, — не читай нам панихид, ты не у себя на кладбище!

И, оборотившись к папаше Крику, Хаим Дронг сказал:

— Вставай, старый ломовик, прополощи глотку,

скажи нам что-нибудь грубое, как ты это умеешь, старый грубиян, и приготовь пару площадок на утро, бо мне надо возить отходы…

И весь народ стал ждать, что скажет Мендель насчет площадок. Но он молчал долго, потом открыл глаза и стал разевать рот, залепленный грязью и волосами, и кровь проступила у него между губами.

— У меня нет площадок, — сказал папаша Крик, — меня сыны убили. Пусть сыны хозяйнуют.

И вот не надо завидовать тем, кто хозяйнует над горьким наследием Менделя Крика. Не надо им завидовать, потому что все кормушки в конюшне давно сгнили, половину колес надо было перешиновать. Вывеска над воротами развалилась, на ней нельзя было прочесть ни одного слова, и у всех кучеров истлело последнее белье. Полгорода было должно Менделю Крику, но кони, выбирая овес из кормушки, вместе с овсом слизывали цифры, написанные мелом на стене. Целый день к ошеломленным наследникам ходили какие-то мужики и требовали денег за сечку и ячмень. Целый день ходили женщины и выкупали из заклада золотые кольца и никелированные самовары. Покой ушел из дома Криков, но Беня,

которому через несколько месяцев суждено было сделаться Беней Королем, не сдался и заказал новую вывеску «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Это должно было быть написано золотыми буквами по голубому полю и перевито подковами, отделанными под бронзу. Он купил еще штуку полосатого тика на исподники для кучеров и неслыханный лес для ремонта площадок. Он подрядил Пятирубеля на целую неделю и завел квитанции для каждого заказчика. И к вечеру следующего дня, знайте это, люди, он уморился больше, чем если бы сделал пятнадцать туров из Арбузной гавани на Одессу Товарную. И к вечеру, знайте это, люди, он не нашел дома ни крошки хлеба и ни одной перемытой тарелки. Теперь обнимите умом заядлое варварство мадам Горобчик. Невыметенное сметье[1] лежало в комнатах, небывалый телячий холодец выбросили собакам. И мадам Горобчик торчала у мужниной лежанки, как облитая помоями ворона на осенней ветке.

— Возьми их под заметку, — сказал тогда Бенчик младшему брату, — держи их под микроскопом, эту пару новобрачных, потому, сдается

---

[1] notes: 1.318
Сметьё, смитьё *(жарг. уст.)* — дерьмо, мусор.

мне, Левка, они копают на нас.

Так сказал Левке брат его Бенчик, видевший всех насквозь своими глазами Бени Короля, но он, Левка-подпасок, не поверил и лег спать. Папаша его тоже храпел уже на своих досках, а мадам Горобчик ворочалась с боку на бок. Она плевала на стены и харкала на пол. Вредный характер ее мешал ей спать. Под конец заснула и она. Звезды рассыпались перед окном, как солдаты, когда они оправляются, зеленые звезды по синему полю. Граммофон наискосок, у Петьки Овсяницы, заиграл еврейские песни, потом и граммофон умолк. Ночь занималась себе своим делом, и воздух, богатый воздух лился в окно к Левке, младшему из Криков. Он любил воздух, Левка. Он лежал, и дышал, и дремал, и игрался с воздухом. Богатое настроение испытывал он, и это было до тех пор, пока на отцовской лежанке не послышался шорох и скрип. Парень прикрыл тогда глаза и выкатил на позицию уши. Папаша Крик поднял голову, как нюхающая мышь, и сполз с лежанки. Старик вытянул из-под подушки торбочку с монетой и перекинул через плечо сапоги. Левка дал ему уйти, потому что куда он мог уйти, старый пес? Потом парень вылез вслед за отцом и увидел, что Бенчик ползет с другой стороны двора

и держится у стенки. Старик подкрался неслышно к биндюгам, он всунул голову в конюшню и засвистал лошадям, и лошади сбежались, чтобы потереться мордами об Менделеву голову. Ночь была во дворе, засыпанная звездами, синим воздухом и тишиной.

— Т-с-с, — приложил Левка палец к губам, и Бенчик, который лез с другой стороны двора, тоже приложил палец к губам. Папаша свистел коням, как маленьким детям, потом он побежал между площадками и брызнул в подворотню.

— Анисим, — сказал он тихим голосом и стукнул в окошко дворницкой, Анисим, сердце мое, отопри мне ворота.

Анисим вылез из дворницкой, всклокоченный, как сено.

— Старый хозяин, — сказал он, — прошу вас великодушно, не срамитесь передо мною, простым человеком. Идите отдыхать, хозяин…

— Ты отопрешь мне ворота, — прошептал папаша еще тише, — я знаю это, Анисим, сердце мое…

— Вернись в помещение, Анисим, — сказал тогда Бенчик, вышел к дворницкой и положил руку своему папаше на плечо. И Анисим увидел прямо перед собой лицо Менделя Погрома, белое, как бумага, и он отвернулся, чтобы не видеть

такого лица у своего хозяина.

— Не бей меня, Бенчик, — сказал старый Крик, отступая, — где конец мучениям твоего отца…

— О, низкий отец, — ответил Бенчик, — как могли вы сказать то, что вы сказали?

— Я мог! — закричал Мендель и ударил себя кулаком по голове. — Я мог. Бенчик! — закричал он изо всех сил и закачался, как припадочный. — Вот вокруг меня этот двор, в котором я отбыл половину человеческой жизни. Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены и хозяином над моими конями. Он видел мою славу и двадцать моих жеребцов и двенадцать площадок, окованных железом. Он видел ноги мои, непоколебимые, как столбы, и руки мои, злые руки мои. А теперь, дорогие сыны, отоприте мне ворота, и пусть будет сегодня так, как я хочу, пусть уйду я из этого двора, который видел слишком много…

— Папаша, — ответил Беня, не поднимая глаз, — вернитесь к вашей супруге.

Но к ней незачем было возвращаться, к мадам Горобчик. Она сама примчалась в подворотню и покатилась по земле, болтая в воздухе старыми, желтыми своими ногами.

— Ай, — кричала она, катаясь по земле, — Мен-

дель Погром и сыны мои, байстрюки мои… Что вы сделали со мной, байстрюки мои, куда дели вы мои волосы, мое тело, где они, мои зубы, где моя молодость…

Старуха визжала, срывала рубаху со своих плеч и, встав на ноги, закрутилась на одном месте, как собака, которая хочет себя укусить. Она исцарапала сыновьям лица, она целовала сыновьям лица и обрывала им щеки.

— Старый вор, — ревела мадам Горобчик и скакала вокруг мужа, и крутила ему усы и дергала их, — старый вор, мой старый Мендель…

Все соседи были разбужены ее ревом, и весь двор сбежался в подворотню, и голопузые дети засвистели в дудки. Молдаванка стекалась на скандал. И Беня Крик, на глазах у людей поседевший от позора, едва загнал своих новобрачных в квартиру. Он разогнал людей палкой, он оттеснил их к воротам, но Левка, младший брат, взял его за воротник и стал трясти, как грушу.

— Бенчик, — сказал он, — мы мучаем старика… Слеза меня точит, Бенчик…

— Слеза тебя точит, — ответил Бенчик, и, собрав во рту слюну, он плюнул Левке ею в лицо. — О, низкий брат, — прошептал он, — подлый брат, развяжи мне руки, а не путайся у меня под но-

гами.

И Левка развязал ему руки. Парень проспал на конюшне до рассвета и потом исчез из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Юноша измерил дороги скорби, пропадал двое суток и, вернувшись на третьи, увидел голубую вывеску, пылавшую над домом Криков. Голубая вывеска толкнула его в сердце, бархатные скатерти сбили с ног Левкины глаза, бархатные скатерти были разостланы на столах, и множество гостей хохотало в палисаднике. Двойра в белой наколке ходила между гостями, накрахмаленные бабы блестели в траве, как эмалированные чайники, и вихлявые мастеровые, уже успевшие скинуть с себя пиджаки, схватив Левку, втолкнули его в комнаты. Там сидел уже с исполосованным лицом Мендель Крик, старший из Криков, Ушер Боярский, владелец фирмы «Шедевр», горбатый закройщик Ефим и Беня Крик вертелись вокруг изуродованного папаши.

— Ефим, — говорил Ушер Боярский своему закройщику, — будьте такой ласковый спуститься к нам поближе и прикиньте на мосье Крика цветной костюмчик prima, как для своего, и осмельтесь на маленькую справку, на какой именно материал они рассчитывают — на ан-

глийский морской двубортный, на английский сухопутный однобортный, на лодзинский демисезон или на московский плотный…

— Какую робу желаете вы себе справить? — спросил тогда Бенчик папашу Крика. — Сознавайтесь перед мосье Боярским.

— Какое ты имеешь сердце на твоего отца, — ответил папаша Крик и вынул слезу из глаза, — такую справь ему робу.

— Коль скоро папаша не флотский, — прервал отца Беня, — то ему наиболее подходящее будет сухопутное. Подберите ему сначала соответственную пару на каждый день.

Мосье Боярский поддался вперед и пригнул ухо.

— Выразите вашу мысль, — сказал он.

— Моя мысль такая, — ответил Беня, — еврей, отходивший всю свою жизнь голый, и босой, и замазанный, как ссыльно-поселенец с острова Сахалина… И теперь, когда он, благодаря бога, вошел в свои пожилые годы, надо сделать конец этой бессрочной каторге, надо сделать, чтобы суббота была субботой…

Мой первый гонорар*

Быть весной в Тифлисе, иметь двадцать лет от роду и не быть любимым — это беда. Такая беда приключилась со мной. Я служил корректором в типографии Кавказского военного округа. Под окнами моей мансарды клокотала Кура. Солнце, восходившее за горами, зажигало по утрам мутные ее узлы. Мансарду я снимал у молодоженов-грузин. Хозяин мой торговал на восточном базаре мясом. За стеной, осатанев от любви, мясник и его жена ворочались как большие рыбы, запертые в банку. Хвосты обеспамятевших этих рыб бились о перегородку. Они трясли наш чердак, почернелый под отвесным солнцем, срывали его со столбов и несли в бесконечность. Зубы их, сведенные упрямой злобой страсти, не могли разжаться. По утрам новобрачная Милиет спускалась за лавашом. Она так была слаба, что держалась за перила, чтобы не упасть. Ища

*** comments: ***

Мой первый гонорар

Впервые: «Воздушные пути» Кн. 3. Нью-Йорк, 1963.

В 1933 г. рассказ был отвергнут в альманахе «Год XVI (см. прим. к рассказу «Фроим Грач»).

Авторская датировка: 1922–1928.

тонкой ногой ступеньку, Милиет улыбалась неясно и слепо, как выздоравливающая. Прижав ладони к маленькой груди, она кланялась всем, кто ей встречался на пути, — зазеленевшему от старости айсору, разносчику керосина и мегерам, продававшим мотки бараньей шерсти, мегерам, изрезанным жгучими морщинами. По ночам толкотня и лепет моих соседей сменялись молчанием, пронзительным, как свист ядра.

Иметь двадцать лет от роду, жить в Тифлисе и слушать по ночам бури чужого молчания — это беда. Спасаясь от нее, я кидался опрометью вон из дому, вниз к Куре, там настигали меня банные пары тифлисской весны. Они накидывались с размаху и обессиливали. С пересохшим горлом я кружил по горбатым мостовым. Туман весенней духоты загонял меня снова на чердак, в лес почернелых пней, озаренных луной. Мне ничего не оставалось, кроме как искать любви. Конечно, я нашел ее. На беду или на счастье, женщина, выбранная мною, оказалась проституткой. Ее звали Вера. Каждый вечер я крался за нею по Головинскому проспекту, не решаясь заговорить. Денег для нее у меня не было, да и слов — неутомимых этих пошлых и роющих слов любви — тоже не было. Смолоду все силы моего существа были

отданы на сочинение повестей, пьес, тысячи историй. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Одержимый бесовской гордостью, я не хотел писать их до времени. Мне казалось пустым занятием — сочинять хуже, чем это делал Лев Толстой. Мои истории предназначались того, чтобы пережить забвение. Бесстрашная мысль, изнурительная страсть стоят труда, потраченного на них, только тогда, когда они облачены в прекрасные одежды. Как сшить эти одежды?..

Человеку, взятому на аркан мыслью, присмиревшему под змеиным ее взглядом, трудно изойти пеной незначащих и роющих слов любви. Человек этот стыдится плакать от горя. У него недостает ума, чтобы смеяться от счастья. Мечтатель — я не овладел бессмысленным искусством счастья. Мне пришлось поэтому отдать Вере десять рублей из скудных моих заработков.

Решившись, я стал однажды вечером на страже у дверей духана «Симпатия». Мимо меня небрежным парадом двигались князья в синих черкесках и мягких сапогах. Ковыряя в зубах серебряными зубочистками, они рассматривали женщин, крашенных кармином, грузинок с большими ступнями и узкими бедрами. В сумерках просвечивала бирюза. Распустившиеся акации

завывали вдоль улиц низким, осыпающимся голосом. Толпа чиновников в белых кителях колыхалась по проспекту; ей навстречу летели с Казбека бальзамические струи.

Вера пришла позже, когда стемнело. Рослая, белолицая — она плыла впереди обезьяньей толпы, как плывет богородица на носу рыбачьего баркаса. Она поравнялась с дверьми духана «Симпатия». Я качнулс, двинулся.

— В какие Палестины?

Широкая розовая спина двигалась передо мною. Вера обернулась.

— Вы что там лепечете?”

Она нахмурилась, глаза ее смеялись.

— Куда бог несет?

Во рту моем слова раскалывались, как высохшие поленья. Переменив ногу, Вера пошла со мною рядом.

— Десятка — вам не обидно будет?

Я согласился так быстро, что это возбудило ее подозрения.

— Да есть ли они у тебя, десять рублей?”

Мы вошли в подворотню, я подал ей мой кошелек. Она насчитала в нем двадцать один рубль, серые глаза ее щурились, губы шевелились. Золотые монеты она положила к золотым, серебряные

к серебряным.

— Десятку мне, — отдавая кошелек, сказала Вера, — пять рублей прогуляем, на остальные живи. У тебя когда получка?..

Я ответил, что получка через четыре дня. Мы вышли из подворотни. Вера взяла меня под руку и прижалась плечом. Мы пошли вверх по остывающей улице. Тротуар был засыпан ковром увядших овощей.

— В Боржом бы от этакой жары.

Бант охватывал Верины волосы. В нем лились и гнулись молнии от фонарей.

— Ну и дуй в Боржом…

Это я сказал — «дуй». Для чего-то оно было мною произнесено — это слово.

— Пети-мети нет, — ответила Вера, зевнула и забыла обо мне. Она забыла обо мне потому, что день ее был сделан и заработок со мной был легок. Она поняла, что я не подведу ее под полицию и не заберу ночью денег вместе с серьгами.

Мы дошли до подножия горы святого Давида. Там, в харчевне, я заказал люля-кебаб. Не дожидаясь пищи, Вера пересела к группе старых персов, обсуждавших свои дела. Опершись на стоящие палки, кивая оливковыми головами, они убеждали кабатчика в том, что для него при-

шла пора расширить торговлю. Вера вмешалась в их разговор. Она стала на сторону стариков. Она стояла за то, чтобы перевести харчевню на Михайловский проспект. Кабатчик, ослепший от рыхлости и осторожности, сопел. Я один ел мой люля-кебаб. Обнаженные Верины руки текли из шелка рукавов, она пристукивала по столу кулаком, серьги ее летали между длинных выцветших спин, оранжевых бород и крашеных ногтей. Люля-кебаб остыл, когда она вернулась к столику. Лицо ее горело от волнения.

— Вот не сдвинешь его с места, ишака этого… На Михайловском с восточной кухней, знаешь, какие дела можно поднять..

Мимо столика, один за другим, проходили знакомые Веры — князья в черкесках, немолодые офицеры, лавочники в чесучовых пиджаках и пузатые старики с загорелыми лицами и зелеными угрями на щеках. Только в двенадцатом часу ночи попали мы в гостиницу, но и там у Веры нашлись нескончаемые дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Оставив меня, Вера побежала к отъезжающей и стала тискать коленями ее чемодан, увязывать ремнями подушки, заворачивать пирожки в масленую бумагу. Плечистая старушка в газовой шляпён-

ке, с рыжей сумкой на боку, ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботиками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами. Час — не меньше — ушел на проводы. Я ждал Веру в прелом номере, заставленном трехногими креслами, глиняной печью, сырыми углами в разводах.

Меня мучили и таскали по городу так долго, что самая любовь моя показалась мне врагом, прилипчивым врагом…

В коридоре шаркала и разражалась внезапным хохотом чужая жизнь. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи. Каждая умирала по-своему. Агония одной была длительна, предсмертные содрогания порывисты; другая умирала, трепеща чуть заметно. Рядом с пузырьком на потертой скатерти валялась книга, роман из боярской жизни Головина.[1] Я раскрыл ее наугад. Буквы построились в ряд и смешались. Предо мною, в квадрате окна, уходил каменистой подъем, кривая турецкая уличка. В комнату вошла Вера.

---

[1] notes: 1.329

Роман из боярской жизни Головина — вероятно, имеется в виду один из романов писателя-консерватора Константина Федоровича Головина (Орловского, 1843–1913), впрочем, чаще сочинявшего не из боярской, а из современной дворянской жизни.

— Проводили Федосью Маврикиевну, — сказала она. — Поверишь, она нам всем как родная была… Старушка одна едет, ни попутчика, никого…

Вера села на кровать, расставив колени. Глаза ее блуждали в чистых областях забот и дружбы. Потом она увидела меня, в двубортной куртке. Женщина сцепила руки и потянулась.

— Заждался небось… Ничего, сейчас сделаемся…

Но что собиралась Вера делать — я так и не понял. Приготовления ее были похожи на приготовления доктора к операции. Она зажгла керосинку и поставила на нее кастрюлю с водой. Она положила чистое полотенце на спинку кровати и повесила кружку от клизмы над головой, кружку с белой кишкой, болтающейся по стене. Когда вода согрелась, Вера перелила ее в клизму, бросила в кружку красный кристалл и стала через голову стягивать с себя платье. Большая женщина с опавшими плечами и мятым животом стояла передо мной. Расплывшиеся соски слепо уставились в стороны.

— Пока вода доспеет, — сказала моя возлюбленная, — подь-ка сюда, попрыгунчик…

Я не двинулся с места. Во мне оцепенело отчаяние. Зачем променял я одиночество на это

логово, полное нищей тоски, на умирающих мух и трехногую мебель…

О, боги моей юности!.. Как не похожа была будничная эта стряпня на любовь моих хозяев за стеной, на протяжный, закатывающийся их визг…

Вера подложила ладони под груди и покачала их.

— Что сидишь невесел, голову повесил?.. Поди сюда…

Я не двинулся с места. Вера подняла рубаху к животу и снова села на кровать.

— Или денег пожалел?

— Моих денег не жалко…

Я сказал это рвущимся голосом.

— Почему так — не жалко?.. Или ты вор?

— Я не вор.

— Нинкуешь у воров?[2]

— Я мальчик.

— Я вижу, что не корова, — пробормотала Вера. Глаза ее слипались. Она легла и, притянув меня к себе, стала шарить по моему телу.

— Мальчик, — закричал я, — ты понимаешь,

---

[2] notes: 1.330

Нинкуешь у воров? — В основных словарях, включая словари арго, этот глагол отсутствует; судя по контексту: находиться в услужении, быть на побегушках.

мальчик у армян…

О, боги моей юности!.. Из двадцати прожитых лет — пять ушло на придумывание повестей, тысячи повестей, сосавших мозг. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Сдвинутая силой одиночества, одна из них упала на землю. Видно, на роду мне было написано, чтобы тифлисская проститутка сделалась первой моей читательницей. Я похолодел от внезапности моей выдумки и рассказал ей историю о мальчике у армян. Если бы я меньше и ленивей думал о своем ремесле, — я заплел бы пошлую историю о выгнанном из дому сыне богатого чиновника, об отце-деспоте и матери-мученице. Я не сделал этой ошибки. Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю. Поэтому и еще потому, что так нужно было моей слушательнице, — я родился в местечке Алешки, Херсонской губернии. Отец работал чертежником в конторе речного пароходства. Он дни и ночи бился над чертежами, чтобы дать нам, детям, образование, но мы пошли в мать, лакомку и хохотунью. Десяти лет я стал воровать у отца деньги, подросши, убежал в Баку, к родственникам матери. Они познакомили меня с

армянином Степаном Ивановичем. Я сошелся с ним, и мы прожили вместе четыре года…

— Да лет-то тебе сколько было тогда?

— Пятнадцать…

Вера ждала злодейств от армянина, развратившего меня. Тогда я сказал:

— Мы прожили четыре года. Степан Иванович оказался самым доверчивым и щедрым человеком из всех людей, каких я знал, самым совестливым и благородным. Всем при том он верил на слово. Мне бы за эти четыре года изучить ремесло — я не ударил пальцем о палец… У меня другое было на уме — бильярд… Приятели разорили Степана Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя, друзья представили их ко взысканию…

Бронзовые векселя… Сам не знаю, как взбрели они мне на ум. Но я сделал правильно, упомянув о них. Вера поверила всему, услышав о бронзовых векселях. Она закуталась в шаль, шаль заколебалась на ее плечах.

…Степан Иванович разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд. Я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, церковному старосте…

Церковный староста — это было украдено у

какого-то писателя, выдумка ленивого сердца, не захотевшего потрудиться над рождением живого человека.

— Церковный староста — сказал я, и глаза Веры мигнули, ушли из-под моей власти. Тогда, чтобы поправиться, я вдвинул астму в желтую грудь старика, припадки астмы, сиплый свист удушья в желтой груди. Старик вскакивал по ночам с постели и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь. Он скоро умер. Астма удавила его. Родственники прогнали меня. И вот — я в Тифлисе, с двадцатью рублями в кармане, с теми самыми, которые Вера пересчитала в подворотне на Головинском. Номерной гостиницы, в которой я остановился, обещал мне богатых гостей, но пока он приводит только духанщиков с вываливающимися животами… Эти люди любят свою страну, свои песни, свое вино и топчут чужие души и женщин, как деревенский вор топчет огород соседа…

И я стал молоть про духанщиков вздор, слышанный мною когда-то… Жалость к себе разрывала мне сердце. Гибель казалась неотвратимой. Дрожь горя и вдохновения корчила меня. Струи леденящего пота потекли по лицу, как змеи, пробирающиеся по траве, нагретой солнцем. Я

замолчал, заплакал и отвернулся. История была кончена.

Керосинка давно погасла. Вода закипела и остыла. Резиновая кишка свисала со стены. Женщина неслышно пошла к окну. Передо мной двигалась ее спина, ослепительная и печальная. В окне, в уступах гор, загорался свет.

— Чего делают, — прошептала Вера не оборачиваясь, — боже, чего делают…

Она протянула голые руки и развела створки окна. На улице посвистывали остывающие камни. Запах воды и пыли шел по мостовой… Голова Веры пошатывалась.

— Значит — бляха… Наша сестра — стерва…

Я понурился.

— Ваша сестра — стерва…

Вера обернулась ко мне. Рубаха косым клочком лежала на ее теле.

— Чего делают, — повторила женщина громче. — Боже, чего делают… Ну, а баб ты знаешь?

Я приложил обледеневшие губы к ее руке.

— Нет… Откуда мне их знать, кто меня допустит?

Голова моя тряслась у ее груди, свободно вставшей надо мной. Оттянутые соски толкались о мои щеки. Раскрыв влажные веки, они толкались, как

телята. Вера сверху смотрела на меня.

— Сестричка, — прошептала она, опускаясь на пол радом со мной, — сестричка моя, бляха…

Теперь скажите, мне хочется спросить об этом, скажите, видели ли вы когда-нибудь, как рубят деревенские плотники избу для своего же собрата плотника, как споро, усильно и счастливо летят стружки прочь от обтесываемого бревна?.. В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня своей науке. Я узнал в ту ночь тайны, которых вы не узнаете, испытал любовь, которой вы не испытаете, услышал слова женщины, обращенные к женщине. Я забыл их. Нам не дано помнить это.

Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел, жар, камнем лежавший в кровати. Проснувшись, мы засмеялись друг другу. Я не пошел в этот день в типографию. Мы пили чай на майдане, на базаре старого города.

Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. В стенках стакана пылало дымное пожарище солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Под шатрами на выцветших коврах были выставлены в ряд медные кувшины. Собаки рылись мордами в воловьих кишках.

Караван пыли летел на Тифлис — город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки. Мир был прекрасен для того, чтобы сделать нам приятное. Когда испарина бисером обложила меня, я поставил стакан донышком вверх. Расплачиваясь с турком, я придвинул к Вере две золотых пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги и сняла ногу.

— Расплеваться хочешь, сестричка?..

Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых — мой первый гонорар.

Прошло много лет с тех пор. За это время много раз получал я деньги от редакторов, от ученых людей, от евреев, торгующих книгами. За победы, которые были поражениями, за поражения, ставшие победами, за жизнь и за смерть они платили ничтожную плату, много ниже той, которую я получил в юности от первой моей читательницы. Но злобы я не испытываю. Я не испытываю ее потому, что знаю, что не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один — и это будет мой последний — золотой.

Гюи де Мопассан*

Зимой шестнадцатого года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности — Алексей Казанцев.

Он жил на Песках, в промерзшей, желтой, зловонной улице. Приработком к скудному его жалованью были переводы с испанского; в ту пору входил в славу Бласко Ибаньес[1].

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях.

*** comments: ***

Гюи де Мопассан

Впервые: 30 дней, 1932, № 6.
Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.
Авторская датировка: 1920–1922.

[1] notes: 1.319

Ибаньес Висенте Бланко (1867–1928) — испанский писатель, романист, основные произведения которого были созданы в 1910-е годы.

По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках.

Счастливее нас был все же Казанцев. У него была родина — Испания.

В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности.

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору — двадцати лет от роду — я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десяти в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены, для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого.

Слушая мои рацеи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением.

На рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Беядерский, владелец издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного — Раиса. Из барской затеи ничего не вышло.

У Казанцева, переводившего с испанского,

спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня.

На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенном розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без роду и племени, выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво величавых этих замков.

По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи.

В их разверстых пастях горели хрустальные колпаки.

Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке, с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха[2] — доисторические камни и чудовища. По углам — на поставцах — расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой

---

[2] notes: 1.320

Рерих Николай Константинович (1874–1947) — фидософ, художник, существенное место в творчестве которого занимали древнеславянские и восточные мотивы.

грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. Парчовый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных, сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сопливая, нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров.

— Мопассан — единственная страсть моей жизни, — сказала мне Раиса.

Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гарриэт»[3]. В переводе ее не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной, текучей, с

---

[3] notes: 1.321

«Мисс Гарриет» — новелла французского писателя Ги де Мопассана (1850–1893), которого Бабель в интервью и очерках неоднократно называл своим учителем.

длинным дыханием страсти. Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно — так, как писали раньше евреи на русском языке.

Я унес рукопись к себе и дома в мансарде Казанцева — среди спящих — всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два.

Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела недвижимо во время чтения, сцепив руки; атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало.

— Как вы это сделали?

Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашеные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных

пробором. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по ковру.

Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак.

Стеклянное петербургское солнце ловилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце тающими пальцами трогало сафьяновые корейки книг — прекрасную могилу человеческого сердца.

Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить «Идиллию». Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на родине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря…

Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на Песках была пьяна в этот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бранить Толстого.

— Он испугался, ваш граф, он струсил… Его

религия — страх… Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры…

— И дальше? — качал птичьей головой, спрашивал меня Казанцев.

Мы заснули рядом с собственными постами. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей бог знает что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком.

Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина, с распустившимися пепельно-седыми завитками и отсыревшими руками.

С этих пор я всякое утро завтракал у Бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал.

Я познакомился с мужем Раисы — желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили

слухи о его близости к Распутину[4]. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуждали, ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало.

После Нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись «Признания» и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Остуда доносилось серебристое кобылье ржанье и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский — с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко.

— Я пьяна, голубчик. — И она протянула мне руки, унизанные цепями платины и звездами изумрудов.

Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой,

---

[4] notes: 1.322

Распутин Григорий Ефимович (1872–1916) — сибирский крестьянин, близкий к императорской семье и игравший большую роль в государственных делах; убит монархистами.

бренча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудреной ее спине тлели рубцы.

За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груди их были выставлены вперед, черные волосы развевались. Обе были замужем за своими собственными Бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики; под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали «Юдифь»[5] с Шаляпиным.

— Я хочу работать, — пролепетала Раиса, протягивал голые руки, — мы упустили целую неделю…

Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья; соски выпрямились, шелк накрыл их.

---

[5] notes: 1.323

«Юдифь» (1863) — опера русского композитора Александра Николаевича Серова (1820–1871) на библейский сюжет.

— Заветная, — сказала Раиса, разливая вино, — мускат восемьдесят третьего года. Муж убьет меня, когда узнает…

Я никогда не имел дела с мускатом 83 года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка.

— Я пьяна, голубчик… Что у нас сегодня?

— Сегодня у нас «L'aveu»…

— Итак, «Признание». Солнце — герой этого рассказа, le soleil de France[6]… Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзику. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справляется у рыжей Селесты: «Когда же мы позабавимся, ma belle?»[7] — «Что это значит, мсье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил: «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня побери… Парень

---

[6] notes: 1.324
Солнце Франции… *(фр.)*.

[7] notes: 1.325
Красавица *(фр.)*.

с девкой — музыки не надо…» — «Я не люблю таких шуток, мсье Полит», — ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках.

Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял, — когда-нибудь мы позабавимся, ma belle, — и веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина.

Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной.

Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла.

Ce diable de Polyte…[8] За два года Селеста переплатила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: «А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста?» — она ответила, потупив глаза: «Я к вашим услугам, мсье Полит.,»

Раиса с хохотом упала на стол. Ce diable de Polyte…

Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла ша-

---

[8] notes: 1.326
Этот пройдоха Полит… *(фр.).*

гом. Веселое солнце Франции окружило рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо…

Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.

— Mon vieux[9], за Мопассана..

— А не позабавиться ли нам сегодня, ma belle..

Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

— Вы забавный, — сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась.

Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный.

— Потрудитесь сесть, мсье Полит..

Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда, спотыкаясь.

Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската 83 года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью… Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились

---

[9] notes: 1.327
Старина *(фр.)*.

на ковер, страницы их разлетелись, они стали боком… и белая кляча моей судьбы пошла шагом.

— Вы забавный, — прорычала Раиса.

Я ушел из гранитного дома на Мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься, и я раскачивался из стороны в сторону, распевал на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним.

Дома спал Казанцев. Он спал вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове. Он заснул у печки, склонившись над «Дон-Кихотом» издания 1624 года. На титуле этой книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де Мениаль — «О жизни и творчестве Гюи де Мопассана».

Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась.

И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Мениаль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского

дворянина и Лауры де Пуатевен, двоюродной сестры Флобера[10]. Двадцати пяти лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии. Потом призрак слепоты стал перед ним. Зрение его слабело. В нем развилась мания подозрительно-нелюдимость и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку — и писал непрестанно. Достигнув славы, он перерезал себе на сороковом году жизни горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках и поедал свои испражнения. Последняя надпись в его скорбном листе гласит:

«Monsieur de Maupassant va s'animaliser» («Господин Мопассан превратился в животное»). Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.

Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня.

---

[10] notes: 1.328

Флобер Гюстав (1821–1880) — французский писатель, учитель Мопассана.